Исаак Бабель
том 3
собрание сочинений



Исаак Бабель

том 3

собрание сочинений

исаак
БАБЕЛЬ

Исаак

Бабель

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в четырех томах

Исаак

Бабель

ТОМ ТРЕТИЙ

Рассказы
Киносценарии
Пьеса
Публицистика

москва 2006



ББК 84Р7-4
Б12

Макет, оформление
Валерий Калныньш

Б12 **Бабель И. Э.**
Собрание сочинений. Т. 3. — М.: Время, 2006. — 496 с.

ББК 84Р7-4

ISBN 5-9691-0152-4 (т. 3)
ISBN 5-9691-0154-0 (общий)

Попутчик в Стране Советов

Слава не пришла к Бабелю — она свалилась, как снег на голову (что-то подобное произошло в это время лишь с Зощенко). В начале 1924 года в московских журналах были опубликованы первые новеллы — всего через четыре года книжка «И. Э. Бабель» появляется в серии «Мастера современной литературы».

«В России вышел сборник статей обо мне. Читать его очень смешно, — ничего нельзя понять, писали очень ученые дураки. Я читаю все, как будто писано о покойнике — так далеко то, что я делаю теперь, от того, что я делал раньше. Книжка украшена портретом работы Альтмана, тоже очень смешно, я вроде веселого мопса» — обидно напишет оригинал о портретистах, среди которых были известные литературоведы (Ф. А. Бабель, 21 мая 1928 г.).

Так произошло очередное превращение. Из-под масок экзотического одессита Баб-Эля (писатель в шутку производил свой первый псевдоним от Баб-эль-Мандебского пролива) и выдуманного конармейца Лютова появился знаменитый писатель-попутчик (хотя и с подозрительным мелкобуржуазным прошлым), надежда советской литературы.

«Рассказы о Конармии выдвинули его в первые ряды советских художников слова. Новизна материала, целиком взятого из революционной, еще не нашедшей отображения в художественной литературе, жизни, а также оригинальность выполнения не могли не сделать из новелл Б. о Конармии чрезвычайно значительных произведений. В лице Б. молодая советская литература получила сильного художника, попутчика, с редкой по тому времени полнотой

отдавшего свое дарование революционной тематике. Эта общественная заслуга Б. — крупного художника-пионера революционной тематики, ни в коем случае не может быть умалена и в настоящее время», — косноязычно, но лестно напишет Д. Горбов в первом томе «Литературной энциклопедии» (1930).

«Конармия» и «Одесские рассказы» темной тенью нависли над последующей бабелевской литературной судьбой.

КРАСНОРЕЧИВОЕ МОЛЧАНИЕ

Чем продолжительней молчанье,
тем удивительнее речь.

Н. Ушаков

В то время, когда все — сотрудники журналов и издательств, критики, читатели — ожидали от автора новых текстов, Бабель повел себя необычно. Вместо того чтобы ковать железо литературного успеха, он убегал, прятался, быстро приобретя репутацию ловкого спекулянта и литературного молчальника.

В сентябре 1930 года К. Чуковский записывает разговор с романистом С. Н. Сергеевым-Ценским: «Бранит Бабеля. “Что это за знаменитый писатель? Его произвели чуть ли не в Толстые, один Воронский написал о нем десятки статей, а он написал всего 8 листов за всю свою жизнь!” Я протестовал, но он стоял на своем: “ни Бабель, ни Олеша не могут быть большими писателями: почему они пишут так мало. Бабель напишет рассказ и сам же его в кино переклеивает”».

В текст долгожданного рассказа «Гюи де Мопассан» журнал «30 дней» (1932, № 6) врезает дружеский шарж «Скупой литературный рыцарь». Бабель, «копаясь в своем неопубликованном литературном богатстве» (на сундучке с рукописями надпись: *багаж 1929 г.*) произносит строки пушкинской маленькой трагедии: «Я каждый раз, когда хочу сундук Мой отпереть, впадаю в жар и трепет… Бог знает, сколько горьких воздержаний, Обузданных страстей, тяжелых дум, Дневных забот, ночей бессонных мне Все это стоило?»

Бабелевская «скупость» стала притчей во языцех. Его рыцарство не вызывало сомнения у женщин, но большие сомнения — у издательских работников. Бабель обещал редакциям рассказы, брал многочисленные авансы, вдруг исчезал, внезапно появлялся и снова исчезал.

«Он не печатает новых вещей более семи лет. Все это время живет на проценты с напечатанного. Искусство его вымогать авансы изумительно, — с удивлением, переходящим в восхищение, записывает в дневнике 1931 года редактор “Нового мира” В. Полонский. — У кого только не брал, кому он не должен — все под написанные, готовые для печати, новые рассказы и повести. В “Звезде” даже был в проспекте года три назад напечатан отрывок из рукописи, “уже имеющейся в портфеле редакции”, как объявлялось в проспекте.

Получив в журнале деньги, Бабель забежал в редакцию на минутку, попросил рукопись “вставить слово”, повертел ее в руках — и, сказав, что пришлет завтра, унес домой. И вот четвертый год рукописи “Звезда” не видит в глаза. У меня взял аванс по договору около двух с половиною тысяч. Несколько раз я перечеркивал

договор, переписывал заново, — он уверял, что рукописи готовы, лежат на столе, завтра пришлет, дайте только деньги. Он в 1927 году, перед отъездом за границу, дал мне даже название рассказа, который пришлет ровно 15 августа. Я рассказ анонсировал — и его нет по сие время. Под эти рассказы он взял деньги — много тысяч у меня, в “Красной нови”, в “Октябре”, везде и еще в разных местах. Ухитрился забрать под рассказы даже в Центросоюзе. Везде должен, многие имеют исполнительные листы, но адрес его неизвестен, он живет не в Москве, где-то в разъездах, в провинции, под Москвой, имущества у него нет, — он неуловим и неуязвим, как дух. Иногда пришлет письмо, пообещает прислать на днях рукопись, — и исчезнет, не оставив адреса...»

Так родилась главная легенда его писательской жизни тридцатых годов — о *продолжительном молчании* в ожидании *удивительной речи*. Она была закреплена и авторизована на первом съезде советских писателей. Бабель говорил о себе как «великом мастере этого жанра» и признавался, что «в любой уважающей себя буржуазной стране я бы давно подох бы с голоду».

С голоду он, конечно, не подыхал, но когда судебные исполнители как-то настигли неисправного должника и наложили арест на его имущество, он с гордой иронией написал тому же Полонскому под новый 1931 год из своего подмосковного «укрывища»: «Привлечь меня к суду — это значит подарить мне деньги. Я вызываю всех писателей СССР на “конкурс бедности” со мной, у которого не только что квартиры нет, но даже и самого паршивенького стола. Я сочиняю на верстаке (в самом буквальном смысле слова) моего хозяина Ивана Карповича, деревенского сапожника. Носильное же

платье мое и белье, даже по Сухаревской оценке, не превышают ста — может, двухсот рублей. C’est tout. <Это все>».

На портрете Альтмана он увидал себя веселым мопсом. Случайным знакомым он напоминал то бухгалтера, то заведующего сельской школой, но не «крупного художника-пионера революционной тематики». Как-то он явился на дачу к Горькому без приглашения и был отправлен кухаркой на задний двор. Потом она с удивлением наблюдала, как этот подозрительный субъект дружески беседует с сыном писателя Максимом.

Познакомившись с молодой девушкой-строителем, будущей женой, он с радостью отметил, что за целый день она ни разу не спросила «довольно известного писателя» о творческих планах. На этот привычный журналистский вопрос он однажды ответил так: «Хочу купить козу».

Разговорам о литературе он предпочитал беседы о лошадях. Собирался писать «Лошадиный роман». Просил присылать ему в Париж программки московских бегов. Подолгу жил в подмосковном Молоденово, поблизости от конного завода (там и стоял верстак сапожника Ивана Карповича).

Вообще, его отношение к братьям-писателям было смесью иронии и отчуждения. Когда в Переделкино (булгаковском «Перелыгино» из «Мастера и Маргариты») начали возводить писательский городок со всеми удобствами для избранных и приближенных, он согласился поселиться там только после того, как узнал, что дачи стоят далеко друг от друга и не нужно будет ходить в гости к соседям.

Он любил другие компании — жокеев, охотников, военных, деревенских мужиков, старых одесских приятелей, далеких от

литературы. Любил текущую реку жизни, в которую хищно ввинчивались его острые глаза-буравчики (деталь, отмеченная мемуаристами).

«Весь поворот головы, рот, подбородок и особенно глаза Бабеля всегда выражали любопытство. У взрослых редко бывает такой взгляд, полный неприкрытого любопытства. У меня создалось впечатление, что основной движущей силой Бабеля было неистовое любопытство, с которым он всматривался в жизнь и в людей» (Н. Мандельштам. Воспоминания).

Это неистовое любопытство непрерывно гнало его в дорогу.

«Летом буду работать и бродяжить, собираюсь поехать в Ставрополь, Краснодар, на несколько дней в Воронежскую губернию, потом в Дагестан и Кабарду. Ездить буду, конечно, не в международных вагонах, а собственным, нищенским и, по-моему, поучительным способом» (В. П. Полонскому, 8 апреля 1929 г.).

На самом деле и во второй половине двадцатых и в тридцатые годы Бабель писал не так мало: дополнил «Одесские рассказы» киносценарием «Беня Крик», сочинил на том же материале драму «Закат», переделал для кино роман Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды», написал еще два сценария. Но все это воспринималось как литературная халтура, поденщина, отвлечения на пути к новой, будущей прозе.

В главной своей работе Бабель был неуступчив и непримирим, «замешан на упрямстве и терпении».

«Я тружусь здесь, как вдохновенный вол, света божьего не вижу…», — отчитывается он редактору «Нового мира» В. Полонскому из Парижа 5 октября 1927 года.

«Я по-прежнему много работаю, яростно, уединенно, с далеким прицелом — и если второй мой выход на ярмарку суеты окончится жалкими пустяками, то утешение у меня все же останется — утешение одержимости», — сообщает он оттуда же давней знакомой (А. Г. Слоним, 7 сентября 1928 г.).

В «Выбранных местах из переписки с друзьями», рассуждая, «в чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность», Гоголь скажет о Пушкине: «Поэзия была для него святыня — точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей; не вошла туда нагишом растрепанная действительность».

Бабелевская «действительность» была другой — не благодушно растрепанной, а кровавой и страшной. Но отношение к своему делу поразительно напоминает описанную Гоголем позицию. «А думаю я, что, несмотря на безобразные мои денежные обстоятельства, несмотря на запутанные мои личные дела, я ни на йоту не изменю принятую мною систему работы, ни на один час искусственно и насильно не ускорю ее. Не для того стараюсь я переиначить душу мою и мысли, не для того сижу я на отшибе, молчу, тружусь, пытаюсь очиститься духовно и литературно, — не для того затеял я все это, чтобы предать себя во имя временных и не бог весть каких важных интересов» (В. П. Полонскому, 31 июля 1928 г.).

«Скупость» этого рыцаря объяснялась его истовым, почти религиозным служением литературе. Его молчание было красноречивым, полным какого-то непонятного смысла.

ВЕЛИКАЯ КРИНИЦА

Их не били, не вязали,
Не пытали пытками,
Их везли, везли возами
С детьми и пожитками.
А кто сам не шел из хаты,
Кто кидался в обмороки, —
Милицейские ребята
Выводили под руки…

А. Твардовский

«Бабель работал не только в Конной, он работал в Чека. Его жадность к крови, к смерти, к убийствам, ко всему страшному, его почти садическая страсть к страданиям ограничила его материал. Он присутствовал при смертных казнях, он наблюдал расстрелы, он собрал огромный материал о жестокостях революции. Слезы и кровь — вот его материал. Он не может работать на обычном материале, ему нужен особенный, острый, пряный, смертельный. Ведь вся его “Конармия” такова» — ищет причины бабелевского молчания Вячеслав Полонский.

В эпоху «великого перелома» Бабель снова оказался там, где слезы и кровь лились с той же простотой и свободой, как в недавнюю еще эпоху революции и гражданской войны.

В феврале 1930 года писатель едет в украинское село Великая Старица, чтобы своими глазами увидеть большевистское преобразование общественных отношений в деревне, объявленную всеобщую коллективизацию сельского хозяйства. Через год он снова по-

сещает те же места. Позднее отправляется в Кабардино-Балкарию и на Донбасс.

Его журналистские впечатления от «СССР на стройке» (так назывался издававшийся под редакцией Горького журнал), как и у многих наблюдателей, кажется, были положительными, даже восторженно оптимистическими.

«Живу в коренной чистокровной казачьей станице, — написано сестре 13 декабря 1933 года. — Переход на колхозы происходил с трениями, была нужда, но теперь все развивается с необыкновенным блеском. Через год-два мы будем иметь благосостояние, которое затмит все, что эти станицы видели в прошлом, а жили они безбедно. Колхозное движение сделало в этом году решающие успехи, и теперь открываются действительно безбрежные перспективы, земля преображается».

Градус оценок еще более повышается через несколько недель: «Очень правильно сделал, что побывал в Донбассе, край этот знать необходимо. Иногда приходишь в отчаяние — как осилить художественно неизмеримую, курьерскую, небывалую эту страну, которая называется СССР. Дух бодрости и успеха у нас теперь сильнее, чем за все 16 лет революции» (письмо матери и сестре, 20 января 1934 года).

Известны и иные бабелевские оценки, правда, исходящие от мемуаристов и транслированные через много лет. Одному из близких собеседников после очередной поездки в районы коллективизации Бабель будто бы говорил, что происходящее там страшнее, чем увиденное во время гражданской войны.

Главным в таких случаях оказывается слово художника. Он, как правило, глубже и проницательнее человека.

Две сохранившиеся главы из деревенской книги создают образ надвигающейся катастрофы.

На масленой тридцатого года в Великой Кринице буйно играют свадьбы, и веселая вдова Гапа Гужва рушит мир в яростном танце: «Мы смертельные, — шептала Гапа, ворочая багром. Солома и доски сыпались на женщину. Она плясала, простоволосая, среди развалин, в грохоте и пыли рассыпающихся плетеней, летящей трухи и переламывающихся досок».

А в это время деревенские активисты с новым начальником-судьей проводят совещание и пишут «своему селу обвинительный акт».

«— Судья, — сказала Гапа, — что с блядями будет?..

Осмоловский поднял лицо, обтянутое рябоватым огнем.

— Выведутся.

— Житье будет блядям или нет?

— Будет, — сказал судья, — только другое, лучшее».

В «Колывушке» под колесо истории попадает уже соль деревни, крепкий мужик, совсем не кулак, все скромное богатство которого — изба, коровы и лошади, молотилка — заработано собственным горбом. Получив приказ о высылке, он тоже крушит свой мир, убивает жеребую кобылу, разбивает веялку, седеет в одну ночь и бесследно исчезает из деревни, рассеивается в украинских просторах.

«— Куда вы гоните меня, мир, — прошептал Колывушка, озираясь, — куда я пойду… Я рожденный среди вас, мир…»

На этот тихий вопль души отвечает *урод*, горбун, избранный председатель колхоза с говорящей фамилией Житняк.

«— Ты к стенке нас ставить пришел, — сказал он тише, — ты тиранить нас пришел белой своей головой, мучить нас — только мы

не станем мучиться, Ваня… Нам это — скука в настоящее время — мучиться.

Горбун придвигался на тонких вывороченных ногах. Что-то свистело в нем, как в птице.

— Тебя убить надо, — прошептал он, догадавшись, — я за пистолью пойду, унистожу тебя…»

В отличие от роскошных пейзажей «Конармии» и «Одесских рассказов», поздняя бабелевская новелла почти бескрасочна. Единственное короткое описание в «Колывушке» наливается символическим смыслом. «Ночь была лилова, тяжела, как горный цветной камень. Жилы застывших ручьев пролегали в ней; звезда опустилась в колодцы черных облаков».

Тяжелая ночь и черные облака нависают над страной. Через десятилетие герой «Тихого Дона» увидит над головой черное солнце.

«Колывушка — не только шедевр прозы, но сверх того, первое, по сей день непревзойденное описание той трагедии, какой была коллективизация для всей огромной страны, — скажет уже в середине девяностых годов польский литературовед и переводчик Бабеля Е. Помяновский. — Никто до Бабеля — да и никто после него не описал эту трагедию так пронзительно и просто. Ни в какое сравнение с этими несколькими страничками не идут тома “Поднятой целины”. Даже Гроссман в повести “Все течет”, даже Солженицын в тех главах “Круга первого”, где Рубин вспоминает, как вывозили трупы из голодающих сел, — не вызывают у читателя такого потрясения, какое испытываешь, читая историю Колывушки, его жеребой кобылы, изгнания его из дома на мытарства. Рассказ написан без всякой надежды на скорую публикацию — лишь для того, чтобы дать свидетельство истине».

Новому миру не нужна страстная «блядь» Гапа Гужва. Из него изгоняют неистового работягу Колывушку.

Совсем скоро оказалось, что писатель Исаак Бабель в нем тоже — лишний.

ИГРА С ОГНЕМ

А может статься и другое, —
Привязанность ко мне храня,
Сосед гражданственной рукою
Донос напишет на меня.
И, преодолевая робость,
Чуть ночь сомкнет свои края,
Ко мне придут содеять обыск
Три торопливых холуя.
От непроглядного разгрома —
Посуды, книг, икон, белья —
Пойду я улицей знакомой
К порогу нового жилья… <…>
Я вспомню маму, облик сада,
Где в древнем детстве я играл,
И молвлю, проходя в подвал:
«Быть может, это так и надо».

Вл. Щировский

Общественное положение и взгляды Бабеля в тридцатые годы так же странны и непонятны, как его писательское «молчание». Он живет по каким-то другим законам: то ли ведет свою мало кому по-

нятную игру, то ли просто не понимает, как стремительно меняется окружающая жизнь.

Круг бабелевских знакомств не ограничивался прежними школьными друзьями, издательскими работниками и жокеями. Этот сочиняющий на верстаке голодранец не только дружит с нынешним командармом советских писателей Максимом Горьким, постоянно защищающим его от нападок бывшего командарма первой конной Семена Буденного. По СССР он не только «бродяжил», но и передвигался в «международных вагонах».

В Донбассе он встречает Новый год с секретарем Горловского райкома ВКП(б) В. Фурером. В Кабардино-Балкарии охотится с партийным вождем Беталом Калмыковым и даже собирается писать о нем книгу. В Москве и вовсе появляется в доме всесильного «железного» наркома внутренних дел Ежова.

Время от времени его собеседниками оказываются не только вторые, но и первые люди советского государства. «Очень забавно рассказывал о своих приключениях в Кисловодске, где его поместили вместе с Рыковым, Каменевым, Зиновьевым и Троцким», — делает дневниковую запись (к сожалению, без подробностей) К. Чуковский (13 апреля 1925 г.). Указанные персоны в середине двадцатых годов еще в силе и в качестве наследников Ленина определяют политический курс.

В тридцатые у Горького Бабелю пришлось познакомиться и с новым наследником. Известен (правда, даже не через вторые, а через третьи руки) его самокритичный отчет об этой встрече. «Как рассказывал автору настоящей статьи И. Л. Слоним, — сообщает американский литературовед, — Бабель, вернувшись в Москву, первым делом отправился к Горькому, у которого застал Сталина.

“А вот Исаак Эммануилович только что вернулся из Парижа, — представил Горький Бабеля Сталину, — он нам сейчас расскажет, как Шаляпину живется за границей”. Бабеля, который встречался с Шаляпиным в Париже <…>, вопрос этот застал врасплох. “Я тогда, — рассказывал он Слониму, — как когда-то Пушкин перед Николаем I, испытал “подлость во всех жилах” и стал рассказывать, что, мол, Шаляпину там ужасно живется, что он, де, от отчаяния горькую пьет и т. п. Сталин попыхтел трубкой и буркнул: “Такой талант погибает. Надо его к нам сюда выписать”» (Г. Фрейдин. Вопрос возвращения: «Великий перелом» и Запад в биографии И. Э. Бабеля начала 1930-х годов).

Существует еще менее достоверный рассказ-слух об адресованной автору «Конармии» просьбе вождя: создать роман о нем, Сталине. Бабель будто бы обещал подумать.

Возможно, эти устные рассказы относятся к тому же жанру, что и булгаковские вымышленные новеллы о задушевных беседах с вождем. Но присутствие писателя в ближнем кругу на важных правительственных мероприятиях, куда был заказан ход не только посторонним, но и многим «своим» — документально зафиксированный факт. «Втроем — Мальро, Бабель и я — мы смотрели физкультурный парад на Красной площади, с трибуны для иностранных гостей. <…> Трибуна для иностранных гостей находилась близко от мавзолея, и стоявшим на ней был хорошо виден Сталин в профиль» (А. Н. Пирожкова).

Знаком особого доверия были не только приглашения, но и путешествия за границы страны. Еще в двадцатые годы такие поездки были для деятелей культуры если не привычкой, то и не экзотикой. Жили и издавались в Берлине, разоблачали русских

эмигрантов в Париже, писали путевые очерки о Японии, гастролировали в Америке, лечились в Чехословакии, отдыхали у Горького на Капри.

Железный занавес начал стремительно опускаться в начале тридцатых. Обычно считают, что Замятин — последний писатель, который после личного письма Сталину и хлопот Горького был благополучно отпущен в «разлагающуюся» Европу (октябрь 1931 г.). Бабель (правда, после долгих хлопот) получает право на очередную, вторую, поездку к родным в мае 1932 года, проводит во Франции и Италии почти год и еще раз едет в Париж в июне 1935-го на Конгресс писателей в защиту культуры.

«Вопрос возвращения» в острой форме перед Бабелем, кажется, даже не вставал. Восхищаясь Флоренцией, Сорренто, Марселем, он ни разу не примерил тамошний образ жизни к себе.

«После трехмесячного пребывания в Париже переехал на некоторое время в Марсель. Все очень интересно, но, по совести говоря, до души у меня не доходит. Духовная жизнь в России благородней. Я отравлен Россией, скучаю по ней, только о России и думаю. Работал я урывками, теперь наладился и думаю, что-нибудь смогу "произвести". Представьте себе Одессу, достигшую расцвета. Это будет Марсель. Экзотика здесь действительно сногсшибательная, но я уже маленько поостыл к экзотике», — написано другу из Марселя в Киев (И. Л. Лившицу, 28 октября 1927 г.).

«Я занят с утра до вечера делами литературными, коммерческими, налоговыми — ношусь по всяким учреждениям, ору, клянчу, — думая, что все уладится хорошо. Несмотря на все хлопоты — чувствую себя на родной почве хорошо. Здесь бедно, во многом грустно — но это мой материал, мой язык, мои интересы. И я все больше

чувствую, как с каждым днем я возвращаюсь к нормальному моему состоянию, а в Париже что-то во мне было не свое, приклеенное. Гулять за границей я согласен, а работать надо здесь», — сказано ровно через год в письме, отправленном в обратном направлении, из Киева в Брюссель, где жила мать (Ф. А. Бабель, 20 октября 1928 г.).

«Вчера вернулся в Париж после полуторамесячного пребывания в Италии. Не успел побывать в Венеции — не хватило денег. Все затмила Флоренция. Впечатление неизгладимое на всю жизнь. <…> Тоска по России все сильнее. Вернусь во второй половине июня», — возвращается ностальгический тон во время новой заграничной поездки (А. Г. Слоним, 29 мая 1933 г.).

«Москва сейчас один из самых шумных городов Европы, а по размаху строительства, по революции, совершаемой каждодневно с ее улицами и площадями, за ней, конечно, никакому Нью-Йорку не угнаться. Вообще с каждым днем яснее у нас проступает образ невиданного по мощи государства, и осуществимость лозунга “догнать и перегнать” теперь ни у кого не возбуждает сомнений», — задорно заявлено в письме сестре (М. Э. Шапошниковой, 14 ноября 1934 г.).

В бабелевской судьбе до поры до времени соединялись верх и низ, вера и доверие. Чем за это приходилось платить?

События середины тридцатых годов — убийство Кирова, смерть Горького, массовые репрессии и большие процессы, кажется, застали его врасплох. В донесениях тайных агентов — недоумение, горечь, сожаления и вопросы. «Люди привыкают к арестам, как к погоде. Ужасает покорность партийцев и интеллигенции к мысли оказаться за решёткой. Всё это является характерной чертой государственного режима», — передает «источник» бабелевские мысли в ноябре 1938 года.

Еще раньше, в свой парижский год, Бабель вел откровенные разговоры с эмигрантом Б. Сувариным о Сталине и положении в СССР (имя своего собеседника тот рассекретит лишь через много лет). А художник Ю. Анненков навспоминал (правда, тоже через много лет) и вовсе пророческую речь тайного разоблачителя «советчины».

Но до этого на первом съезде писателей были прославлены кованая речь Сталина, в 1937 году, после процесса Пятакова и Радека, в «Литературной газете» в общем хоре с Ю. Олешей, А. Платоновым, Ю. Тыняновым опубликована изничтожающая оппозиционеров статья «Ложь, предательство и смердяковщина».

Кто же он — неосторожно обращающийся со спичками вечный подросток или опытный подрывник, ищущий тихое место на полностью простреливаемой территории?

«Бабель прекрасно понимал все, но надеялся пересидеть», — утверждают одни.

«Нет, он близоруко приветствовал происходящее и рассчитывал на свои связи, однако просчитался», — возражают другие.

В любом случае ясно, что этот вечный экспериментатор играл с огнем.

На вопрос о том, как соединялись странная близорукость и удивительная проницательность, опьянение и трезвость, скептицизм и вера в одном сознании, честнее ответить: *не знаю*.

Послереволюционные поколения *отцов* и *детей* сегодня — непонятнее марсиан. Утрачен воздух той эпохи. Вспоминая двадцатые годы уже после двадцатилетия лагерей и двадцатого съезда, автор «Колымских рассказов» Варлам Шаламов скажет не об историческом тупике и безнадежности, а о новых горизонтах. «Я был

участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни <…> Октябрьская революция, конечно, была мировой революцией. Каждому открывались такие дали, такие просторы, доступные обыкновенному человеку. Казалось, тронь историю, и рычаг повертывается на твоих глазах, управляется твоею рукою. Естественно, что во главе этой великой перестройки шла молодежь. Именно молодежь впервые призвана была судить и делать историю. Личный опыт нам заменяли книги,— всемирный опыт человечества. И мы обладали не меньшим знанием, чем любой десяток освободительных движений. Мы глядели еще дальше, за самую гору, за самый горизонт реальностей. Вчерашний миф делался действительностью. Почему бы эту действительность не продвинуть еще на один шаг дальше, выше, глубже. Старые пророки — Фурье, Сен-Симон, Мор выложили на стол все свои тайные мечты, и мы взяли».

Главка этих незаконченных воспоминаний называется «Штурм неба».

Будучи «отдельным человеком» (Н. Мандельштам), Бабель, тем не менее, тоже чувствовал себя участником этого штурма, пытался успеть, понять, отразить. Борьбу с кулачеством — в диалогах «Бежина луга» (трагедия «Колывушки» перевернута здесь во вполне традиционном пропагандистском ключе: классовой борьбы длиннобородого отца-кулака и его передового сына). Эмансипацию женщины и новые отношения в семье — в «Нефти». Деградацию русской эмиграции — в «Суде». Пафос социалистического строительства — в киносценарии «Старая площадь, 4». (Этот текст о замечательных коммунистах и успехах социалистического строительства оказался последней законченной писателем работой: на титульном листе стоит дата 30 апреля 1939 года.)

Всем лозунгам он верил до конца?

Но Бог искусства не изменял ему в решающие минуты. Пьеса «Мария» (1935), лучшая вещь тридцатых годов, подобно «Конармии», — эпически сдержанный, но полный трагизма рассказ о крушении миров.

Гибнет семья, пустеет дом генерала Муковнина, из подвалов в генеральскую квартиру приходят новые люди, а воюющая за чужое счастье и так и не появляющаяся на сцене старшая дочь, еще не зная о судьбе близких, наслаждается природой и рассуждает о возмездии: «На нашей Миллионной в Петербурге, в доме против Эрмитажа и Зимнего дворца, мы жили, как в Полинезии, — не зная нашего народа, не догадываясь о нем... <...> Карточка Алеши у меня на столе... Здесь те самые люди, которые не задумались убить его. Я ушла только что от них и помогла их освобождению... Правильно ли я сделала, Алексей, исполнила ли я твое завещание жить мужественно?.. И тем, что в нем есть неумирающего, он не отвергает меня...» («Мария»).

«Мария» кажется петербургским парафразом «Дней Турбиных»: пьесой об историческом сломе, возмездии за чужие грехи, организованном упрощении теплой и поэтичной жизни, очередной исторической близорукости. «Я так располагаю, которые дети теперь изготовляются, должны к хорошей жизни поспеть. Иначе-то как же?» — весомо произносит в финале полотер Андрей, собирая свой инструмент перед уходом со сцены.

Изготовленные тогда дети поспели как раз к сорок первому году. Автор «Марии» этого уже не застал.

«У меня ничего нет — в трудах; заканчиваю последнюю работу кинематографическую (это будет фильм о Горьком) и скоро

приступаю к окончательной отделке заветного труда — рассчитываю сдать его к осени», — обещано матери и сестре 10 мая 1939 года.

Он был арестован в так и не обжитом переделкинском доме через пять дней. «Не дали закончить», — произнес он во время обыска, когда рукописи складывали в папки.

Уже после того, как он исчез в дверях Лубянки, жена услышала короткий телефонный разговор. «Меня отвезли домой на Николо-Воробинский, где все еще продолжался обыск. Ездивший в Переделкино подошел к телефону и кому-то сообщил, что отвез Бабеля. Очевидно, был задан вопрос: “Острил?” — “Пытался”, — последовал ответ».

Об атмосфере конца тридцатых, напоминающей пир во время чумы, дает представление фрагмент из дневника Е. С. Булгаковой. «В городе слух, что арестован Бабель», — записано 20 мая, когда писателя уже пять дней допрашивают на Лубянке. И сразу же в стык события следующего дня: «Мои имянины. Миша принес чудесный ананас. Братья Эрдманы прислали колоссальную корзину роз. Вильямсы — тоже — очень красивую корзину роз. <…> За обедом ребята так наелись пломбиром и ананасом, что еле дышали. <…> Миша сидит сейчас (десять часов вечера) над пьесой о Сталине».

Подробности последних месяцев жизни Бабеля — рутинная история тридцать восьмого года — стали известны лишь через много лет.

«Как-то, возвратившись от Горького, Бабель рассказал:

— Случайно задержался и остался наедине с Ягодой. Чтобы прервать наступившее тягостное молчание, я спросил его: “Генрих Григорьевич, скажите, как надо себя вести, если попадешь к вам в лапы?” Тот живо ответил: “Все отрицать, какие бы обвинения мы ни предъявляли, говорить «нет», только «нет», все отрицать — тогда мы бессильны”», — вспоминает А. Н. Пирожкова.

В тридцать девятом они уже имели огромный опыт. Отрицая все на первых допросах, Бабель позднее «признался» во всем: шпионаже в пользу Франции и Австрии, связях с троцкистами, руководстве писательской антисоветской организацией, фабрикации «гнусного оружия» в виде «анекдотов, клеветы, слуха, сплетен», подготовке покушения на Сталина. Попытка опровергнуть эти выбитые показания на судебном заседании 26 января 1940 года, естественно, была обречена.

На подготовленном Берией списке из 346 человек еще десять дней назад было поставлено короткое и размашистое сталинское «за». Фамилия Бабеля — на той же первой странице под двенадцатым номером. Далее в демократическом алфавитном порядке идут предшественник Берии, недавний всесильный владелец «ежовых рукавиц» Николай Иванович Ежов (№ 94) и многие его сотрудники, арестованный еще в тридцать седьмом бабелевский друг и покровитель Бетал Эдыкович Калмыков (№ 123), журналист Михаил Ефимович Кольцов (№ 137), почему-то поименованный и фамилией жены режиссер Всеволод Эмильевич Мейерхольд-Райх (№ 184).

Следующей ночью приговор был приведен в исполнение.

Точная дата бабелевской смерти стала известна лишь через сорок восемь лет.

Арестованные рукописи исчезли навсегда.

Сборник рассказов с большими трудами был издан через семнадцать лет.

Еще через семь лет долго пробивавший это издание И. Эренбург сочинил дополнение к мемуарному портрету в книге «Люди, годы, жизнь» — стихотворение «Очки Бабеля».

Средь ружей ругани и плеска сабель,
Под облаками вспоротых перин
Записывал в тетрадку юный Бабель
Агонии и страсти строгий чин.
И от сверла настойчивого глаза
Не скрылось то, что видеть не дано:
Ссыхались корни векового вяза,
Взрывалось изумленное зерно.
Его ругали — это был очкастый,
Что вместо девки на ночь брал тетрадь,
И петь не пел, а размышлял и часто
Не знал, что значит вовремя смолчать.
Кто скажет, сколько пятниц на неделе?
Все чешутся средь зуда той тоски.
Убрали Бабеля, чтоб не глядели
Разбитые, но страшные очки.

«Что же касается видимого неблагополучия литературной моей биографии — то до сих пор я блистательно опровергал страхи близоруких моих поклонников, это будет и впредь. Я сделан из теста, замешенного на упрямстве и терпении, — и когда эти два качества напрягаются до высшей степени, тогда только я чувствую la joie de vivre <радость жизни>, что имеет место и теперь. А для чего же живем, в конечном счете? Для наслаждения, понимаемого в широком смысле, для утверждения чувства собственной гордости и достоинства» (Ф. А. Бабель, 14 декабря 1930 г.).

Игорь Сухих

Рассказы
Киносценарии
Пьеса
Публицистика

РАБОТА НАД РАССКАЗОМ

Когда я начинал работать, писать рассказы, я, бывало, на две-три страницы нанижу в рассказе сколько полагается слов, но не дам им достаточно воздуха. Я прочитывал слова вслух, старался, чтобы ритм был строго соблюден, и вместе с тем так уплотнял свой рассказ, что нельзя было перевести дыхания.

В рассказах молодых писателей, которые я прочел, дело обстоит лучше.

Рассказы эти хороши тем, что написаны просто. Здесь нет претензий, вычурности, но стиля своего маловато, удара и страсти мало.

Я считаю, что нужно было подробней описать фабрику, больше показать ее специфику, для того чтобы ощущалась присущая ей атмосфера. Конечно, не надо запутывать рассказ всякими техническими словами, но ритмику фабричной жизни следует показать более ярко.

В описании у автора какие-то не свои слова, не им рожденные. Такие же фразы мы уже не раз читали.

Возьмем, например, такую фразу: «Дымились сочные тополя». Ведь это уже было сказано; я уверен, что автор не продумал этих слов. Он не вспомнил как следует описываемого им вечера, его краски, небо. А если бы он подумал об этом, если бы почувствовал всю красоту вечера, то нашел бы неповторимые слова для его описания.

Я вовсе не говорю, что нужно находить такие слова, которыми можно огорошить читателя. Я вовсе не требую особой

вычурности, такой, чтобы все ахнули и сказали: «Написал, мол, такое, чего никто другой не придумает». Но нужно изменять затрепанные образы или дополнять их своими словами.

Мне не нравится и такая фраза: «Мысленно выругала Тоня подругу» — так уже много раз говорили.

Русский язык еще сыроват, и русские писатели находятся, в смысле языка, в более выгодном положении, чем французские. По художественной цельности и отточенности французский язык доведен до предельной степени совершенства и тем осложняет работу писателей. Об этом с грустью говорили мне молодые французские писатели. Чем заменить сухость, блеск, отточенность старых книг, — разве что шумовым оркестром?

Мы не находимся в таком положении. Нам следует искать страстные, но простые и новые слова. А вот такая фраза: «Мысленно выругала Тоня подругу», — несомненно, встречалась.

Возьмите Горького. Изучение его важно, оно много даст для понимания техники рассказа и новеллы. Я говорю о Горьком не в том смысле, что ему надо слепо подражать, а потому, что он создает рассказы, которые при сплаве с ритмом нашей жизни дают изумительные результаты.

Возьмите его маленькие рассказы в полторы-две страницы, они летят, летят как песня. Кто помнит его рассказ «Едут»?

Рассказ «Едут» очень короток. Всем надо его прочесть. Но вернемся к Меньшикову.

Вот у него такая фраза: «Колхоз вырос уверенно и скоро». Слова «уверенно и скоро», может быть, и хорошие слова, но в данном случае они становятся плохими, общими.

Или вот такая фраза: «Прошумела, проканонадила революция». Я люблю новые слова, но это слово какое-то неуклюжее, неудобное.

Или такая фраза: «И когда тоска проходила...» Это не раз повторялось, затрепано. Я должен сказать, что мне в этом рассказе больше нравится то, чего в нем нет, чем то, что в нем есть. В нем нет пошлости — это хорошо, и это чрезвычайно важно.

Я опять вернусь к Горькому. В основе его статей о литературе лежит борьба с пошлостью, являющейся в наших условиях, в условиях нашей литературы, могучим орудием враждебных нам сил.

Мы хотим наши мысли, желания и устремления сделать достоянием миллионов людей. Но если слова и фразы затрепаны, если у автора нет мужественного отношения к словам и фразам, то они превращаются в силу, отравляющую наше сознание. Это важно понять.

Наша литература не похожа на западную, — в частности, на литературу Франции. О чем там пишут? Полюбил молодой человек девушку — ничего из этого не вышло. Хотел работать — тоже ничего не вышло. В результате застрелился.

У нас пишут не так. Нашему автору — о чем бы он ни писал — совершенно ясно, что дело идет о величайшей переделке людей, о ломке старого мира. И, о чем бы он ни

повествовал, он будет говорить именно об этом. А об этом нельзя говорить пошло, что у нас, к сожалению, часто бывает.

Если о революционных сдвигах говорить разухабисто, без чувства ответственности, то тем самым можно только помочь контрреволюции чувств.

Вот этого дефекта в рассказах Меньшикова нет. И это очень хорошо.

Но вместе с тем у него мыслей маловато, нет удара, нет настоящей внутренней мускулатуры в словах. Вы здесь не видите внутренней жизни автора, не видите основы под его словами. Они плавают на поверхности.

Я оптимист в области литературы и уверен, что мы дадим еще не виданные произведения. Они родятся на основе совмещения великолепной техники со страстностью, с ритмом нашей эпохи.

Нам нужны теперь небольшие рассказы. У десятков миллионов новых читателей досуга мало, и поэтому они требуют небольших рассказов. Нужно признать, что у нас романы пишутся слабо. У наших авторов еще не хватает темперамента и своих мыслей на триста страниц. Получаются десятки тетрадей, исписанных механически.

Меньшиков. Скажите, каким путем вы избавлялись от литературщины? Как вы находили свое лицо?

Бабель. В детстве я учился плохо. В семнадцать лет на меня «нашло», я стал много читать и учиться. В течение одного года изучил три языка, прочел много книг. До сих пор я в значительной степени питаюсь этим багажом. Теперь настало время коренным образом этот багаж обновить и дополнить. В

наши дни из писателя, мало знающего, полагающегося на нутро, ничего не выйдет. Конечно, забота о самостоятельности писателя должна быть постоянной.

Только теперь я начинаю подходить к профессионализму. Прежде чем что-нибудь написать, я проверяю себя. Не надо прибавлять к сотням тысяч напечатанных плохих страниц еще одну страницу болтовни.

Вы спрашиваете меня: можно ли написать рассказ в короткий срок? Если вам, например, сейчас скажут: «Поезжайте во Францию и напишите о ней очень быстро хороший рассказ», — вы, наверное, этого сделать не сможете. Но если бы у вас были определенно сложившийся взгляд, жизненный опыт, собственная оценка явлений, вы бы смогли написать такой рассказ.

Представьте себе, что Ленин, который не являлся специалистом-писателем, пожелал бы исследовать быт какой-либо американской народности. Он пошел бы в рабочие кварталы, на фабрики, заводы, в банки, в исследовательские институты и проверил бы свои, всей жизнью накопленные, мысли и убеждения, и именно под этим углом он написал бы так же блестяще об опыте какого-нибудь народа, как писал и другие, знакомые нам исследования.

Меньшиков. Как вы пишете: сразу или работаете подолгу над каждой фразой?

Бабель. Раньше я как бы декламировал фразу за фразой, проверял все на слух, потом садился, писал без помарки и сразу же сдавал в редакцию. Все прежние мои рассказы, которые вы читали, написаны без помарок, можно сказать,

по памяти. Потом я изменил метод. Вот пришла мне мысль, и я ее записываю. Затем надолго откладываю. Проходит два-три месяца, опять к ней возвращаюсь, и так это иногда несколько лет продолжается. У меня особая какая-то любовь к переделкам. Есть такие люди, которые напишут вещь и больше не могут ее видеть. У меня иначе: написать мне трудно, а переделывать нравится.

Все то, что я говорю сейчас, можно, конечно, принять к сведению, а работать каждый должен по-своему. Я знаю людей, которые могут писать только при абсолютной тишине. А вот Илья Эренбург любит писать на вокзале. Это все равно что работать рядом с шумящим авиамотором. Все лучшее, что Эренбургом создано, написано в кафе, куда он приходит каждое утро. Великолепный образец высокого профессионализма и стиля в работе дает Горький. Вот у него, мне кажется, учиться надо.

Почему я мало печатал в последние годы? Все старался переломить себя, научиться писать длинно. Затея была гордая, но неправильная. Теперь вернулся к самому себе и выбираю из груды заготовленного материала (у меня хватило вкуса его не печатать) годное.

Работникам в области литературы думать — дело не лишнее, а сейчас в особенности. Нельзя вливать новое вино в старые мехи. Идеям, рожденным пролетарской революцией, идеям нового человека, тесно в кацавейке Баранцевича, Рышкова или Потапенко.

Надо упорно работать и над формой и над содержанием, памятуя о высоком звании писателя в Советской стране.

РЕЧЬ НА ПЕРВОМ ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Товарищи, статьи Горького о языке, мне кажется, нельзя толковать ограничительно. Они имеют далеко идущий смысл и значение. Важно не только то, что говорится, скажем, о какой-нибудь ошибке автора, о его небрежности, невежестве — тут больше вины, пожалуй, редактора, чем автора. Это статьи о великой ответственности и революционной важности слов в наши дни, особенно в нашей стране.

В истории человечества не было такого времени, когда за ведущим классом (а в нашей стране за рабочим классом и его партией) шли бы миллионы и десятки миллионов трудящихся людей, спаянных одной мыслью, одной идеей и стремлением. С этой точки зрения необыкновенно важен, я бы сказал — потрясающ наш съезд. Были у нас съезды инженеров, профессоров, химиков, строителей, но этот съезд, съезд «инженеров душ», людей по самой своей профессии, по их технологии разъединенных разностью самоощущения, вкусами, методами работы, — необычаен.

И никогда в истории человечества все эти люди, знающие, что такое «сопротивление материала», сопротивление слова, не чувствовали такой силы единства, как чувствуем мы и трудящиеся нашей страны. Мы объединены этой общностью идеи, мысли, борьбы, потому что, товарищи, борьба, видоизменившаяся в нашей стране, развернется с невиданной силой во всем мире. В этой борьбе нужно немного слов,

но это должны быть хорошие слова, а выдуманные, пошлые, казенные слова, пожалуй, играют на руку враждебным нам силам. Пошлость в наши дни — это уже не дурное свойство характера, а это преступление. Больше того: пошлость — это контрреволюция. Пошлость — вот один из важнейших врагов, по моему мнению.

На днях я был свидетелем такого случая. Монтер по соседству избил свою жену. Сбежались люди. Один говорит: дрянной человек, женщину избил. Другой: это припадочный. Подходит третий и говорит: какой черт припадочный, это — контрреволюционер.

Товарищи, я испытал чувство растроганности, когда услышал эти слова. Если в широкую массу, в толщу нашего народа вошло такое высокое духовное понятие о революции, то, действительно, победа ее окончательна. За этими чувствами слова не поспевают. Наша задача — облагородить эти слова. Посмотрите вы на превращение наших газет. Они были скучноваты, тусклы, не отражали многообразия жизни. Но вот поистине с чудесной, возможной только в нашей стране, быстротой с ними произошло изменение.

Очередь за газетой — радостная очередь, если не говорить, конечно, с точки зрения бумажной промышленности (*смех и аплодисменты*).

Теперь происходит как бы массовый призыв литераторов в газету (я говорю, главным образом, о газете, о брошюре, потому что это многомиллионные тиражи, многомиллионный рупор), и этому призыву надо последовать.

Со здания социализма снимаются первые леса. Самым близоруким видны уже очертания этого здания, красота его. И мы все — свидетели того, как нашу страну охватило могучее чувство просто физической радости.

Но выразители этой радости у нас иногда хромают. Иногда вдруг какой-нибудь человек, в сущности, глубоко унылая личность, зарядит о своей радости, начнет талдычить и нудить; на таких радующихся тошно глядеть.

Этот человек становится еще более страшен, когда он испытывает потребность объясниться кому-нибудь в любви (*смех*). Невыносимо громко говорят у нас о любви. Товарищи, на месте женщин я бы впал в панику: если так будет продолжаться, им перебьют все барабанные перепонки. Если так будет продолжаться, у нас скоро будут объясняться в любви через рупор, как судьи на футбольных матчах. И ведь дошло уже до того, что объекты любви начинают протестовать, вот как Горький вчера.

Серьезное тут заключается в том, что мы, литераторы, обязаны содействовать победе нового, большевистского вкуса в стране. Это будет немалая политическая победа, потому что, по счастью нашему, у нас не политических побед нет. Это будет и утверждение стиля нашей эпохи... Он не в болтовне, не в декларациях и не в необыкновенной способности говорить длинно, когда мысль коротка (причем специалистов говорить длинно можно убедить говорить коротко только тогда, когда у них никакой мысли нет) (*смех*).

Стиль большевистской эпохи — в мужестве, в сдержанности, он полон огня, страсти, силы, веселья.

На чем можно учиться? Говоря о слове, я хочу сказать о человеке, который со словом профессионально не соприкасается: посмотрите, как Сталин кует свою речь, как кованны его немногочисленные слова, какой полны мускулатуры. Я не говорю, что всем нужно писать, как Сталин, но работать, как Сталин над словом, нам надо (*аплодисменты*).

Вот я сказал об уважении к читателю, о читателе. С ним прямо беда. Если сказать словами Зощенко, это получается форменная труба (*смех*). Вот иностранные товарищи жалуются на него. Товарищи, а у нас читатели наступают сомкнутыми рядами, они идут прямо в кавалерийскую атаку на нас, бреющим полетом носятся над головой и протягивают руку, в которую вы камень не положите. Тут надо положить хлеб искусства. Он требует этого иногда с трогательностью, иногда с прямолинейным простодушием. Конечно, нужно его предупредить во избежание могущих возникнуть недоразумений: хлеб-то мы ему постараемся положить, но насчет стандарта формы этого хлеба — тут хорошо бы удивить его неожиданностью искусства, а не то чтобы он сказал: «Правильно, с подлинным верно». Без высоких мыслей, без философии нет литературы. Довольно теней на стекле! И этого читатель от нас ждет.

Я заговорил об уважении к читателю. Я, пожалуй, страдаю гипертрофией этого чувства. Я к нему испытываю такое беспредельное уважение, что немею, замолкаю (*смех*).

Представишь себе аудиторию читателей человек в пятьсот секретарей райкомов, которые знают в десять раз больше нас, писателей, и пчеловодство, и сельское хозяйство, и как строить металлургические гиганты, и тоже — «инженеры душ», — тогда и чувствуешь, что тут разговорами, болтовней, гимназической чепухой не отделаешься. Тут разговор должен быть серьезный и вплотную.

Если заговорили о молчании, то нельзя не сказать обо мне — великом мастере этого жанра (*смех*).

Надо сказать прямо, что в любой уважающей себя буржуазной стране я бы давно подох с голоду, и никакому издателю не было бы дела до того, как говорит Эренбург, кролик я или слониха. Произвел бы меня этот издатель, скажем, в зайцы и в этом качестве заставил бы меня прыгать, а не стал бы — меня заставили бы продавать галантерею. А вот здесь, в нашей стране, интересуются — а он кролик или слониха, что у него там в утробе, причем и не очень эту утробу толкают, — маленько, но не очень (*смех, аплодисменты*), и не очень допытываются, какой будет младенец: шатен или брюнет, и что он будет говорить и прочее. Вот, товарищи, я этому не радуюсь, но это, пожалуй, живое доказательство того, как в нашей стране уважаются методы работы, хотя бы необычные и медлительные.

Вслед за Горьким мне хочется сказать, что на нашем знамени должны быть написаны слова Соболева, что все нам дано партией и правительством и отнято только одно право — плохо писать.

Товарищи, не будем скрывать. Это было очень важное право, и отнимают у нас немало (*смех*). Это была привилегия, которой мы широко пользовались.

Так вот, товарищи, давайте на писательском съезде отдадим эту привилегию, и да поможет нам бог. Впрочем, бога нет, сами себе поможем (*аплодисменты*).

Рассказы и очерки

СТАРЫЙ ШЛОЙМЕ

Хотя наш городок и невелик, хотя все жители в нем наперечет, хотя Шлойме прожил в городке 60 лет безвыездно, но все-таки не каждый бы вам сказал, кто такой Шлойме и что он из себя представляет. Это потому, что его просто забыли, как забывают ненужную, не попадающуюся на глаза вещь. Такой вещью и был старый Шлойме. Ему было 86 лет. Глаза его слезились; лицо, маленькое, грязное, морщинистое лицо, обросло желтоватой, никогда не расчесываемой бородой и космами густых, спутанных волос на голове. Шлойме почти никогда не умывался, редко менял платье, и от него дурно пахло; сын и невестка, у которых он жил, махнули на него рукой, запрятали в теплый угол и забыли о нем. Теплый угол и еда — вот что осталось у Шлойме, и, казалось, ему было этого довольно. Погреть свои старые, изломанные кости, скушать хороший кусок жирного, сочного мяса было для него высшим наслаждением. К столу он приходил первый; жадно следил немигающими глазами за каждым куском, длинными костлявыми пальцами судорожно запихивал пищу в рот и ел, ел, ел до тех пор, пока ему отказывали дать еще, еще хоть один маленький кусочек. На Шлойме было противно смотреть в то время, когда он ел: вся его тощая фигурка дрожала, пальцы в жиру, лицо такое жалкое, полное страшной боязни,

чтобы его не обидели, чтобы не забыли о нем. Иногда невестка подшучивала над Шлойме: за столом она как будто случайно обходила его; старик начинал волноваться, беспомощно оглядываться, пытался улыбнуться своим искривленным, беззубым ртом; он хотел доказать, что для него не важно кушанье, что он и так обойдется, но в глубине глаз, в складке рта, в протянутых молящих руках чувствовалась такая просьба, эта с таким трудом скорченная улыбка была так жалка, что шутки забывались и старый Шлойме получал свою порцию.

Так и жил он в своем углу — ел и спал, а летом еще грелся на солнышке. Способность соображать он, казалось, давно утратил. Дела сына, домашние события не интересовали его. Безучастно смотрел он на все происходящее, и только шевелилась боязнь, как бы внук не подсмотрел, что у него под подушкой спрятан засохший кусок пряника. Никогда никто не говорил с Шлойме, не советовался с ним, не просил у него помощи. И Шлойме был очень доволен, когда однажды после ужина сын подошел к нему и громко крикнул на ухо: «Папаша, нас выселяют отсюда, слышите, выселяют, гонят!» Голос сына дрожал, лицо перекосилось точно от боли. Шлойме медленно поднял свои выцветшие глаза, осмотрелся, с трудом что-то сообразил, запахнулся в засаленный сюртук, ничего не ответил и побрел спать.

С этого дня Шлойме начал замечать, что в доме творится что-то неладное. Сын был расстроен, не занимался делом, иногда плакал и украдкой смотрел на жующего отца. Внук перестал ходить в гимназию. Невестка кричала визгливым

голосом, ломала руки, прижимала к себе своего мальчика и плакала, горько, с надрывом плакала.

У Шлойме нашлось теперь занятие — он смотрел и старался соображать. Смутные мысли шевелились в давно не работавшем мозгу. «Их гонят отсюда!» Шлойме знал, за что их гонят. «Но ведь он не может уехать! Ему 86 лет; он хочет отогреться. На дворе холодно, сыро... Нет, Шлойме никуда не уйдет. Ему некуда идти, совсем некуда». Шлойме забился в свой угол, и ему захотелось обнять деревянную расшатанную кровать, погладить печку, милую, теплую, такую же старую, как и он, печку. «Он вырос здесь, прожил свою бедную, неприветливую жизнь и хочет, чтобы его старые кости покоились на маленьком родном кладбище». В минуты таких дум Шлойме неестественно оживлялся, шел к сыну, хотел говорить ему много и горячо, посоветовать что-нибудь, но... он так давно ни с кем не говорил, никому ничего не советовал. И слова застывали в беззубом рте, поднятая рука бессильно опускалась. Шлойме, весь съежившись, как бы застыдившись своего порыва, угрюмо шел обратно к себе и прислушивался, о чем говорит сын с невесткой. Он плохо слышал, но что-то чувствовал, со страхом, с ужасом чувствовал. В такие минуты сын ощущал устремленный на него тяжелый и безумный взгляд выжившего из ума старика, и пара маленьких глаз с проклятым вопросом беспрестанно о чем-то догадывалась, что-то выпытывала. Один раз слово было произнесено слишком громко: невестка забыла, что Шлойме еще не умер. И вслед за этим словом послышался тихий, точно придушенный вой. Это был старый Шлойме. Колеблющимися

шагами, грязный и всклокоченный, он медленно приполз к сыну, схватил его за руки, погладил их, поцеловал, не отводя от сына воспаленного взора, несколько раз покачал головой, и впервые за много-много лет слезы выкатились из его глаз. Больше он ничего не сказал. С трудом поднялся с колен, костлявой рукой вытер слезы, для чего-то стряхнул пыль с сюртука и побрел обратно к себе, туда, где в углу стояла теплая печка... Шлойме хотел обогреться. Ему сделалось холодно.

С той поры Шлойме ни о чем другом не думал. Он знал одно: сын его хотел уйти от своего народа, к новому богу. Старая, забытая вера всколыхнулась в нем. Шлойме никогда не был религиозен, редко молился и раньше слыл даже безбожником. Но уйти, совсем, навсегда уйти от своего бога, бога униженного и страдающего народа — этого он не понимал. Тяжело ворочались мысли в его голове, туго соображал он, но эти слова неизменно, твердо, грозно стояли перед ним: «Нельзя этого, нельзя!» И когда понял Шлойме, что несчастье неотвратимо, что сын не выдержит, то он сказал себе: «Шлойме, старый Шлойме, что тебе теперь делать?» Беспомощно оглянулся старик вокруг себя, по-детски жалобно сморщил рот и хотел заплакать горькими, старческими слезами. Их не было, облегчающих слез. И тогда, в ту минуту, когда сердце его заныло, когда ум понял безмерность несчастья, тогда Шлойме в последний раз любовно осмотрел свой теплый угол и решил, что его не прогонят отсюда, никогда не прогонят. «Старику Шлойме не дают съесть кусок засохшего пряника, который лежит у него под подушкой. Ну так

что ж? Шлойме расскажет богу, как его обидели, бог ведь есть, бог примет его». В этом Шлойме был уверен.

Ночью, дрожа от холода, поднялся он с кровати. Тихо, чтобы никого не разбудить, зажег маленькую керосиновую лампу. Медленно, по-стариковски охая и ежась, начал напяливать на себя свое грязное платье. Потом взял табуретку, веревку, приготовленную накануне, и, колеблясь от слабости, хватаясь за стены, вышел на улицу. Сразу сделалось так холодно... Все тело дрожало. Шлойме быстро укрепил веревку на крюке, встал возле двери, поставил табуретку, взобрался на нее, обмотал веревку вокруг худой трясущейся шеи, последним усилием оттолкнул табуретку, успел еще осмотреть потускневшими глазами городок, в котором он прожил 60 лет безвыездно, и повис...

Был сильный ветер, и вскоре щуплое тело старого Шлойме закачалось перед дверью дома, в котором он оставил теплую печку и засаленную отцовскую Тору.

ЭЛЬЯ ИСААКОВИЧ И МАРГАРИТА ПРОКОФЬЕВНА

Гершкович вышел от надзирателя с тяжелым сердцем. Ему было объявлено, что если не выедет он из Орла с первым поездом, то будет отправлен по этапу. А выехать — значило потерять дело.

С портфелем в руке, худощавый и неторопливый, шел он по темной улице. На углу его окликнула высокая женская фигура:

— Котик, зайдешь?

Гершкович поднял голову, посмотрел на нее через блеснувшие очки, подумал и сдержанно ответил:

— Зайду.

Женщина взяла его под руку. Они пошли за угол.

— Куда же мы? В гостиницу?

— Мне надо на всю ночь, — ответил Гершкович, — к тебе.

— Это будет стоить трешницу, папаша.

— Два, — сказал Гершкович.

— Расчета нет, папаша...

. . . .

Сторговались за два с полтиной. Пошли дальше.

Комната проститутки была небольшая, чистенькая, с порванными занавесками и розовым фонарем.

Когда пришли, женщина сняла пальто, расстегнула кофточку... и подмигнула.

— Э, — поморщился Гершкович, — какое глупство.

— Ты сердитый, папаша.

Она села к нему на колени.

— Нивроко, — сказал Гершкович, — пудов пять в вас будет?

— Четыре тридцать.

Она взасос поцеловала его в седеющую щеку.

. . . .

— Э, — снова поморщился Гершкович, — я устал, хочу уснуть.

Проститутка встала. Лицо у нее сделалось скверное.

— Ты еврей?

Он посмотрел на нее через очки и ответил:

— Нет.

— Папашка, — медленно промолвила проститутка, — это будет стоить десятку.

Он поднялся и пошел к двери.

— Пятерку, — сказала женщина.

Гершкович вернулся.

— Постели мне, — устало сказал еврей, снял пиджак и осмотрелся, куда его повесить. — Как тебя зовут?

— Маргарита.

— Перемени простыню, Маргарита.

Кровать была широкая, с мягкой периной.

Гершкович стал медленно раздеваться, снял белые носки, расправил вспотевшие пальцы на ногах, запер дверь на ключ, положил его под подушку и лег. Маргарита, позевывая, неторопливо сняла платье, скосив глаза, выдавила прыщик на плече и стала заплетать на ночь жиденькую косичку.

— Как тебя зовут, папашка?

— Эли, Элья Исаакович.

— Торгуешь?

— Наша торговля... — неопределенно ответил Гершкович.

Маргарита задула ночник и легла...

. . . .

— Нивроко, — сказал Гершкович. — Откормилась.

Скоро они заснули.

На следующее утро яркий свет солнца залил комнату. Гершкович проснулся, оделся, подошел к окну.

— У нас море, у вас поле, — сказал он. — Хорошо.

— Ты откуда? — спросила Маргарита.

— Из Одессы, — ответил Гершкович. — Первый город, хороший город. — И он хитро улыбнулся.

— Тебе, я вижу, везде хорошо, — сказала Маргарита.

— И правда, — ответил Гершкович. — Везде хорошо, где люди есть.

— Какой ты дурак, — промолвила Маргарита, приподнимаясь на кровати. — Люди злые.

— Нет, — сказал Гершкович, — люди добрые. Их научили думать, что они злые, они и поверили.

Маргарита подумала, потом улыбнулась.

— Ты занятный, — медленно проговорила она и внимательно оглядела его.

— Отвернись. Я оденусь.

Потом завтракали, пили чай с баранками. Гершкович научил Маргариту намазывать хлеб маслом и по-особенному накладывать поверх колбасу.

— Попробуйте, а мне, между прочим, надо отправляться.

Уходя, Гершкович сказал:

— Возьмите три рубля, Маргарита. Поверьте, негде копейку заработать.

Маргарита улыбнулась.

— Жи́ла ты, жи́ла. Давай три. Придешь вечером?

— Приду.

Вечером Гершкович принес ужин — селедку, бутылку пива, колбасы, яблок. Маргарита была в темном глухом платье. Закусывая, разговорились.

— Полсотней в месяц не обойдешься, — говорила Маргарита. — Занятия такая, что дешевкой оденешься — щей не похлебаешь. За комнату отдаю пятнадцать, возьми в расчет...

— У нас в Одессе, — подумавши, ответил Гершкович, с напряжением разрезывая селедку на равные части, — за десять рублей вы имеете на Молдаванке царскую комнату.

— Прими в расчет, народ у меня толчется, от пьяного не убережешься...

— Каждый человек имеет свои неприятности, — промолвил Гершкович и рассказал о своей семье, о пошатнувшихся делах, о сыне, которого забрали на военную службу.

Маргарита слушала, положив голову на стол, и лицо у нее было внимательное, тихое и задумчивое.

После ужина, сняв пиджак и тщательно протерев очки суконкой, он сел за столик и, придвинув к себе лампу, стал писать коммерческие письма. Маргарита мыла голову.

Писал Гершкович неторопливо, внимательно, поднимая брови, по временам задумываясь, и, обмакивая перо, ни разу не забыл отряхнуть его от лишних чернил.

Окончив писать, он посадил Маргариту на копировальную книгу.

— Вы, нивроко, дама с весом. Посидите, Маргарита Прокофьевна, проше пани.

Гершкович улыбнулся, очки блеснули, и глаза сделались у него блестящие, маленькие, смеющиеся.

На следующий день он уезжал. Прохаживаясь по перрону, за несколько минут до отхода поезда Гершкович заметил Маргариту, быстро шедшую к нему с маленьким свертком в руках. В свертке были пирожки, и жирные пятна от них проступили на бумаге.

Лицо у Маргариты было красное, жалкое, грудь волновалась от быстрой ходьбы.

— Привет в Одессу, — сказала она, — привет...

— Спасибо, — ответил Гершкович, взял пирожки, поднял брови, над чем-то подумал и сгорбился.

Раздался третий звонок. Они протянули друг другу руки.

— До свидания, Маргарита Прокофьевна.

— До свиданья, Элья Исаакович.

Гершкович вошел в вагон. Поезд двинулся.

МАМА, РИММА И АЛЛА

С самого утра день выдался хлопотливый.

Накануне раскапризничалась и ушла прислуга. Варваре Степановне пришлось все делать самой. Во-вторых, рано утром прислали счет на электричество. В-третьих, квартиранты, братья Растохины, студенты, предъявили совершенно неожиданную претензию. Ночью ими была якобы получена из Калуги телеграмма о том, что отец их болен и необходимо к нему выехать. Поэтому они освобождают комнату и просят

возвратить им 60 рублей, выданные Варваре Степановне заимообразно.

Варвара Степановна на это ответила, что странно освобождать комнату в апреле, когда никто ее снимать не станет, и что деньги она затрудняется возвратить, потому что они были даны ей не заимообразно, а в виде платы за помещение, платы, выданной, правда, вперед.

Растохины с Варварой Степановной не согласились. Разговор принял замедленный и недружелюбный характер. Студенты были упрямые и недоумевающие остолопы в длиннополых и чистеньких сюртуках. Им показалось, что плакали их денежки. Старший предложил тогда, чтобы Варвара Степановна заложила у них свой буфет из столовой и трюмо.

Варвара Степановна побагровела и возразила, что она не позволит разговаривать с собой в таком тоне, что предложение растохинское совершеннейшая дичь, что законы она знает, муж ее членом окружного суда на Камчатке и прочее. Младший Растохин, вспылив, ответил, что наплевать им с высокого дерева на то, что муж ее членом окружного суда на Камчатке, что если попадет к ней копейка, то ее уж когтями не выдерешь, что пребывание свое у Варвары Степановны — весь этот сумбур, грязь, бестолковщину — они никогда не забудут и что окружной суд на Камчатке далеко, а мировой судья на Москве близко...

Так эта беседа и окончилась. Растохины ушли надутые, злобно-тупые, а Варвара Степановна направилась в кухню варить кофе другому своему квартиранту, студенту Станиславу

Мархоцкому. Из комнаты его уж несколько минут доносились резкие и длительные звонки.

Варвара Степановна стояла в кухне перед спиртовой машинкой, на толстом носу ее было разъехавшееся от старости никелевое пенсне, седоватые волосы растрепались, утренняя розовая кофта была в пятнах. Она варила кофе и думала, что никогда эти мальчишки не разговаривали бы с ней в таком тоне, если бы не вечный недостаток в деньгах, если бы не эта несчастная необходимость перехватывать, прятаться и хитрить.

Когда кофе и яичница Мархоцкого были готовы, она отнесла завтрак ему в комнату.

Мархоцкий был поляк — высокий, костлявый, беловолосый, с холеными ногтями и длинными ногами. В то утро на нем была домашняя щегольская серая куртка с брандебурами.

Встречена была Варвара Степановна с неудовольствием.

— Мне надоело, — сказал он, — то, что никогда нет прислуги, приходится звонить по часу и опаздывать на лекции...

Прислуги действительно часто не бывало, и звонил Мархоцкий подолгу, но на этот раз причина его неудовольствия была в другом.

Накануне вечером он сидел с Риммой, старшей дочерью Варвары Степановны, на диване в гостиной. Варвара Степановна видела, как они поцеловались раза три и в темноте обнимались. Сидели они до одиннадцати, затем до двенадцати, потом Станислав положил голову на грудь Риммы и заснул. Кто в молодости не дремал в углу дивана на груди

случайно встретившейся на жизненном пути гимназисточки? Худа в этом большого нет, последствий часто тоже не бывает, но все же надо считаться с окружающими, с тем, что девочке, может быть, в гимназию на следующее утро надо.

Только в половине второго Варвара Степановна довольно кисло заявила, что пора бы и честь знать. Мархоцкий, исполненный польского гонора, поджал губы и обиделся. Римма метнула на мать негодующий взгляд.

Тем дело и обошлось. Но Станислав, очевидно, и на следующее утро помнил об этом. Варвара Степановна подала ему завтрак, посолила яичницу и вышла.

Было 11 часов утра. Варвара Степановна открыла в комнате дочерей шторы. Легкие, блестящие лучи нежаркого солнца легли на грязноватый пол, на разбросанную повсюду одежду, на запыленную этажерку.

Девушки уже проснулись. Старшая, Римма, была худенькая, маленькая, быстроглазая, черноволосая. Алла была моложе на год — всего семнадцать лет — крупнее сестры, белая, медлительная в движениях, с нежной, рыхловатой кожей, с сладостно-задумчивым выражением голубых глаз.

Когда мать вышла, она заговорила. Полная голая рука ее лежала на одеяле, белые пальчики едва шевелились.

— Я видела сон, Римма, — сказала она. — Представь себе — странный городок, маленький, русский, непонятный... Светло-серое небо стоит очень низко и горизонт совсем близко. Пыль на уличках тоже серая, гладкая, покойная. Все мертво, Римма. Ниоткуда ни звука, нигде ни одного человека. И вот мне кажется, что я иду по незнакомым мне

переулочкам, вдоль маленьких, тихих деревянных домиков. То упираюсь в тупички, то выхожу на дорогу, из которой мне видны только десять шагов пути, и все же я иду по ней бесконечно. Впереди меня где-то вьется легкая пыль. Я подхожу ближе и вижу свадебные кареты. В одной из них Михаил с невестой. Невеста в фате, и лицо у нее счастливое. Я иду рядом с каретами, мне кажется, что я выше всех, и сердце у меня побаливает. Потом все замечают меня. Кареты останавливаются. Михаил подходит ко мне, берет меня за руку и медленно уводит в переулок. «Мой друг Алла, — говорит он монотонно, — все грустно, я знаю. Ничего нельзя сделать, потому что я не люблю вас». Я иду рядом с ним, сердце у меня все вздрагивает, и новые серые дорожки открываются перед нами.

Алла замолкла.

— Дурной сон, — прибавила она. — Кто знает? Может быть, потому что худо — все пойдет к лучшему и получится письмо.

— Черта с два, — ответила Римма, — раньше надо было умнее быть и не бегать на свидания. А у меня, знаешь, с мамой сегодня разговор будет... — неожиданно сказала она.

Римма встала, оделась, пошла к окну.

Весна была на Москве. Теплой сыростью блестел длинный, мрачный забор, тянувшийся на противоположной стороне почти во всю длину переулка.

У церкви, в палисаднике, трава была влажная, зеленая. Солнце мягко золотило потускневшие ризы, мелькало по

темному лику иконы, поставленной на покосившемся столбике у входа в церковную ограду.

Девушки перешли в столовую. Там сидела Варвара Степановна и много и внимательно ела, поочередно пристально вглядываясь через очки в бисквитики, в кофе, в ветчину. Кофе она пила громкими и короткими глотками, а бисквиты съедала быстро, жадно, точно украдкой.

— Мама, — сурово сказала ей Римма и гордо подняла маленькое личико, — я хочу поговорить с тобой. Не надо вспыхивать. Все будет спокойно и раз навсегда. Я не могу жить с тобой больше. Дай мне свободу.

— Пожалуйста, — спокойно ответила Варвара Степановна, поднимая на Римму бесцветные глаза. — Это за вчерашнее?

— Не за вчерашнее, а по поводу него. Я задыхаюсь здесь.

— Что же ты делать будешь?

— На курсы пойду, изучу стенографию, теперь спрос...

— Теперь стенографистками хоть пруд пруди. Ухватятся за тебя...

— Я не прибегну к тебе, мама, — визгливо проговорила Римма, — я не прибегну к тебе. Дай мне свободу.

— Пожалуйста, — еще раз сказала Варвара Степановна, — я не задерживаю.

— И паспорт дай мне.

— Паспорта я не дам.

Разговор был неожиданно тихий. Теперь Римма почувствовала, что из-за паспорта можно раскричаться.

— Это мне нравится, — саркастически захохотала она, — где же меня пропишут без паспорта?

— Паспорта я не дам.

— Я на содержание пойду, — истерически закричала Римма, — я жандарму отдамся…

— Кто тебя возьмет? — Варвара Степановна критически осмотрела дрожащую фигурку и пылающее лицо дочери. — Не найдет жандарм получше…

— Я на Тверскую пойду, — кричала Римма, — я к старику пойду. Я не хочу жить с ней, с этой дурой, дурой, дурой…

— Ах, вот как ты с матерью разговариваешь, — с достоинством поднялась Варвара Степановна, — в доме нужда, все разваливается, недостаток, я хочу забыться, а ты… Папа это будет знать…

— Я сама напишу на Камчатку, — в исступлении прокричала Римма, — я получу у папки паспорт…

Варвара Степановна вышла. Маленькая и взъерошенная.

Римма возбужденно шагала по комнате. Отдельные гневные фразы из будущего письма к отцу носились в ее мозгу.

«Милый папка! — напишет она, — у тебя свои дела, я знаю, но я должна все сказать тебе… Оставим на маминой совести утверждение, будто Стасик спал на моей груди. Он спал на вышитой подушечке, но центр тяжести в другом. Мама твоя жена, ты будешь пристрастен, но дома я не могу оставаться, она тяжелый человек… Если хочешь, я приеду к тебе на Камчатку, но паспорт мне нужен, папка…»

Римма шагала, а Алла сидела на диване и смотрела на сестру. Тихие и грустные мысли ложились ей на душу.

«Римма суетится, — думала она, — а я несчастна. Все тяжело, все непонятно...»

Она пошла к себе в комнату и легла. Мимо нее прошла Варвара Степановна в корсете, густо и наивно напудренная, красная, растерянная и жалкая.

— Я вспомнила, — сказала она, — Растохины съезжают сегодня. Надо отдать 60 рублей. Грозятся в суд подать. На шкапчике яйца лежат. Завари себе, а я схожу в ломбард.

Когда часов в шесть вечера Мархоцкий пришел с лекций домой, он застал в передней упакованные чемоданы. Из комнаты Растохиных доносился шум: очевидно, ссорились. Там же, в передней, Варвара Степановна как-то молниеносно и с отчаянной решимостью одолжила у него 10 рублей. Только очутившись в своей комнате, Мархоцкий рассудил, что сделал глупость.

Комната Мархоцкого отличалась от прочих помещений в квартире Варвары Степановны. Она была чисто убрана, уставлена безделушками и увешана коврами. На столах в порядке были разложены принадлежности для черчения, щегольские трубки, английский табак, костяные белые ножи для разрезывания бумаги.

Станислав не успел еще переодеться в свой домашний костюм, когда в комнату тихо вошла Римма. Прием она встретила сухой.

— Ты сердишься, Стасик? — спросила девушка.

— Я не сержусь, — ответил поляк, — я попросил бы только избавить меня от необходимости быть свидетелем эксцессов вашей матери.

— Скоро все кончится, — сказала Римма, — скоро я буду свободна, Стасик...

Она села рядом с ним на диванчик и обняла его.

— Я мужчина, — начал тогда Стасик, — это платоническое прозябание не для меня, у меня карьера впереди...

Он раздраженно говорил те слова, с которыми обычно, в конце концов, обращаются к некоторым женщинам. Говорить с ними не о чем, нежничать с ними скучно, а переходить к существенному они не хотят.

Стасик говорил, что его снедает желание; это мешает ему работать, вселяет беспокойство; надо кончить в ту или иную сторону; каково будет решение — ему почти все равно, лишь бы решение.

— Отчего сейчас же эти слова? — задумчиво промолвила Римма, — отчего сейчас же «я мужчина» и что-то «надо кончить», отчего такое злое и холодное лицо? Неужели нельзя говорить ни о чем другом? Ведь это тяжело, Стасик. На улице весна, так красиво, а мы злимся...

Стасик не ответил. Оба молчали.

У горизонта потухал пламенный закат, заливая алым блеском далекое небо. С другого конца его нависала легкая, медленно густевшая тьма. Комната была озарена последним румяным светом. На диване Римма все нежнее склонялась к

студенту. Происходило то, что случалось у них обычно в этот прекраснейший час дня.

Станислав поцеловал девушку. Она положила голову на подушечку и закрыла глаза. Оба воспламенялись. Через несколько минут Станислав целовал ее беспрерывно и в порыве злобной, неутоленной страсти мотал по комнате худенькое и горячее тело. Он порвал ей кофточку и лиф. Римма, с запекшимися губами и с кругами под глазами, подставляла поцелуям свои губы и с искривленной, скорбной гримасой защищала девственность. В одну из этих минут кто-то постучал. Римма заметалась по комнате, прижимая к груди висевшие куски растерзанной кофточки.

Они открыли дверь не скоро. Оказалось, что к Станиславу пришел товарищ. Он проводил плохо скрытым насмешливым взглядом проскользнувшую мимо него Римму. Украдкой она пробралась к себе, переменила кофточку и постояла у холодного оконного стекла, чтобы остыть.

В ломбарде за фамильное серебро Варваре Степановне выдали всего сорок рублей. Десять рублей она одолжила у Мархоцкого, за остальными деньгами пешком бегала к Тихоновым, от Страстного на Покровку. В растерянности упустила даже из виду, что можно было поехать в трамвае.

Дома, кроме бушевавших Растохиных, ее ждал по делу помощник присяжного поверенного Мирлиц, высокий молодой человек с гнилыми корешками вместо зубов и с влажными серыми глуповатыми глазами.

Несколько времени тому назад Варвара Степановна из-за недостатка денег затеяла заложить по доверенности домик мужа на Коломне. Мирлиц принес текст закладной. Варваре Степановне казалось, что дело обстоит не совсем ладно, что следовало бы посоветоваться с кем-нибудь прежде, чем кончать дело, но слишком много всяких тревог, сказала она себе, выпало на ее долю... Бог с ними со всеми, с квартирантами, с дочерьми, с грубостями.

После делового разговора Мирлиц раскупорил принесенную им с собой бутылку крымского Мускат-Люнеля — он знал слабость Варвары Степановны. Выпили по стаканчику, готовились к повторению. Голоса зазвенели громче, мясистый нос Варвары Степановны покраснел, кости от корсета выпирали и были все наперечет. Мирлиц рассказывал что-то веселое и заливался. Римма в новой, перемененной кофточке безмолвно сидела в уголке.

После того как выпили Мускат-Люнель, Варвара Степановна и Мирлиц вышли погулять. Варвара Степановна почувствовала, что она чуть-чуть опьянела, ей было стыдно этого и в то же время было все равно, потому что слишком много тягости в жизни, Бог с ней совсем.

Вернулась Варвара Степановна раньше, чем предполагала, потому что не застала Бойко, к которым ходила в гости. Вернувшись, была поражена тишиной, господствовавшей в квартире. Обыкновенно в это время дурачились со студентами, хохотали, бегали. Только из ванной комнаты доносилась возня. Варвара Степановна пошла в кухню, через оконце которой можно было видеть, что делается в ванной...

Она подошла к окошку и увидела необыкновенную, странную картину, увидела вот что:

Печка, в которой нагревают воду, была накалена докрасна. Ванна была наполнена кипящей водой. У печки на коленях стояла Римма. В руках ее были щипцы для завивания волос. Она накаливала их на огне. У ванны стояла Алла, нагая. Длинные косы ее были распущены. Из глаз катились слезы.

— Подойди сюда, — сказала она Римме. — Послушай, может быть, бьется...

Римма приложила голову к ее чуть вздутому, нежному животу.

— Не бьется, — ответила она. — Все равно. Сомневаться нельзя.

— Я умру, — прошептала Алла. — Вода обожжет меня. Я не выдержу. Не надо щипцов. Ты не знаешь, как делается.

— Все так делают, — проговорила Римма. — Не хнычь, Алла. Не рожать же тебе.

Алла собралась уж сесть в ванну, но не успела, потому что в эту минуту прозвучал незабываемый, тихий хрипловатый голос матери:

— Что вы делаете, дети?

Часа через два Алла, укутанная, обласканная и оплаканная, лежала в широкой кровати Варвары Степановны. Она рассказала все. Ей было легко. Она казалась себе маленькой девочкой, у которой было смешное детское горе.

Римма бесшумно, безмолвно двигалась по спальне, убирала, сварила матери чай, заставила ее поужинать, сделала так, чтобы в комнате было чисто. Потом зажгла лампадку,

в которую недели две уж забывали влить масла, разделась, стараясь не шуметь, и легла рядом с сестрой.

Варвара Степановна сидела у стола. Ей видна была лампадка, темно-красный ровный пламень ее, тускло озарявший Деву Марию. Опьянение, как-то странно и легко, бродило еще в голове. Девочки скоро заснули. У Аллы было белое, большое и спокойное лицо. Римма приникла к ней, вздыхала во сне и вздрагивала.

Около часу ночи Варвара Степановна зажгла свечу, положила перед собой листок бумаги и написала письмо мужу:

«Милый Николай! Сегодня приходил Мирлиц, очень порядочный еврей, а завтра будет господин, который дает деньги за дом. Я думаю, что поступаю, как следует, но становлюсь все беспокойнее, потому что не полагаюсь на себя.

Я знаю — у тебя свои огорчения, служба, и не надо бы об этом писать, но дом наш, Николай, как-то не налаживается. Дети становятся взрослыми, жизнь нынче многого требует — курсы, стенографию, — девочки хотят больше свободы. Нужен отец, накричать, может быть, нужно, но на меня нечего полагаться. Мне все кажется, что это была ошибка — твой отъезд на Камчатку. Будь ты здесь, мы переехали бы в Староколенный, там очень светлая квартирка сдается.

Римма похудела и дурно выглядит. Целый месяц брали в молочной, напротив, сливки, дети очень поправились, но теперь перестали брать. Печень моя то дает себя чувствовать, то не болит. Пиши чаще. После твоих писем я остерегаюсь, не ем селедок, и печень не тревожит. Приезжай, Коля, мы бы отдохнули. Дети кланяются. Целую тебя крепко. Твоя Варя».

ДЕВЯТЬ

Их девять человек. Все они ждут приема у редактора. Первым входит в кабинет широкоплечий молодой человек, обладающий громким голосом и ярким галстуком. Представляется. Фамилия его — Сардаров. Профессия — куплетист. Просьба — издать куплеты. Есть предисловие, составленное знаменитым поэтом. Если нужно — может быть и послесловие.

Редактор внимает. Человек он задумчивый, медлительный, видавший виды. Спешить ему некуда. Номер составлен. Просматривает куплеты:

Ах, жалобно стонет Франц —
Иосиф ив в Вене —
Ах, у мене уже совсем нету
терпенья...

Редактор отвечает, что, к сожалению, и прочее. Журнал нуждается в статьях по кооперации, в заграничных корреспондентах...

Сардаров выпячивает грудь, до жестокости бонтонно извивается и с шумом уходит.

Вторым номером идет барышня — худенькая, застенчивая, очень красивая. Приходит она в третий раз. Стихи ее не для печати. Она очень хочет узнать — только этого она хочет, — стоит ли ей писать? Редактор говорит с ней ласково. Он видит ее иногда на Невском с высоким господином, из-

редка очень обстоятельно покупающим полдесятка яблок. Обстоятельность эта опасна. Стихи об этом свидетельствуют. В них бесхитростная история жизни.

«Ты хочешь тела, — пишет девушка, — возьми его, мой враг, мой друг, но где душе найти мечту?»

Редактор думает. Тело он возьмет скоро. К этому идет. Очень уж у тебя растерянные, слабые и красивые глаза. Мечту душа найдет менее быстро, а как женщина ты будешь пикантна.

В стихах девушка описывает жизнь «безумно-отпугивающую» или «безумно-прекрасную», прочие маленькие неприятности, и еще «звуки, звуки, звуки вокруг меня, пьянящие, звуки без конца»...

Есть уверенность, что по удачном завершении дела, затеянного обстоятельным господином, девушка перестанет писать стихи и начнет ходить к акушеркам.

После девушки к редактору входит литератор Лунев, маленький и нервный человек. История здесь сложная. Лунев когда-то разругал редактора. Человек он растерянный, семейный, талантливый и неудачливый. В суетливости своей, в погоне за рублем — не совсем разбирает, кого можно ругать, кого нельзя. Сначала выругался, а потом неожиданно для самого себя принес рукописи, а потом понял, что все это глупо, что трудно жить на свете и что не везет, ах, как не везет. В приемной у него было небольшое сердцебиение, в кабинете ему заявили, что «вещица» недурна, но, au fond*, это

* По существу (*фр.*).

же не литература, это же... Лунев лихорадочно согласился, неожиданно забормотал, что «вы-то, Александр Степанович, хороший человек, а я-то — к вам нехорошо, — все это можно разно понять, вот и все, я именно хотел оттенить, но все это глубже, честь имею»... У Лунева выступает уморительный румянец, дрожащими пальцами он собирает листки рукописи, и хочет он сделать вид, что не то он спокоен, не то он ироничен, а впрочем, бог его знает, чего он хочет...

Лунева сменяют два очень обычных в редакциях персонажа. Первый персонаж — дама, розовая, жизнерадостная, белокурая дама. Идет от нее теплая волна духов. Глаза у нее светлые и наивные. Есть у нее сынок — девяти лет, и вот этот сынок — «вы знаете, — он пишет по целым дням, мы сначала не обращали внимания, но все знакомые в восторге, уж на что мой муж, он служит в мелиоративном отделе, уж на что положительный человек, совсем не признает новой литературы, ни, знаете, Андреева, ни Нагродскую, но и он искренно смеялся, я принесла вам три тетради»...

Второй персонаж — Быховский. Он из Симферополя. Славный человек, жизнерадостный. Литературой он не занимается, дела у него к редактору, в сущности, нет, говорить ему, собственно, не о чем, но он подписчик, приехал он так — побеседовать и поделиться впечатлениями, окунуться в эту, знаете, петроградскую жизнь. Он и окунается. Редактор мямлит что-то о политике, о кадетах, — Быховский расцветает и уверен, что принимает деятельное участие в общественной жизни страны.

Самый печальный посетитель — это Корб. Он еврей, истинный Агасфер. Родился в Литве, был ранен во время погрома в одном из южных городов. С тех пор у Корба очень болит голова. Потом он был в Америке. Во время войны очутился почему-то в Антверпене и 44-х лет от роду поступил в иностранный легион. У Мобежа его контузили в голову. Она у него трясется. Каким-то образом Корба эвакуировали в Россию, в Петроград. Он получает откуда-то пособие, снимает на Песках угол в смрадном подвале и пишет драму: «Царь Израильский». У Корба очень болит голова, по ночам он не спит, а ходит по подвалу и думает. Хозяин его, упитанный и снисходительный человек, курящий черные сигары по 4 коп. штука, сначала сердился, но потом, побежденный кротостью и трудолюбием Корба, исписывавшего сотни листов, полюбил его. На Корбе старый, выцветший антверпенский сюртук. Подбородок не брит, в глазах — и усталость, и фанатическое к чему-то стремление. У Корба болит голова, но он пишет драму, и эта драма начинается так: «Звони в колокола, погибла Иудея»...

После Корба остаются трое. Один из них молодой человек из провинции, неторопливый, размышляющий, долго усаживающийся в кресло и долго на нем сидящий. Его медлительное внимание привлекают картины на стенах, вырезки на столе, портреты сотрудников... Что ему, собственно, угодно? Собственно, ему ничего не угодно... Он работал в прессе... В какой прессе? В провинциальной... А вот интересно, в скольких экземплярах расходится ваш журнал, какая оценка труда?.. Молодому человеку объясняют, что на такие

вопросы не всегда отвечают и что если он пишет, то — пожалуйста, а если не пишет, то... Молодой человек ответствует, что писать-то он не пишет, специальности у него нет, но он мог бы быть, например... редактором.

Выходит «редактор», входит Смурский... Тоже с биографией человек. Служил агрономом в Кашинском уезде Тверской губернии. Спокойный уезд, славная губерния. Но Смурского влекло в Петроград. Он предложил свои услуги в качестве агронома, кроме того, он принес в одну из редакций 20 рукописей. Из них две были приняты. Смурский пришел к убеждению, что ему везет в литературе. Услуг своих в качестве агронома больше не предлагал. Нынче ходит в визитке и с портфелем. Пишет каждый день и много. Печатают мало.

А девятый посетитель вот кто — Степан Драко, «путешественник пешком вокруг света, король жизни и лектор».

ВДОХНОВЕНИЕ

Мне хотелось спать, и я был зол. В это время пришел Мишка читать свою повесть. «Запри дверь», — сказал он и вытащил из кармана бутылку вина.

«Сегодня мой вечер. Окончил повесть. Мне кажется — это настоящее. Выпьем, друг».

Лицо у Мишки было бледное и потное.

«Дураки те, кто говорят, что нет счастья на земле, — сказал он. — Счастье — это вдохновение. Я писал вчера всю

ночь и не заметил, как рассвело. Потом гулял по городу. Рано утром город удивителен: роса, тишина и совсем мало людей. Все прозрачно, и движется день — холодно-голубой, призрачный и нежный. Выпьем, друг. Я неошибочно чувствую — эта повесть “перелом в моей жизни”». Мишка налил себе вина и выпил. Пальцы его вздрагивали. У него была удивительной красоты рука — тонкая, белая, гладкая, с утончающимися в конце пальцами.

«Понимаешь — эту повесть надо пристроить, — продолжал он. — Везде примут. Теперь гадость печатают. Главное — протекция. Мне обещали. Сухотин все сделает...»

«Мишка, — сказал я, — ты бы просмотрел свою повесть, она у тебя совсем без помарок»...

«Пустяки, потом... Дома, понимаешь, смеются. Rira bien, qui rira le dernier*. Я, понимаешь, молчу. Через год увидим. Ко мне придут»... Бутылка подходила к концу.

«Брось пить, Мишка»...

«Возбудиться нужно, — ответил он, — вот за вчерашнюю ночь я 40 папирос выкурил»... Он вынул тетрадь. Она была очень толстая, очень. Я подумал — не попросить ли оставить мне ее. Но потом посмотрел на его бледный лоб, на котором вспухла жила, на криво и жалко болтавшийся галстучек и сказал:

«Ну, Лев Николаевич, автобиографию писать будешь — не забудь»...

Мишка улыбнулся.

---

* Хорошо смеется тот, кто смеется последним (*фр.*).

«Мерзавец, — ответил он, — ты совсем не ценишь моего знакомства».

Я удобно уселся. Мишка склонился над тетрадью. В комнате были тишина и сумрак.

«В этой повести, — сказал Мишка, — я хотел дать новое произведение, окутанное дымкой мечты, нежность, полутени и намек... Мне противна, противна грубость нашей жизни»...

«Довольно предисловий, — ответил я, — читай»... Он начал. Я слушал внимательно. Это было нелегко. Повесть была бездарна и скучна. Конторщик влюбился в балерину и шатался под ее окнами. Она уехала. Конторщику стало больно, потому что его мечта любви была обманута.

Скоро я бросил слушать. Слова в этой повести были скучные, старые, гладкие, как обтесанные деревяшки. Ничего не было видно — каков человек конторщик, какова она.

Я посмотрел на Мишку. Глаза его разгорались. Пальцы комкали потухавшие папиросы. Лицо его — тупое и узкое, тягостно обрубленное ненужным мастером, толстый, торчащий и желтый нос, бледно-розовые, вспухшие губы, все светлело, медлительно, с неотвратимо внедрявшейся силой исполнялось творческого и радостно-уверенного восторга.

Он читал томительно долго, а когда кончил, неуклюже спрятал тетрадь и посмотрел на меня...

«Видишь ли, Мишка, — медленно сказал я, — видишь ли, об этом надо подумать... Идея у тебя очень оригинальная, есть нежность... Но, видишь ли, разработка... Надо, понимаешь, разгладить»...

«Я вынашивал эту вещь три года, — ответил Мишка, — конечно, есть шероховатости, но главное?..»

Он что-то понял. У него дрогнула губа. Он сгорбился и ужасно долго закуривал папиросу.

«Мишка, — тогда сказал я, — ты написал прекрасную вещь. У тебя мало еще техники, но ça viendra*. Черт побери, много же у тебя в голове помещается»...

Мишка обернулся, посмотрел на меня, и глаза его были как у ребенка — ласковые, сияющие и счастливые.

«Выйдем на улицу, — сказал он, — выйдем, мне душно»... Улицы были темны и тихи.

Мишка крепко сжимал мою руку и говорил:

«Я неошибочно чувствую — у меня талант. Отец хочет, чтобы я искал себе службу. Я молчу. Осенью — в Петроград. Сухотин все сделает». Он замолчал, зажег одну папиросу об другую и заговорил тише: «Иногда я чувствую вдохновение, от которого мне мучительно. Тогда я знаю, что то, что делаю — я делаю, как нужно. Я дурно сплю, всегда кошмары и тоска. Мне нужно три часа проваляться, чтоб заснуть. По утрам голова болит, тупо, ужасно. Я могу писать только ночью, когда одиночество, когда тишина, когда душа горит. Достоевский всегда ночью писал и выпивал за это время самовар, а у меня папиросы... Знаешь, дым стоит под потолком»...

Мы подошли к Мишкиному дому. Лицо его осветил фонарь. Порывистое, худое, желтое, счастливое лицо.

---

* Это придет (*фр.*).

«Мы еще повоюем, черт возьми, — сказал он и сильнее сжал мою руку. — В Петрограде все выбиваются».

«Все-таки, Мишка, — сказал я, — работать надо»...

«Сашка, друг, — ответил он. И крепко, покровительственно усмехнулся. — Я хитер, что знаю — то знаю, не беспокойся, не почию на лаврах. Приходи завтра. Посмотрим еще разок».

«Ладно, — проговорил я, — приду».

Мы расстались. Я пошел домой. Мне было очень грустно.

DOUDOU

Я был тогда санитаром в Н-ском госпитале. Однажды утром генерал С. — попечитель госпиталя — привел с собой молодую девушку и порекомендовал ее в качестве сестры милосердия. Конечно, приняли.

Звалась новая сестра la petite Doudou*, была содержанкой генерала и по вечерам танцевала в кафешантане.

У нее была гибкая, вязкая гармоничная походка, прелестная, но чуть угловатая походка танцовщицы. Для того чтобы увидеть ее, я пошел потом в шантан. Она удивительно танцевала tango acrobatique**, с неясной нежной страстностью и целомудренно, сказал бы я.

---

* Крошка Дуду (*фр.*).

** Акробатическое танго (*фр.*).

В госпитале она благоговела перед всеми солдатами и ухаживала за ними, как прислуга. Однажды, когда старший врач, проходя по палате, увидел, как Doudou, стоя на коленях, тужится застегнуть кальсоны у корявого, апатичного мужичонки Дыбы, он сказал:

«Ты бы, брат Дыба, постыдился. Мужику поручил бы».

Doudou подняла тогда ласковое, тихое лицо и промолвила: «Oh mon docteur*, разве я не видела мужчин в кальсонах?»

Помню, на третий день Пасхи привезли к нам разбившегося летчика-француза — m-r Drouot. У него были раздроблены обе ноги. Он был бретонец, сильный, черный и молчаливый. Твердые щеки чуть отливали синевой. Так странно было видеть — мощное туловище, точеная крутая шея и разбитые, беспомощные ноги.

Положили его в отдельной комнатке. Doudou часами просиживала у него. Они тихо и душевно разговаривали. Drouot рассказывал о полетах, о том, что он одинок: никого из близких, и все так грустно. Он влюбился в нее (это чувствовалось ясно), но смотрел на нее так, как нужно: нежно, страстно и задумчиво. А Doudou, прижимая руки к груди, с тихим удивлением говорила в коридоре сестре Кирдецовой:

«Il m’aime, ma soeur, il m’aime»**.

---

* О, доктор (*фр.*).

** Он любит меня, сестра, любит (*фр.*).

В ночь на субботу она была дежурной и сидела у Drouot. Я находился в соседней комнате и видел их. Когда Doudou пришла, он сказал:

«Doudou, ma bien aimée»*, — склонил голову ей на грудь и медленно стал целовать темно-синюю шелковую ее кофточку. Doudou стояла недвижимо. Пальцы ее вздрагивали и теребили пуговицы кофточки.

«Чего Вы хотите?» — спросила Doudou.

Он ответил что-то.

Doudou задумчиво, внимательно оглядела его и медлительно отвернула кружево воротника. Показалась мягкая белая грудь. Drouot вздохнул, вздрогнул и припал к ней. У Doudou от боли призакрылись глаза. Все же она заметила, что ему неудобно, и расстегнула еще и лиф. Он притянул Doudou к себе, но сделал резкое движение и застонал.

«Вам больно! — сказала Doudou, — не надо больше, Вам нельзя...»

«Doudou, — ответил он, — я умру, если Вы уйдете».

Я отошел от окна. Все же я видел еще жалкое и бледное лицо Doudou, видел, как растерянно старалась она не сделать ему больно, слышал стон страсти и боли.

История получила огласку. Doudou уволили, проще — выгнали. В последнюю минуту она стояла в вестибюле и прощалась со мной. Из глаз ее выкатывались тяжелые и светлые слезы, но она улыбалась, чтобы не огорчить меня.

** Дуду, моя любимая (*фр.*).

«Прощайте, — сказала Doudou и протянула мне тонкую руку в светлой перчатке, — adieu, mon ami…[*]». Потом помолчала и добавила, глядя мне прямо в глаза: «Il gèle, il meurt, il est seul, il me prie, dirai-je non?»[**]

В это время в глубине вестибюля проковылял Дыба — грязнейший мужичонка. «Клянусь Вам, — промолвила тогда Doudou тихим и вздрагивающим голосом, — клянусь Вам, попроси меня Дыба, я сделала бы то же».

В ЩЕЛОЧКУ

Есть у меня знакомая — мадам Кебчик. В свое время, уверяет мадам Кебчик, она меньше пяти рублей «ни за какие благи» не брала. Теперь у нее семейная квартира, и в семейной квартире две девицы — Маруся и Тамара. Марусю берут чаще, чем Тамару.

Одно окно из комнаты девушек выходит на улицу, другое — отдушина под потолком — в ванную. Я увидел это и сказал Фанни Осиповне Кебчик:

— По вечерам вы будете приставлять лестницу к окошечку, что в ванной. Я взбираюсь на лестницу и заглядываю в комнату к Марусе. За это пять рублей.

Фанни Осиповна сказала:

— Ах, какой балованный мужчина! — И согласилась.

---

[*] Прощайте, мой друг… (*фр.*)

[**] Его знобит, он умирает, совсем один, он просит меня, неужели сказать «нет»? (*фр.*)

По пяти рублей она получала нередко. Окошечком я пользовался тогда, когда у Маруси бывали гости. Все шло без помех, но однажды случилось глупое происшествие.

Я стоял на лестнице. Электричества Маруся, к счастью, не погасила. Гость был в этот раз приятный, непритязательный и веселый малый с безобидными этакими и длинными усами. Раздевался он хозяйственно: снимет воротник, взглянет в зеркало, найдет у себя под усами прыщик, рассмотрит его и выдавит платочком. Снимет ботинку и тоже исследует — нет ли в подошве изъяну.

Они поцеловались, разделись и выкурили по папироске. Я собирался слезать. В это мгновенье я почувствовал, что лестница скользит и колеблется подо мной. Я цепляюсь за окошко и вышибаю форточку. Лестница падает с грохотом. Я вишу под потолком. Во всей квартире гремит тревога. Сбегаются — Фанни Осиповна, Тамара и неведомый мне чиновник в форме министерства финансов. Меня снимают. Положение мое жалкое. В ванную входят Маруся и долговязый гость. Девушка всматривается в меня, цепенеет и говорит тихо:

— Мерзавец, ах, какой мерзавец...

Она замолкает, обводит всех нас бессмысленным взглядом, подходит к долговязому, целует отчего-то его руку и плачет. Плачет и говорит, целуя:

— Милый, боже мой, милый...

Долговязый стоит дурак дураком. У меня непреодолимо бьется сердце. Я царапаю себе ладони и ухожу к Фанни Осиповне.

Через несколько минут Маруся знает все. Все известно и все забыто. Но я думаю: отчего девушка целовала долговязого?

— Мадам Кебчик, — говорю я, — приставьте лестницу в последний раз. Я дам десять рублей.

— Вы слетели с ума, как ваша лестница, — отвечает хозяйка и соглашается.

И вот я снова стою у отдушины, заглядываю снова и вижу — Маруся обвила гостя тонкими руками, она целует его медленными поцелуями, и из глаз у нее текут слезы.

— Милый мой, — шепчет она, — боже мой, милый мой, — и отдается со страстью возлюбленной. И лицо у нее такое, как будто один есть у нее в мире защитник — долговязый.

И долговязый деловито блаженствует.

ШАБОС-НАХАМУ

Было утро, был вечер — день пятый. Было утро, наступил вечер — день шестой. В шестой день — в пятницу вечером — нужно помолиться; помолившись — в праздничном капоре пройтись по местечку и к ужину поспеть домой. Дома еврей выпивает рюмку водки, — ни бог, ни Талмуд не запрещают ему выпить две, — съедает фаршированную рыбу и кугель с изюмом. После ужина ему становится весело. Он рассказывает жене истории, потом спит, закрыв один глаз и открыв рот. Он спит, а Гапка в кухне слышит музыку — как

будто из местечка пришел слепой скрипач, стоит под окном и играет.

Так водится у каждого еврея. Но каждый еврей — это не Гершеле. Недаром слава о нем прошла по всему Острополю, по всему Бердичеву, по всему Вилюйску.

Из шести пятниц Гершеле праздновал одну. В остальные вечера — он с семьей сидели во тьме и в холоде. Дети плакали. Жена швыряла укоры. Каждый из них был тяжел, как булыжник. Гершеле отвечал стихами.

Однажды — рассказывают такой случай — Гершеле захотел быть предусмотрительным. В среду он отправился на ярмарку, чтобы к пятнице заработать денег. Где есть ярмарка — там есть пан. Где есть пан — там вертятся десять евреев. У десяти евреев не заработаешь трех грошей. Все слушали шуточки Гершеле, но никого не оказывалось дома, когда дело подходило к расчету.

С желудком пустым, как духовой инструмент, Гершеле поплелся домой.

— Что ты заработал? — спросила у него жена.

— Я заработал загробную жизнь, — ответил он. — И богатый и бедный обещали мне ее.

У жены Гершеле было только десять пальцев. Она поочередно загибала каждый из них. Голос ее гремел, как гром в горах.

— У каждой жены — муж как муж. Мой же только и умеет, что кормить жену словечками. Дай бог, чтобы к Новому году у него отнялся язык, и руки, и ноги.

— Аминь, — ответил Гершеле.

— В каждом окне горят свечи, как будто дубы зажгли в домах. У меня же свечи тонки, как спички, и дыму от них столько, что он рвется к небесам. У всех уже поспел белый хлеб, а мне муж принес дров мокрых, как только что вымытая коса...

Гершеле не обмолвился ни единым словом в ответ. Зачем подбрасывать поленьев в огонь, когда он и без того горит ярко? Это первое. И что можно ответить сварливой жене, когда она права? Это второе.

Пришло время, жена устала кричать. Гершеле отошел, лег на кровать и задумался.

— Не поехать ли мне к рабби Борухл? — спросил он себя.

(Всем известно, что рабби Борухл страдал черной меланхолией и для него не было лекарства лучшего, чем слова Гершеле.)

— Не поехать ли мне к рабби Борухл? Служки цадика дают мне кости, а себе берут мясо. Это правда. Мясо лучше костей, кости лучше воздуха. Поедем к рабби Борухл.

Гершеле встал и пошел запрягать лошадь. Она взглянула на него строго и грустно.

«Хорошо, Гершеле, — сказали ее глаза, — ты вчера не дал мне овса, позавчера не дал мне овса, и сегодня я ничего не получила. Если ты и завтра не дашь мне овса, то я должна буду задуматься о своей жизни».

Гершеле не выдержал внимательного взгляда, опустил глаза и погладил мягкие лошадиные губы. Потом он вздохнул так шумно, что лошадь все поняла, и решил: «Я пойду пешком к рабби Борухл».

Когда Гершеле отправился в путь — солнце высоко стояло на небе. Горячая дорога убегала вперед. Белые волы медленно тащили повозки с душистым сеном. Мужики, свесив ноги, сидели на высоких возах и помахивали длинными кнутами. Небо было синее, а кнуты черные.

Пройдя часть дороги — верст пять, — Гершеле приблизился к лесу. Солнце уже уходило со своего места. На небе разгорались нежные пожары. Босые девочки гнали с пастбища коров. У каждой из коров раскачивалось наполненное молоком розовое вымя.

В лесу Гершеле встретила прохлада, тихий сумрак. Зеленые листы склонялись друг к другу, гладили друг друга плоскими руками и, тихонько пошептавшись в вышине, возвращались к себе, шелестя и вздрагивая.

Гершеле не внимал их шепоту. В желудке его играл оркестр такой большой, как на балу у графа Потоцкого. Путь ему лежал далекий. С боков земли спешила легкая тьма, смыкалась над головою Гершеле и развевалась по земле. Недвижимые фонари зажглись на небе. Земля замолчала.

Настала ночь, когда Гершеле подошел к корчме. В маленьком окошке светился огонек. У окошка в теплой комнате сидела хозяйка Зельда и шила пеленки. Живот ее был столь велик, точно она собиралась родить тройку. Гершеле взглянул на ее маленькое красное личико с голубыми глазами и поздоровался.

— Можно у вас отдохнуть, хозяйка?

— Можно.

Гершеле сел. Ноздри его раздувались, как кузнечные мехи. Жаркий огонь сверкал в печи. В большом котле кипела

вода, обдавая пеной белоснежные вареники. В золотистом супе покачивалась жирная курица. Из духовой несся запах пирога с изюмом.

Гершеле сидел на лавке, скорчившись, как роженица перед родами. В одну минуту в его голове рождалось больше планов, чем у царя Соломона насчитывалось жен.

В комнате было тихо, кипела вода, и качалась на золотистых волнах курица.

— Где ваш муж, хозяйка? — спросил Гершеле.

— Муж уехал к пану платить деньги за аренду. — Хозяйка замолчала. Детские ее глаза выпучились. Она сказала вдруг: — Я вот сижу здесь у окна и думаю. И я хочу вам задать вопрос, господин еврей. Вы, наверное, много странствуете по свету, учились у ребе и знаете про нашу жизнь. Я ни у кого не училась. Скажите, господин еврей, скоро ли придет к нам шабос-нахаму?

«Эге, — подумал Гершеле. — Вопросец хорош. Всякая картошка растет на божьем огороде...»

— Я вас спрашиваю потому, что муж обещал мне — когда придет шабос-нахаму, мы поедем к мамаше в гости. И платье я тебе куплю, и парик новый, и к рабби Моталэми поедем просить, чтобы у нас родился сын, а не дочь, — все это тогда, когда придет шабос-нахаму. Я думаю — это человек с того света?

— Вы не ошиблись, хозяйка, — ответил Гершеле. — Сам бог положил эти слова на ваши губы... У вас будет и сын и дочь. Это я и есть шабос-нахаму, хозяйка.

Пеленки сползли с колен Зельды. Она поднялась, и маленькая ее головка стукнулась о перекладину, потому что Зельда была высока и жирна, красна и молода. Высокая грудь ее походила на два тугих мешочка, набитых зерном. Голубые глаза ее раскрылись, как у ребенка.

— Это я и есть шабос-нахаму, — подтвердил Гершеле. — Я иду уже второй месяц, хозяйка, иду помогать людям. Это длинный путь — с неба на землю. Сапоги мои изорвались. Я привез вам поклон от всех ваших.

— И от тети Песи, — закричала женщина, — и от папаши, и от тети Голды, вы знаете их?

— Кто их не знает? — ответил Гершеле. — Я говорил с ними так, как говорю теперь с вами.

— Как они живут там? — спросила хозяйка, складывая дрожащие пальцы на животе.

— Плохо живут, — уныло промолвил Гершеле. — Как может житься мертвому человеку? Балов там не задают...

Хозяйкины глаза наполнились слезами.

— Холодно там, — продолжал Гершеле, — холодно и голодно. Они же едят, как ангелы. Никто на том свете не имеет права кушать больше, чем ангелы. Что ангелу надо? Он хватит глоток воды, ему довольно. Рюмочку водки вы там за сто лет не увидите ни разу...

— Бедный папаша... — прошептала пораженная хозяйка.

— На пасху он возьмет себе одну латку. Блин ему хватает на сутки...

— Бедная тетя Песя, — задрожала хозяйка.

— Я сам голодный хожу, — склонив набок голову, промолвил Гершеле, и слеза покатилась по его носу и пропала в бороде. — Мне ведь ни слова нельзя сказать, я считаюсь там из их компании...

Гершеле не докончил своих слов.

Топоча толстыми ногами, хозяйка стремительно несла к нему тарелки, миски, стаканы, бутылки. Гершеле начал есть, и тогда женщина поняла, что он действительно человек с того света.

Для начала Гершеле съел политую прозрачным салом рубленую печенку с мелко порубленным луком. Потом он выпил рюмку панской водки (в водке этой плавали апельсиновые корки). Потом он ел рыбу, смешав ароматную уху с мягким картофелем и вылив на край тарелки полбанки красного хрена, такого хрена, что от него заплакали бы пять панов с чубами и кунтушами.

После рыбы Гершеле отдал должное курице и хлебал горячий суп с плававшими в нем капельками жира. Вареники, купавшиеся в расплавленном масле, прыгали в рот Гершеле, как заяц прыгает от охотника. Не надо ничего говорить о том, что случилось с пирогом, что могло с ним случиться, если, бывало, по целому году Гершеле в глаза пирога не видел?..

После ужина хозяйка собрала вещи, которые она через Гершеле решила послать на тот свет, — папаше, тете Голде и тете Песе. Отцу она положила новый талес, бутыль вишневой настойки, банку малинового варенья и кисет табаку. Для тети Песи были приготовлены теплые серые чулки. К тете Голде поехали старый парик, большой гребень и молит-

венник. Кроме этого, она снабдила Гершеле сапогами, караваем хлеба, шкварками и серебряной монетой.

— Кланяйтесь, господин шабос-нахаму, кланяйтесь всем, — напутствовала она Гершеле, уносившего с собой тяжелый узел. — Или погодите немного, скоро муж придет.

— Нет, — ответил Гершеле. — Надо спешить. Неужели вы думаете, что вы у меня одна?

В темном лесу спали деревья, спали птицы, спали зеленые листы. Побледневшие звезды, сторожащие нас, задремали на небе.

Отойдя с версту, запыхавшийся Гершеле остановился, скинул узел со спины, сел на него и стал рассуждать сам с собою.

— Ты должен знать, Гершеле, — сказал он себе, — что на земле живет много дураков. Хозяйка корчмы была дура. Муж ее, может быть, умный человек, с большими кулаками, толстыми щеками — и длинным кнутом. Если он приедет домой и нагонит тебя в лесу, то...

Гершеле не стал затруднять себя приисканием ответа. Он тотчас же закопал узел в землю и сделал знак, чтобы легко найти заветное место.

Потом он побежал в другую сторону леса, разделся догола, обнял ствол дерева и принялся ждать. Ожидание длилось недолго. На рассвете Гершеле услышал хлопанье кнута, причмокивание губ и топот копыт. Это ехал корчмарь, пустившийся в погоню за господином шабос-нахаму.

Поравнявшись с голым Гершеле, обнявшим дерево, корчмарь остановил лошадь, и лицо его сделалось таким же глупым, как у монаха, повстречавшегося с дьяволом.

— Что вы делаете здесь? — спросил он прерывистым голосом.

— Я человек с того света, — ответил Гершеле уныло. — Меня ограбили, забрали важные бумаги, которые я везу к рабби Борухл...

— Я знаю, кто вас ограбил, — завопил корчмарь. — И у меня счеты с ним. Какой дорогой он убежал?

— Я не могу сказать, какой дорогой, — горько прошептал Гершеле. — Если хотите, дайте мне вашу лошадь, я догоню его в мгновенье. А вы подождите меня здесь. Разденьтесь, станьте у дерева, поддерживайте его, не отходя ни на шаг до моего приезда. Дерево это — священное, много вещей в нашем мире держится на нем...

Гершеле недолго нужно было всматриваться в человека, чтобы узнать, чем человек дышит. С первого взгляда он понял, что муж недалеко ушел от жены.

И вправду, корчмарь разделся, встал у дерева. Гершеле сел на повозку и поскакал. Он откопал свои вещи, взвалил их на телегу и довез до опушки леса.

Там Гершеле снова взвалил узел на плечи и, бросив лошадь, зашагал по дороге, которая вела прямо к дому святого рабби Борухл.

Было уже утро. Птицы пели, закрыв глаза. Лошадь корчмаря, понурясь, повезла пустую телегу к тому месту, где она оставила своего хозяина.

Он ждал ее, прижавшись к дереву, голый под лучами восходившего солнца. Корчмарю было холодно. Он переминался с ноги на ногу.

НА СТАНЦИИ

(набросок с натуры)

Было это года два тому назад на забытой Богом станции, неподалеку от Пензы.

В уголку вокзала собралась компания. Подошел и я. Оказалось — провожают солдата на войну.

Кто-то, пьяный, подняв голову к небу, играл на гармонии. Икающий парень — мастеровой по виду, — трясясь худым телом, простирал к играющему руки и шептал:

— Рассусаливай, Вань...

Потом он отходил и, поворачиваясь спиной к людям — сосредоточенно капал одеколону в грязный стакан с ханжой.

Бутылка с мутной жидкостью ходила по рукам. Все перепились. Отец солдата сидел на полу в сторонке — бледный и молчаливый. Брата отъезжавшего все время рвало. Он свалился, ткнулся лицом в свою блевотину, и так и заснул.

Подошел поезд. Стали прощаться. Отец солдата все не хотел вставать — ни глаз раскрыть, ни встать.

— Вставай, Семеныч, — сказал мастеровой. — Благослови сына.

Старик не ответил. Принялись тормошить. Пуговка на меховой шапке болталась. Подошел жандарм.

— Хамло, — промолвил он, — человек мертвый, а они тормошат.

Оказалось — правда, заснул и помер. Солдат растерянно оглядывался. Гармошка дрожала в его руках и от сотрясения поигрывала.

— Ишь ты, — сказал он, — ишь — ты...

И добавил, протягивая гармонию:

— Гармонь Петьке.

На перрон вышел начальник станции.

— Гулянки... — пробормотал он, — нашли где собираться... Прохор, сукин ты сын, давай второй...

Большим железным ключом от станционной уборной жандарм два раза ударил в колокол (язык колокола давно вырвали).

— Ты бы с отцом простился, — сказали солдату, — стоишь дурак дураком.

Солдат нагнулся, поцеловал отцовскую мертвую руку, перекрестился и тупо пошел к вагону. А брат его — тот все спал в своей блевотине.

Старика увезли. Народ стал расходиться.

— Вот те и трезвость, — сказал стоявший подле меня старичок-купец, — мрут, как мухи, сукины дети...

— Ну, брат, трезвость, шалишь... — твердо выговорил подошедший бородатый мужик. — Народ наш — народ пьющий. Глаз надобен ему мутный...

— Чего? — недослышал купец.

— Погляди, — ответил мужик и рукой указал на поле — черное и бесконечное.

— Ну?

— Ничего — ну. Муть видишь? Вот и глаз народу надобен — мутный.

НА ПОЛЕ ЧЕСТИ

Печатаемые здесь рассказы — начало моих заметок о войне. Содержание их заимствовано из книг, написанных французскими солдатами и офицерами, участниками боев. В некоторых отрывках изменена фабула и форма изложения, в других я старался ближе держаться к оригиналу.

На поле чести

Германские батареи бомбардировали деревни из тяжелых орудий. Крестьяне бежали к Парижу. Они тащили за собой калек, уродцев, рожениц, овец, собак, утварь. Небо, блиставшее синевой и зноем, медлительно багровело, распухало и обволакивалось дымом.

Сектор у N занимал 37 пехотный полк. Потери были огромны. Полк готовился к контратаке. Капитан Ratin* обходил траншеи. Солнце было в зените. Из соседнего участка сообщили, что в 4 роте пали все офицеры. 4 рота продолжает сопротивление.

В 300 метрах от траншеи Ratin увидел человеческую фигуру. Это был солдат Виду, дурачок Виду. Он сидел скорчившись на дне сырой ямы. Здесь когда-то разорвался снаряд. Солдат занимался тем, чем утешаются дрянные старикашки в деревнях и порочные мальчишки в общественных уборных. Не будем говорить об этом.

---

* Ратэн (*фр.*).

— Застегнись, Виду, — с омерзением сказал капитан. — Почему ты здесь?

— Я... я не могу этого сказать вам... Я боюсь, капитан!..

— Ты нашел здесь жену, свинья! Ты осмелился сказать мне в лицо, что ты трус, Виду. Ты оставил товарищей в тот час, когда полк атакует. Bien, mon cochon*.

— Клянусь вам, капитан!.. Я все испробовал... Виду, сказал я себе, будь рассудителен... Я выпил бутыль чистого спирту для храбрости. Je ne peux pas, capitaine**. Я боюсь, капитан!..

Дурачок положил голову на колени, обнял ее двумя руками и заплакал. Потом он взглянул на капитана, и в щелках его свиных глазок отразилась робкая и нежная надежда.

Ratin был вспыльчив. Он потерял двух братьев на войне, и у него не зажила рана на шее. На солдата обрушилась кощунственная брань, в него полетел сухой град тех отвратительных, яростных и бессмысленных слов, от которых кровь стучит в висках, после которых один человек убивает другого.

Вместо ответа Виду тихонько покачивал своей круглой рыжей лохматой головой, твердой головой деревенского идиота.

Никакими силами нельзя было заставить его подняться. Тогда капитан подошел к самому краю ямы и прошипел совершенно тихо:

— Встань, Виду, или я оболью тебя с головы до ног.

---

* Хорошо, мой поросенок (*фр.*).

** Я не могу, капитан (*фр.*).

Он сделал, как сказал. С капитаном Ratin шутки были плохи. Зловонная струя с силой брызнула в лицо солдата. Виду был дурак, деревенский дурак, но он не перенес обиды. Он закричал нечеловеческим и протяжным криком; этот тоскливый, одинокий, затерявшийся вопль прошел по взбороненным полям; солдат рванулся, заломил руки и бросился бежать полем к немецким траншеям. Неприятельская пуля пробила ему грудь. Ratin двумя выстрелами прикончил его из револьвера. Тело солдата даже не дернулось. Оно осталось на полдороге, между вражескими линиями.

Так умер Селестин Виду, нормандский крестьянин, родом из Ори, 21 года — на обагренных кровью полях Франции.

То, что я рассказал здесь, — правда. Об этом написано в книге капитана Гастона Видаля «Figures et anecdotes de la grand Guerre»*. Он был этому свидетелем. Он тоже защищал Францию, капитан Видаль.

Дезертир

Капитан Жемье был превосходнейший человек, к тому же философ. На поле битвы он не знал колебаний, в частной жизни умел прощать маленькие обиды. Это немало для человека — прощать маленькие обиды. Он любил Францию с нежностью, пожиравшей его сердце, поэтому ненависть его к варварам, осквернившим древнюю ее землю, была неугасима, беспощадна, длительна, как жизнь.

---

* «Персонажи и анекдоты Великой Войны» (*фр.*).

Что еще сказать о Жемье? Он любил свою жену, сделал добрыми гражданами своих детей, был французом, патриотом, книжником, парижанином и любителем красивых вещей.

И вот — в одно весеннее сияющее розовое утро капитану Жемье доложили, что между французскими и неприятельскими линиями задержан безоружный солдат. Намерение дезертировать было очевидно, вина несомненна, солдата доставили под стражей.

— Это ты, Божи?

— Это я, капитан, — отдавая честь, ответил солдат.

— Ты воспользовался зарей, чтоб подышать чистым воздухом?

Молчание.

— C'est bien*. Оставьте нас.

Конвой удалился. Жемье запер дверь на ключ. Солдату было двадцать лет.

— Ты знаешь, что тебя ожидает? Voyons**, объяснись.

Божи ничего не скрыл. Он сказал, что устал от войны.

— Я очень устал от войны, mon capitaine!*** Снаряды мешают спать шестую ночь…

Война ему отвратительна. Он не шел предавать, он шел сдаться.

Вообще говоря, он был неожиданно красноречив, этот маленький Божи. Он сказал, что ему всего двадцать лет, mon

---

* Хорошо (*фр.*).

** Посмотрим (*фр.*).

*** Капитан (*фр.*).

Dieu, c'est naturel*, в двадцать лет можно совершить ошибку. У него есть мать, невеста, des bons amis**. Перед ним вся жизнь, перед этим двадцатилетним Божи, и он загладит свою вину перед Францией.

— Капитан, что скажет моя мать, когда узнает, что меня расстреляли, как последнего негодяя?

Солдат упал на колени.

— Ты не разжалобишь меня, Божи! — ответил капитан. — Тебя видели солдаты. Пять таких солдат, как ты, и рота отравлена. C'est la defaite. Cela jamais***. Ты умрешь, Божи, но я спасаю тебя в твою последнюю минуту. В мэрии не будет известно о твоем позоре. Матери сообщат, что ты пал на поле чести. Идем.

Солдат последовал за начальником. Когда они достигли леса, капитан остановился, вынул револьвер и протянул его Божи.

— Вот способ избегнуть суда. Застрелись, Божи! Я вернусь через пять минут. Все должно быть кончено.

Жемье удалился. Ни единый звук не нарушил тишину леса. Офицер вернулся. Божи ждал его сгорбившись.

— Я не могу, капитан, — прошептал солдат. — У меня не хватает силы...

И началась та же канитель — мать, невеста, друзья, впереди жизнь...

---

* Мой бог, это естественно (*фр.*).

** Хорошие друзья (*фр.*).

*** Поражение. Ну никогда (*фр.*).

— Я даю тебе еще пять минут, Божи! Не заставляй меня гулять без дела.

Когда капитан вернулся, солдат всхлипывал, лежа на земле. Пальцы его, лежавшие на револьвере, слабо шевелились.

Тогда Жемье поднял солдата и сказал, глядя ему в глаза, тихим и душевным голосом:

— Друг мой, Божи, может быть, ты не знаешь, как это делается?

Не торопясь, он вынул револьвер из мокрых рук юноши, отошел на три шага и прострелил ему череп.

* * *

И об этом происшествии рассказано в книге Гастона Видаля. И действительно, солдата звали Божи. Правильно ли данное мною капитану имя Жемье — этого я точно не знаю. Рассказ Видаля посвящен некоему Фирмену Жемье в знак глубокого благоговения. Я думаю, посвящения достаточно. Конечно, капитана звали Жемье. И потом, Видаль свидетельствует, что капитан действительно был патриот, солдат, добрый отец и человек, умевший прощать маленькие обиды. А это немало для человека — прощать маленькие обиды.

Семейство папаши Мареско

Мы занимаем деревню, отбитую у неприятеля. Это маленькое пикардийское селеньице — прелестное и скромное. Нашей роте досталось кладбище. Вокруг нас сломанные распятия, куски надгробных памятников, плиты, разворочен-

ные молотом неведомого осквернителя. Истлевшие трупы вываливаются из гробов, разбитых снарядами. Картина достойна тебя, Микельанджело!

Солдату не до мистики. Поле черепов превращено в траншеи. На то война. Мы живы еще. Если нам суждено увеличить население этого прохладного уголка, что ж — мы сначала заставили гниющих стариков поплясать под марш наших пулеметов.

Снаряд приподнял одну из надгробных плит. Это сделано для того, чтобы предложить мне убежище, никакого сомнения. Я водворился в этой дыре, que voulez-vous, on loge, où on peut*.

И вот — весеннее, светлое ясное утро. Я лежу на покойниках, смотрю на жирную траву, думаю о Гамлете. Он был неплохой философ, этот бедный принц. Черепа отвечали ему человеческими словами. В наше время это искусство пригодилось бы лейтенанту французской армии.

Меня окликает капрал:

— Лейтенант, вас хочет видеть какой-то штатский.

Какого дьявола ищет штатский в этой преисподне?

Персонаж делает свой выход. Поношенное, выцветшее существо. Оно облачено в воскресный сюртук. Сюртук забрызган грязью. За робкими плечами болтается мешок, на половину пустой. В нем, должно быть, мороженый картофель; каждый раз, когда старик делает движение, что-то трещит в мешке.

---

* Что вы хотите, живут где могут (*фр.*).

— Eh bien[*], в чем дело?

— Моя фамилия, видите ли, монсье Мареско, — шепчет штатский и кланяется. — Потому я и пришел...

— Дальше?

— Я хотел бы похоронить мадам Мареско и все семейство, господин лейтенант!

— Как вы сказали?

— Моя фамилия, видите ли — папаша Мареско. — Старик приподнимает шляпу над серым лбом! — Может быть, слышали, господин лейтенант!

Папаша Мареско? Я слышал эти слова. Конечно, я их слышал. Вот она — вся история. Дня три тому назад, в начале нашей оккупации, всем мирным гражданам был отдан приказ эвакуироваться. Одни ушли, другие остались; оставшиеся засели в погребах. Бомбардировка победила мужество, защита камня оказалась ненадежной. Появились убитые. Целое семейство задохлось под развалинами подземелья. И это было семейство Мареско. Их фамилия осталась у меня в памяти — настоящая французская фамилия. Их было четверо — отец, мать и две дочери. Только отец спасся.

— Мой бедный друг, так это вы, Мареско? Все это очень грустно. Зачем вам понадобился это несчастный погреб, к чему?

Меня перебил капрал.

— Они, кажется, начинают, лейтенант...

Этого следовало ожидать. Немцы заметили движение в наших траншеях. Залп по правому флангу, потом левее. Я схватил

---

[*] Ну (*фр.*).

папашу Мареско за ворот и стащил его вниз. Мои молодцы, втянув головы в плечи, тихонько сидели под прикрытием, никто носу не высунул.

Воскресный сюртук бледнел и ежился. Недалеко от нас промяукала кошечка в 12 сантиметров.

— Что вам нужно, папаша, говорите живее. Вы видите, здесь кусаются.

— Mon lieutenant*, я все сказал вам, я хотел бы похоронить мое семейство.

— Отлично, я прикажу сходить за телами.

— Тела при мне, господин лейтенант!

— Что такое?

Он указал на мешок. В нем оказались скудные остатки семьи папаши Мареско. Я вздрогнул от ужаса.

— Хорошо, старина, я прикажу их похоронить.

Он посмотрел на меня, как на человека, выпалившего совершенную глупость.

— Когда стихнет этот проклятый шум, — начал я снова, — мы выроем им превосходную могилу. Все будет сделано, père Marescot**, будьте спокойны...

— Но у меня фамильный склеп...

— Отлично, укажите его нам.

— Но, но...

— Что такое — но?

— Но, mon lieutenant, мы в нем сидим все время.

---

* Лейтенант (*фр.*).

** Папаша Мареско (*фр.*).

Квакер

Заповедано — не убий. Вот почему Стон-квакер записался в колонну автомобилистов. Он помогал своему отечеству, не совершая страшного греха человекоубийства. Воспитание и богатство дозволяли ему занять более высокую должность, но, раб своей совести, он принимал со смирением невидную работу и общество людей, казавшихся ему грубыми.

Что был Стон? Лысый лоб у вершины палки. Господь даровал ему тело лишь для того, чтобы возвысить мысли над жалкими скорбями мира сего. Каждое его движение было не более как победа, одержанная духом над материей. У руля своего автомобиля, каковы бы ни были грозные обстоятельства, он держался с деревянной неподвижностью проповедника на кафедре. Никто не видел, как Стон смеется.

Однажды утром, будучи свободен от службы, он возымел мысль выйти на прогулку для того, чтобы преклониться перед Создателем в его творениях. С огромной Библией под мышкой Стон пересекал длинными своими ногами лужайки, возрожденные весной. Вид ясного неба, щебетание воробьев в траве — все заливало его радостью.

Стон сел, открыл свою Библию, но в ту минуту увидел у изгиба аллеи непривязанную лошадь, с торчащими от худобы боками. Тотчас же голос долга с силой заговорил в нем, — у себя на родине Стон был членом общества покровительства животным. Он приблизился к скотине, погладил ее мягкие губы и, забыв о прогулке, направился к конюшне.

По дороге, не выпуская из рук своей Библии с застежками, — он напоил лошадь у колодца.

Конюшенным мальчиком состоял некий юноша по фамилии Бэккер. Нрав этого молодого человека издавна составлял причину справедливого гнева Стона: Бэккер оставлял на каждом привале безутешных невест.

— Я бы мог, — сказал ему квакер, — объявить о вас майору, но надеюсь, что на этот раз и моих слов будет достаточно. Бедная, больная лошадь, которую я привел и за которой вы будете ухаживать, достойна лучшей участи, чем вы.

И он удалился размеренным, торжественным шагом, не обращая внимания на гоготание, раздававшееся позади него. Четырехугольный, выдвинутый вперед подбородок юноши с убедительностью свидетельствовал о непобедимом упорстве.

Прошло несколько дней. Лошадь все время бродила без призору. На этот раз Стон сказал Бэккеру с твердостью:

— Исчадие сатаны, — так приблизительно начиналась эта речь. — Всевышним позволено нам, может быть, погубить свою душу, но грехи ваши не должны всею тяжестью пасть на невинную лошадь. Поглядите на нее, негодяй. Она расхаживает здесь в величайшем беспокойстве. Я уверен, что вы грубо обращаетесь с ней, как и пристало преступнику. Еще раз повторяю вам, сын греха: идите к гибели с той поспешностью, какая вам покажется наилучшей, но заботьтесь об этой лошади, иначе вы будете иметь дело со мной.

С этого дня Стон счел себя облеченным Провидением особой миссией — заботой о судьбе обиженного четвероногого.

Люди, по грехам их, казались ему малодостойными уважения; к животным же он испытывал неописуемую жалость. Утомительные занятия не препятствовали ему держать нерушимым его обещание Богу.

Часто по ночам квакер выбирался из своего автомобиля — он спал в нем, скорчившись на сиденье — для того, чтобы убедиться, что лошадь находится в приличном отдалении от бэккеровского сапога, окованного гвоздями. В хорошую погоду он сам садился на своего любимца, и кляча, важно попрыгивая, рысцою носила по зеленеющим полям его тощее, длинное тело. С своим бесцветным желтым лицом, сжатыми бледными губами, Стон вызывал в памяти бессмертную и потешную фигуру рыцаря печального образа, трусящего на Росинанте среди цветов и возделанных полей.

Усердие Стона приносило плоды. Чувствуя себя под неусыпным наблюдением, грум всячески изловчался, чтобы не быть пойманным на месте преступления. Но наедине с лошадью он вымещал на ней ярость своей низкой души. Испытывая необъяснимый страх перед молчаливым квакером — он ненавидел Стона за этот страх и презирал себя. У него не было другого средства поднять себя в собственных глазах, как издеваться над лошадью, которой покровительствовал Стон. Такова презренная гордость человека. Запираясь с лошадью в конюшне, грум колол ее отвислые волосатые губы раскаленными иголками, сек ее проволочным кнутом по спине и сыпал ей соль в глаза. Когда измученное, ослепленное едким порошком животное, оставленное наконец в покое, боязливо пробиралось к стойлу, качаясь, как пьяный,

мальчишка ложился на живот и хохотал во все горло, наслаждаясь местью.

На фронте произошла перемена. Дивизия, к составу которой принадлежал Стон, была переведена на более опасное место. Религиозные его верования не разрешали ему убивать, но дозволяли быть убитым. Германцы наступали на Изер. Стон перевозил раненых. Вокруг него с поспешностью умирали люди разных стран. Старые генералы, чисто вымытые, с припухлостями на лице, стояли на холмиках и оглядывали окрестность в полевые бинокли. Гремела не переставая канонада. Земля издавала зловоние, солнце копалось в развороченных трупах.

Стон забыл свою лошадь. Через неделю совесть принялась за грызущую свою работу. Улучив время, квакер отправился на старое место. Он нашел лошадь в темном сарае, сбитом из дырявых досок. Животное еле держалось на ногах от слабости, глаза его были затянуты мутной пленкой. Лошадь слабо заржала, увидев своего верного друга, и положила ему на руки падавшую морду.

— Я ничем не виноват, — дерзко сказал Стону грум, — нам не выдают овса.

— Хорошо, — ответил Стон, — я добуду овес.

Он посмотрел на небо, сиявшее через дыру в потолке, и вышел.

Я встретил его через несколько часов и спросил — опасна ли дорога? Он казался более сосредоточенным, чем обыкновенно. Последние кровавые дни наложили на него тяжкую печать, он как будто носил траур по самом себе.

— Выехать было нетрудно, — глухо проговорил он, — в конце пути могут произойти неприятности. — И прибавил неожиданно: — Я выехал в фуражировку. Мне нужен овес.

На следующее утро солдаты, отправленные на поиски, нашли его убитым у руля автомобиля. Пуля пробила череп. Машина осталась во рву.

Так умер Стон-квакер из-за любви к лошади.

ИИСУСОВ ГРЕХ

Жила Арина при номерах на парадной лестнице, а Серега на черной — младшим дворником. Был промежду них стыд. Родила Арина Сереге на прощеное воскресенье двойню. Вода текет, звезда сияет, мужик ярится. Произошла Арина в другой раз в интересное положение, шестой месяц катится, они, бабьи месяцы, катючие. Сереге в солдаты иттить, вот и запятая. Арина возьми и скажи:

— Дожидаться тебя мне, Сергуня, нет расчета. Четыре года мы будем в разлуке, за четыре года мало-мало, а троих рожу. В номерах служить — подол заворотить. Кто прошел — тот господин, хучь еврей, хучь всякий. Придешь ты со службы — утроба у мине утомленная, женщина я буду сношенная, рази я до тебя досягну?

— Диствительно, — качнул головой Серега.

— Женихи при мне сейчас находятся: Трофимыч, подрядчик — большие грубияне, да Исай Абрамыч, старичок, Николо-Святской церкви староста, слабосильный мужчина, —

да мне сила ваша злодейская с души воротит, как на духу говорю, замордовали совсем… Рассыплюсь я от сего числа через три месяца, отнесу младенца в воспитательный и пойду за них замуж.

Серега это услыхал, снял с себя ремень, перетянул Арину, геройски по животу норовит.

— Ты, — говорит ему баба, — до брюха не очень клонись, твоя ведь начинка, не чужая…

Было тут бито-колочено, текли тут мужичьи слезы, текла тут бабья кровь, однако ни свету, ни выходу. Пришла тогда баба к Иисусу Христу и говорит:

— Так и так, господи Иисусе. — Я — баба Арина с номерей «Мадрид и Лувр», что на Тверской. В номерах служить — подол заворотить. Кто прошел — тот господин, хучь еврей, хучь всякий. Ходит тут по земле раб твой, младший дворник Серега. Родила я ему в прошлом годе на прощеное воскресенье двойню…

И все она господу расписала.

— А ежели Сереге в солдаты вовсе не пойтить? — возомнил тут спаситель.

— Околоточный небось потащит…

— Околоточный, — поник головою господь, — я об ем не подумал… Слышишь, а ежели тебе в чистоте пожить?..

— Четыре-то года? — ответила баба. — Тебя послушать — всем людям разживотиться надо, у тебя это давняя повадка, а приплод где возьмешь? Ты меня толком облегчи…

Навернулся тут на господни щеки румянец, задела его баба за живое, однако смолчал. В ухо себя не поцелуешь, это и богу ведомо.

— Вот что, раба божия, славная грешница дева Арина, — возвестил тут господь во славе своей, — шаландается у меня на небесах ангелок, Альфредом звать, совсем от рук отбился, все плачет: что это вы, господи, меня на двадцатом году жизни в ангелы произвели, когда я вполне бодрый юноша. Дам я тебе, угодница, Альфреда-ангела на четыре года в мужья. Он тебе и молитва, он тебе и защита, он тебе и хахаль. А родить от него не токмо что ребенка, а и утенка немыслимо, потому забавы в нем много, а серьезности нет...

— Это мне и надо, — взмолилась дева Арина, — я от их серьезности почитай три раза в два года помираю...

— Будет тебе сладостный отдых, дитя божие Арина, будет тебе легкая молитва, как песня. Аминь.

На том и порешили. Привели сюда Альфреда. Щуплый парнишка, нежный, за голубыми плечиками два крыла колышутся, играют розовым огнем, как голуби в небесах плещутся. Облапила его Арина, рыдает от умиления, от бабьей душевности.

— Альфредушко, утешеньишко мое, суженый ты мой…

Наказал ей, однако, господь, что как в постелю ложиться — ангелу крылья сымать надо, они у него на задвижках, вроде как дверные петли, сымать и в чистую простыню на ночь заворачивать, потому — при каком-нибудь метании крыло сломать можно, оно ведь из младенческих вздохов состоит, не более того.

Благословил сей союз господь в последний раз; призвал к этому делу архиерейский хор, весьма громогласное пение

оказали, закуски никакой, а ни-ни, не полагается, и побежала Арина с Альфредом обнявшись по шелковой лестничке вниз на землю. Достигли Петровки, — вон ведь куда баба метнула, — купила она Альфреду (он, между прочим, не то что без порток, а совсем натуральный был), купила она ему лаковые полсапожки, триковые брюки в клетку, егерскую фуфайку, жилетку из бархата электрик.

— Остальное, — говорит, — мы, дружочек, дома найдем...

В номерах Арина в тот день не служила, отпросилась. Пришел Серега скандалить, она к нему не вышла, а сказала из-за двери:

— Сергей Нифантьич, я себе сейчас ноги мою и прошу вас без скандалу удалиться...

Ни слова не сказал, ушел. Это уже ангельская сила начала себя оказывать.

А ужин Арина сготовила купецкий, — эх, чертовское в ней было самолюбие. Полштофа водки, вино особо, сельдь дунайская с картошкой, самовар чаю. Альфред как эту земную благодать вкусил, так его и сморило. Арина в момент крылышки ему с петель сняла, упаковала, самого в постелю снесла.

Лежит у нее на пуховой перине, на драной многогрешной постели белоснежное диво, неземное сияние от него исходит, лунные столбы вперемежку с красными ходят по комнате, на лучистых ногах качаются. И плачет Арина и радуется, поет и молится. Выпало тебе, Арина, неслыханное на этой побитой земле, благословенна ты в женах!

Полштофа до дна выпили. Оно и сказалось. Как заснули — она на Альфреда брюхом раскаленным, шестимесячным, Серегиным, возьми и навались. Мало ей с ангелом спать, мало ей того, что никто рядом на стенку не плюет, не храпит, не сопит, мало ей этого, ражей бабе, яростной, — так нет, еще бы пузо греть вспученное и горючее. И задавила она ангела божия, задавила спьяну да с угару, на радостях, задавила, как младенца недельного, под себя подмяла, и пришел ему смертный конец, и с крыльев, в простыню завороченных, бледные слезы закапали.

А пришел рассвет — деревья гнутся долу. В далеких лесах северных каждая елка попом сделалась, каждая елка преклонила колени.

Снова стоит баба перед престолом господним, широка в плечах, могуча, на красных руках ее юный труп лежит.

— Воззри, господи...

Тут Иисусово кроткое сердце не выдержало, проклял он в сердцах женщину:

— Как повелось на земле, так и с тобой поведется, Арина...

— Что ж, господи, — отвечает ему женщина неслышным голосом, — я ли свое тяжелое тело сделала, я ли водку курила, я ли бабью душу одинокую, глупую выдумала...

— Не желаю я с тобой возжаться, — восклицает господь Иисус, — задавила ты мне ангела, ах ты, паскуда...

И кинуло Арину гнойным ветром на землю, на Тверскую улицу, в присужденные ей номера «Мадрид и Лувр». А там

уж море по колено. Серега гуляет напоследях, как он есть новобранец. Подрядчик Трофимыч только что из Коломны приехал, увидел Арину, какая она здоровая да краснощекая.

— Ах ты, пузанок, — говорит, и тому подобное.

Исай Абрамыч, старичок, об этом пузанке прослышав, тоже гнусавит.

— Я, — говорит, — не могу с тобой закон иметь после происшедшего, однако тем же порядком полежать могу...

Ему бы в матери сырой земле лежать, а не то что как-нибудь иначе, однако и он в душу поплевал. Все точно с цепи сорвались — кухонные мальчишки, купцы и инородцы. Торговый человек — он играет.

И вот тут сказке конец.

Перед тем как родить, потому что время три месяца отчеканило, вышла Арина на черный двор за дворницкую, подняла свой ужасно громадный живот к шелковым небесам и промолвила бессмысленно:

— Вишь, господи, вот пузо. Барабанят по ем, ровно горох. И что это такое — не пойму. И опять этого, господи, не желаю...

Слезами омыл Иисус Арину в ответ, на колени стал спаситель.

— Прости меня, Аринушка, бога грешного, и что я это с тобой исделал...

— Нету тебе моего прощения, Иисус Христос, — отвечает ему Арина, — нету.

1922

СКАЗКА ПРО БАБУ

Жила-была баба, Ксенией звали. Грудь толстая, плечи круглые, глаза синие. Вот какая баба была. Кабы нам с вами!

Мужа на войне убили. Три года без мужа прожила, у богатых господ служила. Господа на день три раза горячее требовали. Дровами не топили никак, — углем. От углей жар невыносимый, в углях огненные розы тлеют.

Три года баба для господ готовила и честная была с мужчинами. А грудь-то пудовую куда денешь? Вот подите же!

На четвертый год к доктору пошла, говорит:

— В голове у меня тяжко: то огнем полыхает, а то слабну...

А доктор возьми да ответь:

— Нешто у вас на дворе мало парней бегает? Ах ты, баба...

— Не осмелиться мне, — плачет Ксения, — нежная я...

И верно, что нежная. Глаза у Ксении синие с горьковатою слезой.

Старуха Морозиха тут все дело спроворила.

Старуха Морозиха на всю улицу повитуха и знахарка была. Такие до бабьего чрева безжалостные. Им бы паровать, а там хоть трава не расти.

— Я, — грит, — тебя, Ксения, обеспечу. Суха земля потрескалась. Ей божий дождик надобен. В бабе грибок ходить должен, сырой, вонюченькой.

И привела. Валентин Иванович называется. Неказист, да затейлив — умел песни складывать. Тела никакого, волос

длинный, прыщи радугой переливаются. А Ксении бугай, что ли, нужен? Песни складывает и мужчина — лучше во всем мире не найти. Напекла баба блинов со сто, пирог с изюмом. На кровати у Ксении три перины положены, а подушек шесть, все пуховые, — катай, Валя!

Приспел вечер, сбилась компания в комнатенке за кухней, все по стопке выпили. Морозиха шелковый платочек надела, вот ведь какая почтенная. А Валентин бесподобные речи ведет:

— Ах, дружочек мой Ксения, заброшенный я на этом свете человек, замордованный я юноша. Не думайте обо мне как-нибудь легкомысленно. Придет ночь со звездами и с черными веерами, — разве выразишь душу в стихе? Ах, много во мне этой застенчивости...

Слово по слово. Выпили, конечно, водки две бутылки полных, а вина и все три. Много не говорить, а пять рублей на угощение пошло, — не шутка!

Валентин мой румянец получил прямо коричневый и стихи сказывает таково зычно.

Морозиха со стола тогда отодвинулась.

— Я, — говорит, — Ксеньюшка, отнесусь, господь со мной, — промеж вас любовь будет. Как, — говорит, — вы на лежанку ляжете, ты с него сапоги сними. Мужчины, — на них не настираешься...

А хмель-то играет. Валентин себя как за волосы цапнет, крутит их.

— У меня, — говорит, — виденья. Я как выпью — у меня виденья. Вот вижу я — ты, Ксения, мертвая, лицо у тебя

омерзительное. А я поп — за твоим гробом хожу и кадилом помахиваю.

И тут он, конечно, голос поднял.

Ну, не больше чем женщина, она-то. Само собой, она уже и кофточку невзначай расстегнула.

— Не кричите, Валентин Иванович, — шепчет баба, — не кричите, хозяева услышат...

Ну, рази остановишь, когда ему горько сделалось?

— Ты меня вполне обидела, — плачет Валентин и качается, — ах, люди-змеи, чего захотели, душу купить захотели... Я, — грит, — хоть и незаконнорожденный, да дворянский сын... видала, кухарка?

— Я вам ласку окажу, Валентин Иванович...

— Пусти.

Встал и дверь распахнул.

— Пусти. В мир пойду.

Ну, куда ему идти, когда он, голубь, пьяненькой. Упал на постелю, обрыгал, извините, простынки и заснул, раб божий.

А Морозиха уж тут.

— Толку не будет, — говорит, — вынесем.

Вынесли бабы Валентина на улицу и положили его в подворотне. Воротились, а хозяйка ждет уже в чепце и в богатейших кальсонах; кухарке своей замечание сделала.

— Ты по ночам мужчин принимаешь и безобразишь то же самое. Завтра утром получи вид и прочь из моего честного дома. У меня, говорит, дочь-девица в семье…

До синего рассвету плакала баба в сенцах, скулила:

— Бабушка Морозиха, ах, бабушка Морозиха, что ты со мной, с молодой бабой, исделала? Себя мне стыдно, и как я глаза на божий свет подыму, и что я в ем, в божьем свете, увижу?

Плачет баба, жалуется, среди изюмных пирогов сидючи, среди снежных пуховиков, божьих лампад и виноградного вина. И теплые плечи ее колышутся.

— Промашка, — отвечает ей Морозиха, — тут попроще был надобен, нам Митюху бы взять...

А утро завело уже свое хозяйство. Молочницы по домам уже ходят. Голубое утро с изморозью.

БАГРАТ-ОГЛЫ И ГЛАЗА ЕГО БЫКА

Я увидел у края дороги быка невиданной красоты.

Склонившись над ним, плакал мальчик.

— Это Баграт-Оглы, — сказал заклинатель змей, поедавший в стороне скудную трапезу. — Баграт-Оглы, сын Кязима.

Я сказал:

— Он прекрасен, как двенадцать лун.

Заклинатель змей сказал:

— Зеленый плащ пророка никогда не прикроет своевольной бороды Кязима. Он был сутяга, оставивший своему сыну нищую хижину, тучных жен и бычка, которому не было пары. Но Алла велик...

— Алла иль Алла, — сказал я.

— Алла велик, — повторил старик, отбрасывая от себя корзину со змеями. — Бык вырос и стал могущественнейшим быком Анатолии. Мемед-хан, сосед, заболевший завистью, оскопил его этой ночью. Никто не приведет больше к Баграт-Оглы коров, ждущих зачатия. Никто не заплатит Баграт-Оглы ста пиастров за любовь его быка. Он нищ — Баграт-Оглы. Он рыдает у края дороги.

Безмолвие гор простирало над нами лиловые знамена. Снега сияли на вершинах. Кровь стекала по ногам изувеченного быка и закипала в траве. И, услышав стон быка, я заглянул ему в глаза и увидел смерть быка и свою смерть и пал на землю в неизмеримых страданиях.

— Путник, — воскликнул тогда мальчик с лицом, розовым, как заря, — ты извиваешься, и пена клокочет в углах твоих губ. Черная болезнь вяжет тебя канатами своих судорог.

— Баграт-Оглы, — ответил я, изнемогая, — в глазах твоего быка я нашел отражение всегда бодрствующей злобы соседей наших Мемед-ханов. В их влажной глубине я нашел зеркала, в которых разгораются зеленые костры измены соседей наших Мемед-ханов. Мою юность, убитую бесплодно, увидел я в зрачках изувеченного быка и мою зрелость, пробивавшуюся сквозь колючие изгороди равнодушия. Пути Сирии, Аравии и Курдистана, измеренные мною трижды, нахожу я в глазах твоего быка, о, Баграт-Оглы, и их плоские пески не оставляют мне надежды. Ненависть всего мира вползает в отверстые глазницы твоего быка. Беги же от зло-

бы соседей наших Мемед-ханов, о, Баграт-Оглы, и пусть старый заклинатель змей взвалит на себя корзину с удавами и бежит с тобою рядом...

И, огласив ущелье стоном, я поднялся на ноги. Я ощутил аромат эвкалиптов и ушел прочь. Многоголовый рассвет взлетел над горами, как тысяча лебедей. Бухта Трапезунда блеснула вдали сталью своих вод. И я увидел море и желтые борты фелюг. Свежесть трав переливалась на развалинах византийской стены. Базары Трапезунда и ковры Трапезунда предстали предо мной. Молодой горец встретился мне у поворота в город. На вытянутой руке его сидел кобчик с закованной лапой. Походка горца была легка. Солнце всплывало над нашими головами. И внезапный покой сошел на мою душу скитальца.

ТЫ ПРОМОРГАЛ, КАПИТАН!

В Одесский порт пришел пароход «Галифакс». Он пришел из Лондона за русской пшеницей.

Двадцать седьмого января, в день похорон Ленина, цветная команда парохода — три китайца, два негра и один малаец — вызвала капитана на палубу. В городе гремели оркестры и мела метель.

— Капитан О'Нирн, — сказали негры, — сегодня нет погрузки, отпустите нас в город до вечера.

— Оставайтесь на местах, — ответил О'Нирн, — шторм имеет девять баллов, и он усиливается; возле Санжейки

замерз во льдах «Биконсфильд», барометр показывает то, чего ему лучше не показывать. В такую погоду команда должна быть на судне. Оставаться на местах.

И, сказав это, капитан О'Нирн отошел ко второму помощнику. Они пересмеивались со вторым помощником, курили сигары и показывали пальцами на город, где в неудержимом горе мела метель и завывали оркестры.

Два негра и три китайца слонялись без толку по палубе. Они дули в озябшие ладони, притопывали резиновыми сапогами и заглядывали в приотворенную дверь капитанской каюты. Оттуда тек в девятибалльный шторм бархат диванов, обогретый коньяком и тонким дымом.

— Боцман! — закричал О'Нирн, увидев матросов. — Палуба не бульвар, загоните-ка этих ребят в трюм.

— Есть, сэр, — ответил боцман, колонна из красного мяса, поросшая красным волосом, — есть, сэр, — и он взял за шиворот взъерошенного малайца. Он поставил его к борту, выходившему в открытое море, и выбросил на веревочную лестницу. Малаец скатился вниз и побежал по льду. Три китайца и два негра побежали за ним следом.

— Вы загнали людей в трюм? — спросил капитан из каюты, обогретой коньяком и тонким дымом.

— Я загнал их, сэр, — ответил боцман, колонна из красного мяса, и стал у трапа, как часовой в бурю.

Ветер дул с моря — девять баллов, как девять ядер, пущенных из промерзших батарей моря. Белый снег бесился над глыбами льдов. И по окаменелым волнам, не помня себя, летели к берегу, к причалам, пять скорчившихся запятых

с обуглившимися лицами и в развевающихся пиджаках. Обдирая руки, они вскарабкались на берег по обледенелым сваям, пробежали в порт и влетели в город, дрожавший на ветру.

Отряд грузчиков с черными знаменами шел на площадь, к месту закладки памятника Ленину. Два негра и китайцы пошли с грузчиками рядом. Они задыхались, жали чьи-то руки и ликовали ликованием убежавших каторжников.

В эту минуту в Москве, на Красной площади, опускали в склеп труп Ленина. У нас, в Одессе, выли гудки, мела метель и шли толпы, построившись в ряды. И только на пароходе «Галифакс» непроницаемый боцман стоял у трапа, как часовой в бурю. Под его двусмысленной защитой капитан О'Нирн пил коньяк в своей прокуренной каюте.

Он положился на боцмана, О'Нирн, и он проморгал — капитан.

1924

У БАТЬКИ НАШЕГО МАХНО

Шестеро махновцев изнасиловали минувшей ночью прислугу. Проведав об этом наутро, я решил узнать, как выглядит женщина после изнасилования, повторенного шесть раз. Я застал ее в кухне. Она стирала, наклонившись над лоханью. Это была толстуха с цветущими щеками. Только неспешное существование на плодоносной украинской земле

может налить еврейку такими коровьими соками, навести такой сальный глянец на ее лицо. Ноги девушки, жирные, кирпичные, раздутые, как шары, воняли приторно, как только что вырезанное мясо. И мне показалось, что от вчерашней ее девственности остались только щеки, воспламененные более обыкновенного, и глаза, устремленные книзу.

Кроме прислуги, в кухне сидел еще мальчонок Кикин, рассыльный штаба батьки нашего Махно. Он слыл в штабе дурачком, и ему ничего не стоило пройтись на голове в самую неподходящую минуту. Не раз случалось мне заставать его перед зеркалом. Выгнув ногу с продранной штаниной, он подмигивал самому себе, хлопал себя по голому мальчишескому пузу, пел боевые песни и корчил победоносные гримасы, от которых сам же помирал со смеху. В этом мальчике воображение работало с необыкновенной живостью. Сегодня я снова застал его за особенной работой — он наклеивал на германскую каску полосы золоченой бумаги.

— Ты скольких вчера отпустила, Рухля? — сказал он и, сощурив глаз, осмотрел свою разукрашенную каску.

Девушка молчала.

— Ты шестерых отпустила, — продолжал мальчик, — а есть которые бабы до двадцати человек могут отпустить. Братва наша одну хозяйку в Крапивном клепала, клепала, аж плюнули хлопцы, ну та толстее за тебя будет…

— Принеси воды, — сказала девушка.

Кикин принес со двора ведро воды. Шаркая босыми ногами, он прошел потом к зеркалу, нахлобучил на себя каску с золотыми лентами и внимательно осмотрел свое отражение.

Вид зеркала увлек его. Засунув пальцы в ноздри, мальчик жадно следил за тем, как изменяется под давлением изнутри форма его носа.

— Я с экспедицией уйду, — обернулся он к еврейке, — ты никому не сказывай, Рухля. Стеценко в эскадрон меня берет. Там по крайности обмундирование, в чести будешь, и товарищей найду бойцовских, не то что здесь, барахольная команда... Вчера, как тебя поймали, а я за голову держал, я Матвей Васильичу говорю, — что же, говорю, Матвей Васильич, вот уже четвертый переменяется, а я все держу да держу. Вы уже второй раз, Матвей Васильич, сходили, а когда я есть малолетний мальчик и не в вашей компании, так меня кажный может обижать... Ты, Рухля, сама небось слыхала евонные эти слова, — мы, говорит, Кикин, никак тебя не обидим, вот дневальные все пройдут, потом и ты сходишь... Так вот они меня и допустили, как же... Это когда они тебя уже в лесок тащили, Матвей Васильич мне и говорит, — сходи, Кикин, ежели желаешь. Нет, говорю, Матвей Васильич, не желаю я опосля Васьки ходить, всю жизнь плакаться...

Кикин сердито засопел и умолк. Он лег на пол и уставился вдаль, босой, длинный, опечаленный, с голым животом и сверкающей каской поверх соломенных волос.

— Вот народ рассказывает за махновцев, за их геройство, — произнес он угрюмо, — а мало-мало соли с ними поешь, так вот оно и видно, что каждый камень за пазухой держит...

Еврейка подняла от лохани свое налитое кровью лицо, мельком взглянула на мальчика и пошла из кухни тем трудным шагом, какой бывает у кавалериста, когда он после дол-

гого перехода ставит на землю затекшие ноги. Оставшись один, мальчик обвел кухню скучающим взглядом, вздохнул, уперся ладонями в пол, закинул ноги и, не шевеля торчащими пятками, быстро заходил на руках.

1923

СТАРАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Три махновца — Гнилошкуров и еще двое — условились с женщиной об любовных услугах. За два фунта сахару она согласилась принять троих, но на третьем не выдержала и закружилась по комнате. Женщина выбежала во двор и повстречалась во дворе с Махно. Он перетянул ее арапником и рассек верхнюю губу, досталось и Гнилошкурову.

Это случилось утром в девятом часу, потом прошел день в хлопотах, и вот ночь, и идет дождь, мелкий дождь, шепчущий, неодолимый. Он шуршит за стеной, передо мной в окне висит единственная звезда. Каменка потонула во мгле; живое гетто налито живой тьмой, и в нем идет неумолимая возня махновцев. Чей-то конь ржет тонко, как тоскующая женщина, за околицей скрипят бессонные тачанки, и канонада, затихая, укладывается спать на черной, на мокрой земле.

И только на далекой улице пылает окно атамана. Ликующим прожектором взрезывает оно нищету осенней ночи и трепещет, залитое дождем. Там, в штабе батьки, играет духовой оркестр в честь Антонины Васильевны, сестры милосердия, ночующей у Махно в первый раз. Меланхолические

густые трубы гудят все сильнее, и партизаны, сбившись под моим окном, слушают громовой напев старинных маршей. Их трое сидит под моим окном — Гнилошкуров с товарищами, потом Кикин подкатывается к ним, бесноватый казачонок. Он мечет ноги в воздух, становится на руки, поет и верещит и затихает с трудом, как после припадка.

— Овсяница, — шепчет вдруг Гнилошкуров, — Овсяница, — говорит он с тоской, — отчего этому быть возможно, когда она после меня двоих свезла и вполне благополучно... И тем более подпоясуюсь я, она мне такое закидает, пожилой, говорит, мерси за компанию, вы мне приятный... Анелей, говорит, звать меня, такое у меня имя — Анеля... И вот, Овсяница, я так раскладаю, что она с утра гадкой зелени наелась, она наелась, и тут Петька наскочил на наше горе...

— Тут Петька наскочил, — сказал пятнадцатилетний Кикин, усаживаясь, и закурил папиросу. — Мужчина, она Петьке говорит, будьте настолько любезны, у меня последняя сила уходит, и как вскочит, завинтилась винтом, а ребята руки расставили, не выпущают ее из дверей, а она сыпит и сыпит... — Кикин встал, засиял глазами и захохотал. — Бежит она, а в дверях батько... Стоп, говорит, вы, без сомнения, венерическая, на этом же месте вас порубаю, и как вытянет ее, и она, видать, хотит ему свое сказать.

— И то сказать, — вступает тут, перебивая Кикина, задумчивый и нежный голос Петьки Орлова, — и то сказать, что есть жады между людьми, есть безжалостные жады... Я сказывал ей — нас трое, Анеля, возьми себе подругу, поделись сахаром, она тебе подсобит... Нет, говорит, я на себя

надеюсь, что выдержу, мне троих детей прокормить, неужели я девица какая-нибудь...

— Старательная женщина, — уверил Петьку Гнилошкуров, все еще сидевший под моим окном, — старательная до последнего...

И он умолк. Я услышал снова шум воды. Дождь по-прежнему лепечет, и ноет, и стенает по крышам. Ветер подхватывает его и гнет набок. Торжественное гудение труб замолкает на дворе Махно. Свет в его комнате уменьшился наполовину. Тогда встал с лавочки Гнилошкуров и преломил своим телом мутное мерцание луны. Он зевнул, заворотил рубаху, почесал живот, необыкновенно белый, и пошел в сарай спать. Нежный голос Петьки Орлова поплыл за ним по следам.

— Был в Гуляй-Поле пришлый мужик Иван Голубь, — сказал Петька, — был тихий мужик, непьющий, веселый в работе, много на себя ставил и подорвался насмерть... Жалели его люди в Гуляй-Поле и всем селом за гробом пошли, чужой был, а пошли...

И подойдя к самой двери сарая, Петька забормотал об умершем Иване, он бормотал все тише, душевнее.

— Есть безжалостные между людей, — ответил ему Гнилошкуров, засыпая, — есть, это верное слово...

Гнилошкуров заснул, с ним еще двое, и только я остался у окна. Глаза мои испытывают безгласную тьму, зверь воспоминаний скребет меня, и сон нейдет.

...Она сидела с утра на главной улице и продавала ягоды. Махновцы платили ей отменными бумажками. У нее было пухлое, легкое тело блондинки. Гнилошкуров, выставив живот, грелся на лавочке. Он дремал, ждал, и женщина, спеша

расторговаться, устремляла на него синие глаза и покрывалась медленным, нежным румянцем.

— Анеля, — шепчу я ее имя, — Анеля...

КОНЕЦ СВ. ИПАТИЯ

Вчера я был в Ипатьевском монастыре, и монах Илларион, последний из обитающих здесь монахов, показывал мне дом бояр Романовых.

Московские люди пришли сюда в 1613 году просить на царство Михаила Федоровича.

Я увидел истоптанный угол, где молилась инокиня Марфа, мать царя, сумрачную ее опочивальню и вышку, откуда она смотрела гоньбу волков в костромских лесах.

Мы прошли с Илларионом по ветхим мостикам, заваленным сугробами, распугали ворон, угнездившихся в боярском терему, и вышли к церкви неописуемой красоты.

Обведенная венцом снегов, раскрашенная кармином и лазурью, она легла на задымленное небо севера, как пестрый бабий платок, расписанный русскими цветами.

Линии непышных ее куполов были целомудренны, голубые ее пристроечки были пузаты, и узорчатые переплеты окон блестели на солнце ненужным блеском.

В пустынной этой церкви я нашел железные ворота, подаренные Иваном Грозным, и обошел древние иконы, весь этот склеп и тлен безжалостной святыни.

Угодники — бесноватые нагие мужики с истлевшими бедрами — корчились на ободранных стенах, и рядом с ними

была написана российская богородица: худая баба, с раздвинутыми коленями и волочащимися грудями, похожими на две лишние зеленые руки.

Древние иконы окружили беспечное мое сердце холодом мертвенных своих страстей, и я едва спасся от них, от гробовых этих угодников.

Их бог лежал в церкви, закостеневший и начищенный, как мертвец, уже обмытый в своем дому, но оставленный без погребения.

Один отец Илларион бродил вокруг своих трупов. Он припадал на левую ногу, задремывал, чесал в грязной бороде и скоро надоел мне.

Тогда я распахнул врата Ивана Четвертого, пробежал под черными сводами на площадку, и там блеснула мне Волга, закованная во льды.

Дым Костромы поднимался кверху, пробивая снега; мужики, одетые в желтые нимбы стужи, возили муку на дровнях, и битюги их вбивали в лед железные копыта.

Рыжие битюги, обвешанные инеем и паром, шумно дышали на реке, розовые молнии севера летали в соснах, и толпы, неведомые толпы, ползли вверх по обледенелым склонам.

Зажигательный ветер дул на них с Волги, множество баб проваливалось в сугробы, но бабы шли все выше и стягивались к монастырю, как осаждающие колонны.

Женский хохот гремел над горой, самоварные трубы и лохани въезжали на подъем, мальчишеские коньки стенали на поворотах.

Старые старухи втаскивали ношу на высокую гору — на гору святого Ипатия, — младенцы спали в их салазках, и белые козы шли у старух на поводу.

— Черти, — закричал я, увидев их, и отступил перед неслыханным нашествием. — Не к инокине ли Марфе идете вы, чтобы просить на царство Михаила Романова, ее сына?

— Ну тебя к шуту! — ответила мне баба и выступила вперед. — Зачем играешь с нами на дороге? Нам детей, что ль, от тебя нести?

И, вложившись в сани, она вкатила их на монастырский двор и чуть не сбила с ног потерявшегося отца Иллариона. Она вкатила в колыбель царей московских свои лохани, своих гусей, свой граммофон без трубы и, назвавшись Савичевой, потребовала для себя квартиру № 19 в архиерейских покоях.

И, к удивлению моему, Савичевой дали эту квартиру и всем другим вслед за нею.

И мне объяснили тут, что союз текстильщиков отстроил в сгоревшем корпусе 40 квартир для рабочих Костромской объединенной льняной мануфактуры и что сегодня они переселяются в монастырь.

Отец Илларион, стоя в воротах, пересчитал всех коз и переселенцев; потом он позвал меня чай пить и в молчании поставил на стол чашки, украденные им во дворе при взятии в музей утвари бояр Романовых.

Мы пили чай из этих чашек до поту, бабьи босые ноги топтались перед нами на подоконниках: бабы мыли стекла на новых местах.

Потом дым повалил изо всех труб, точно сговорился, незнакомый петух взлетел на могилу игумена отца Сиония и загорланил, чья-то гармошка, протомившись в интродукциях, запела нежную песню, и чужая старушонка в зипуне, просунув голову в келью отца Иллариона, попросила у него взаймы щепотку соли ко щам.

Был уже вечер, когда к нам пришла старушонка; багровые облака пухли над Волгой, термометр на наружной стене показывал 40 градусов мороза, исполинские костры, изнемогая, метались на реке, — все же неунывающий какой-то парень упрямо лез по промерзшей лестнице к перекладине над воротами — лез затем, чтобы повесить там пустяковый фонарик и вывеску, на которой было изображено множество букв: СССР и РСФСР, и знак союза текстилей, и серп и молот, и женщина, стоящая у ткацкого станка, от которого идут лучи во все стороны.

1925

НА БИРЖУ ТРУДА!

<Глава IX из коллективного романа «Большие пожары»>

Куковеров приехал в Златогорск двадцать второго августа. Двадцать пятого, в восемь часов вечера, он стучался у ограды особняка Струка. Ограда эта, как известно, напоминала спле-

тение лиан в тропическом лесу или сцепившихся хвостами окаменевших загипнотизированных змей. При ближайшем рассмотрении она оказалась решеткой из деревянных прутьев, окрашенных серебристой краской. Куковеров со страхом ждал мгновения, когда стебли ограды — лианы и змеи — зашевелятся и раздвинутся. После этого, т. е. после того, как загипнотизированные змеи раздвинутся, в ограде должен, как известно, образоваться проход, или, вернее, аллея, заканчивающаяся автоматической дверью без всяких дверных ручек, но из орехового дерева. Дверь эта в свою очередь заканчивалась в пылком представлении Берлоги ущельем, облицованным никому не известным синим камнем с красными прожилками. Но вместо облицованного ущелья перед Куковеровым вырос затейливо расчесанный парень в бумазейной рубахе навыпуск и в больших скрипучих, казенного образца, сапогах. На протянутой руке парня болтался, как на штанге, пиджак. В другой руке он держал пузырек с бензином. Парень, очевидно, выводил бензином пятна на пиджаке. В этом не могло быть никакого сомнения.

— Что надо? — сказал парень.

— Гражданин, — торжественно произнес Куковеров, — сегодня в 6 ч. 9 минут я отправил мистеру Струку телеграмму-молнию. В этой молнии содержался вопрос — может ли мистер Струк принять меня в восемь часов?

— Они, кажись, в кухмистерскую выходили, — сказал парень, плюнул на пиджак и затер плевок тряпочкой, смоченной в бензине, — а может, и дома... Заскочите на лестницу, повернетесь вправо, потом возьметесь прямо, все прямо...

Дверь открылась, и Куковеров вступил в вестибюль. Здесь, как известно, высоко вверх уходила металлическая, сияющая медью, лестница.

— Голубчик, да ведь она сама едет... — сказал инженер со страхом.

Но парень вместо ответа с жадностью посмотрел на папиросу, которую закурил Куковеров.

— А не накажу ли я вас на одну папиросочку, гражданин, — пробормотал он и, получив папиросу, пустил дым изо рта, из ноздрей и вроде как бы из глаз...

— Еще третьего дня ездила, — сказал он, увенчиваясь дымом где-то возле ушей, — да вчерась сдохла... Полотер в нее упал, она и прикончилась... Теперь не ездит, да и хозяин приказывал, чтобы стояла. Пускай, говорит, самосильно стоит, я теперь, говорит, жене полотера обязан соцстрах платить, и союз меня по судам затаскает, я, говорит, в свои года взошел, мне обидно полотерке платить, меня, говорит, таким манером из денег враз вытрясут...

Парень оказался отменным словоохотливым курильщиком. Куковеров едва спасся от него, взбежал по лестнице, неутомимо сиявшей медными частями, пробежал коридор, уставленный разбитыми кадками из-под субтропических растений, и влетел в круглый зал, имевший, как известно, три сажени в поперечнике. Это был тот самый зал, в центре которого пенился некогда и прихотливо играл струями маленький фонтан. На этот раз он был безмолвен, не хуже любого фонтана, пережившего гражданскую войну. Неподалеку, за ломберным столиком, сидела морщинистая ста-

руха в пышном бархатном облачении. Морщины ее были запудрены лиловой пудрой, а волосы выкрашены фиолетовой краской.

— Могу ли я, сударыня, — с достоинством начал Куковеров, но старуха прервала его и с улыбкой, полной величия и покоя, протянула ему анкету, написанную по-французски.

— Сначала заполните анкету, — сказала она тоже по-французски, — цель прихода, подписку о неимении фотографического аппарата и о неразглашении тайны…

— Ко всем свиньям, — раздался тогда за спиной Куковерова мелкий, неразборчивый, обиженный тенорок, — вы опять крутите людям голову с этими анкетами?..

Инженер обернулся. Перед ним стоял бритый старик в хорошем костюме, с рыхлым животом и большим носом.

— Меня здесь черти хватают, — закричал старик с укоризной, собрал рот в горькие детские складки и едва не заплакал, — а вы торчите с Доннером целый месяц в Москве… Меня здесь черти хватают, — прокричал старик и опять едва не заплакал.

— Мистер Доннер задержался, — сказал озадаченный Куковеров и поклонился, — он все хлопочет в Главконцесскоме.

— Главконцесском, Главконцесском... — пробормотал Струк, прослезился и погрозил вдруг кулаком фиолетовой старухе. — К всем свиньям, княгиня, — прохрипел он плачущим своим тенором, — вы мне жизнь сократили, — и побежал в свою комнату. Он семенил большими, старыми своими ногами, и живот его вяло раскачивался на ходу, как флаг в безветренный день.

* * *

Три часа длилась беседа Куковерова с миллионером. Через три часа он вышел из кабинета — секретарем мистера Струка. Дело в том, что инженер привез с собою рекомендацию от Доннера, председателя русско-американской торговой палаты. За эти три часа Куковеров узнал, что Струк происходит из мещан г. Белостока, Гродненской губ., состояние свое нажил в Америке на военных поставках и получил в концессию пока только пуговичную фабрику в Москве. Что же касается Алтая, то он ничего об Алтае не знает и интересуется исключительно тракторным заводом в средней полосе Союза. Тракторы — это вам не пуговицы! Смеется советская власть над людьми или не смеется? Пуговицы — это вам не тракторы! Еще узнал Куковеров, что Бахметьев, бывший царский посол в Америке, составил несчастье жизни мистера Струка. Старик имел неосторожность перед отъездом в СССР рассказать Бахметьеву о своих планах. Бывший посол посоветовал ему взять в управляющие бывшего барона Менгдена, в секретарши — бывшую княгиню Абамелек-Лазареву и в архитекторы — бывшего военного инженера генерала Духовского. И вот бывший военный инженер, который, оказывается, был безработным с октября 1917 года по май 1925 года и за это время не видел в глаза монеты крупнее десяти рублей, получив на постройку двести пятьдесят тысяч рублей, быстро выстроил на эти деньги фонтан с загипнотизированными змеями и самодвижущуюся лестни-

цу, — что «меня черти хватают, когда я вижу этот особняк, я поседел от него»... Бывшая же княгиня Абамелек-Лазарева, почувствовав себя обладательницей ломберного столика и телефона, немедленно облачилась в старинный бархат, выкрасилась в лиловый и фиолетовый цвета и заказала анкеты на французском языке. Что же касается управителя, бывшего барона, то он с возложенными на него поручениями справился следующим образом: в качестве «личной секретарши» он привел к Струку из киностудии Дину Каменецкую. Девица эта, получив на первое обзаведение 25 червонцев, прозвала себя Элитой, купила туфли металлического цвета и шоферский костюм, вытравила себе персидской какой-то мазью волосы на всем теле за исключением головы, объявила себя невинной и стала убеждать старика в том, что ему следует терзаться высшим сладострастием — сладострастием неутоления... «В мои годы, в мои больные годы!» Внезапно Дина уехала в Армавир сниматься в драме-утопии, действие которой происходит в 2000 году в стране чудовищно индустриализованной. Таков был первый шаг бывшего барона, второй же его шаг был связан с пустяковой одной историей о пустяковой одной бумажке... В Америке такая бумажка стоит 25 рублей — и концы в воду, но бывший барон...— о горе, о горе!..

И поэтому — «my dear Куковеров, наймите мне людей на Бирже труда, людей, которые, начиная с октября 1917 года, ни одной минуты не были безработными, ни одной минуты»...

* * *

Восемь да три будет одиннадцать. Это скучно, конечно, что не двенадцать, но и число одиннадцать удовлетворяет совершенно. Поэтому ровно в одиннадцать Куковеров распрощался со Струком и быстро зашагал по направлению к гостинице. По дороге он вознамерился купить себе персиков в фруктовой лавке, потому что Златогорск, как известно, в осенние благодатные дни бывает полон густого тепла и персикового дыхания, фруктовые же его лавки завешаны всегда виноградом и дышат диким волнующим запахом овощей. Но, увы, в фруктовой лавке ничего, кроме сушеного чернослива, не оказалось. Ничего, ровно ничего.

НЕФТЬ

«...Новостей много, как всегда... Шабсовичу дали премию за крекинг, ходит весь в “заграничном”, начальство получило повышение. Узнав о назначении, все прозрели: парень вырос... По сему случаю встречаться с ним я перестала. “Выросши”, парень почувствовал, что знает истину, которая от нас, обыкновенных смертных, скрыта, и напустил на себя такую стопроцентность и ортодоксальность (ортобокс, как говорит Харченко), что никуда не сдвинешь... Увиделись мы дня два тому назад, он спросил, почему я не поздравляю. Я ответила: кого поздравлять — его или Советскую власть?.. Он понял, вильнул, сказал: “Звоните...” Об этом немедленно

пронюхала супруга. Вчера — звонок: “Клавдюша, мы теперь прикреплены к ГОРТ, если тебе нужно что из белья”... Я ответила, что надеюсь дожить до мировой революции со своей собственной книжкой...

Теперь — о себе. Да будет тебе известно — я управделами Нефтесиндиката. Намечалось давно, я отказывалась. Мои доводы — неспособность к канцелярской работе и затем желание поступить в Промакадемию... Вопрос четыре раза стоял на бюро, пришлось согласиться, теперь не раскаиваюсь... Отсюда ясная картина предприятия, кое-что удалось сделать, организовала экспедицию на нашу часть Сахалина, усилила разведку, много занимаюсь Нефтяным институтом. Зинаида при мне. Она здорова, скоро родит, перипетий было много... О беременности Зинаида сказала своему Максу Александровичу (я зову его Макс и Мориц) поздно, пошел четвертый месяц. Он изобразил восторг, запечатлел на Зинаидином лбу ледяной поцелуй и потом дал понять, что ему предстоит великое научное открытие, мысли его далеки от действительной жизни, нельзя себе вообразить что-нибудь более неприспособленное к семейной жизни, чем он, Макс Александрович Шоломович, но, конечно, он не задумается от всего отказаться и прочее, и прочее, прочее... Зинаида, будучи женщиной двадцатого столетия, заплакала, но характер выдержала... Ночью она не спала, задыхалась, вытягивала шею. Чуть свет, непричесанная, страшная, в старой юбке помчалась в Гипромез, наговорила ему, что она просит забыть вчерашнее, ребенка она уничтожит, но никогда этого людям не простит... Все это происходит в коридоре Гипро-

меза, в толкучке. Макс и Мориц краснеет, бледнеет, бормочет:

— Надо созвониться, встретиться...

Зинаида не дослушала, полетела ко мне и объявила:

— Завтра на работу не выйду!

Меня взорвало, сдерживаться не сочла нужным и левиты прочитала ей по-настоящему... Подумать только — девке четвертый десяток, красотой не блещет, хороший мужик на нее не высморкается, подвернулся этот Макс и Мориц (и то не на нее, а на чужую расу, на предков-аристократов полез), запопала от него штучку, держи, расти... Метисы от евреев очень хороши получаются, мы знаем — погляди, какой экземпляр у Ани, — да и когда рожать, если не теперь, когда мускулы живота еще действуют, когда можно еще плод этот выкормить?! На все один ответ: “Я не могу, чтобы у моего ребенка не было отца”, то есть девятнадцатое столетие продолжается, папаша-генерал выйдет из кабинета с иконой и проклянет (или без иконы — не знаю, как там проклинали), девки стащут младенца в воспитательный или на деревню к кормилке...

— Вздор, Зинаида, — говорю я ей, — другие времена, другие песни, обойдемся без Макса и Морица...

Не успела я договорить, позвали на собрание. К тому времени остро стал вопрос о Викторе Андреевиче. Тут подоспело решение ЦК о том, чтобы в отмену прежнего варианта пятилетки довести в 1932 году добычу нефти до 40 миллионов тонн. Разработать материалы поручили плановикам, то есть Виктору Андреевичу. Он заперся у себя, потом вызывает меня и показывает письмо. Адресовано президиуму ВСНХ. Со-

держание: слагаю с себя ответственность за плановый отдел. Цифру в сорок миллионов тонн считаю произвольной. Больше трети предположено взять с неразведанных областей, что означает делить шкуру медведя, не только не убитого, но еще не выслеженного... Далее, с трех крекинг-установок, действующих сегодня, мы перескакиваем, согласно новому плану, к ста двадцати в последнем году пятилетки. Это при дефиците металла и при том, что сложнейшее производство крекингов у нас не освоено... Кончалось письмо так: подобно всем смертным я предпочитаю стоять за высокие темпы, но сознание долга... и прочее и прочее. Прочитала. Он спрашивает:

— Посылать или нет?

Я говорю:

— Виктор Андреевич, доводы ваши и вся установка для меня неприемлемы, но я не считаю себя вправе советовать скрывать свои взгляды...

Письмо он отослал. ВСНХ — на дыбы. Назначили собрание. От ВСНХ приехал Багриновский. На стене укрепили карту Союза с новыми месторождениями, с трубчатками, нефте- и продуктопроводами; как сказал Багриновский:

— Страна с новым кровообращением...

На собрании молодые инженеры из типа “всеядных” требовали поставить Виктора Андреевича на колени. Я выступила, говорила сорок пять минут. “Не сомневаясь в знаниях и доброй воле профессора Клоссовского и даже преклоняясь перед ним, мы отвергаем фетишизм цифр, в плену которых он находится”, — вот мысль, которую я защищала.

— Отвергнем таблицу умножения как правило государственной мудрости... На основании голых цифр можно ли было сказать, что мы выполним нефтяную пятилетку по части добычи в два с половиной года?.. На основании голых цифр можно ли было сказать, что мы с тысяча девятьсот тридцать первого года увеличим экспорт в девять раз и выйдем на второе место после Соединенных Штатов?

После меня выступил Мурадьян с критикой направления нефтепровода Каспий — Москва. Виктор Андреевич молча делал заметки. На щеках его выступил старческий румянец, румянец венозной крови... Мне было жалко, я не дослушала, ушла к себе. Зинаида все сидит в кабинете, сцепив руки.

— Будешь рожать, — спрашиваю, — или нет?

Она смотрит и не видит, голова пошатывается, говорит, и в словах нет звука.

— Нас двое, Клавдюша, — говорит она мне, — я и мое горе, точно горб приклеили... И как скоро все забывается, вот уж и не помню, как живут люди без несчастья...

Говорит она это, нос вытянулся еще больше, покраснел, мужицкие скулы (у дворян бывают такие скулы) выперли... Макс и Мориц, думаю, не больно бы воспламенился, увидев тебя такую... Я раскричалась, прогнала ее на кухню картошку чистить... Не смейся, приедешь — и тебя заставим. На проектировку Орского завода дали такие сроки, что конструкторская и чертежники сидят день и ночь, на обед Васена начистит им картошки с селедкой, изжарит яичницу — и снова трубят... Ушла она на кухню. Через минуту слышу крик. Прибегаю — Зинаида моя на полу, пуль-

са нет, глаза закатились... Измучились мы с ней нельзя сказать как: Виктор Андреевич, Васена и я. Вызвали доктора. Сознание вернулось к ней ночью, она потрогала мою руку, — ты знаешь Зину, необыкновенную ее нежность... Я вижу: все перегорело в ней за эти часы и все родилось вновь... Времени упускать было нельзя.

— Зинуша, — говорю я, — мы позвоним Розе Михайловне (она у нас по-прежнему по этим делам придворная), что ты раздумала, что ты не придешь... Можно мне звонить?

Она сделала знак, что можно, иди. На диване возле нее сидел Виктор Андреевич, все пульс щупал. Я отошла, слушаю — он говорит:

— Мне шестьдесят пять лет, Зинуша, тень от меня на землю все слабее ложится. Я ученый, старый человек, и вот бог (все — бог!) так сделал, что последние пять лет моей жизни совпадают с этой, — ну, вы знаете с чем — с пятилеткой... Теперь мне уж до самой смерти не передохнуть, не подумать о себе... И если бы по вечерам не приходила моя дочь и не хлопала меня по плечу, если бы сыновья не писали мне писем, я был бы так грустен, что и сказать нельзя... Родите, Зинуша, мы с Клавдией Павловной возьмем шефство.

Старик бормочет, я звоню Розе Михайловне, что вот, мол, душечка Роза Михайловна, Мурашова обещалась придти завтра, так вот она раздумала... В телефон молодцеватый голос:

— Блестяще, что раздумала, совершенно чудно...

Придворная наша — все та же; розовая шелковая кофточка, английская юбка, завита, душ, гимнастика, хахали...

Перевезли Зинаиду домой, я уложила ее потеплее, заварила чаю. Спали мы вместе, — тут и поплакали, вспомнили, что не надо было, все обговорили, так, перемешав слезы, и заснули... Мой “черт” сидел тихонько, работал, переводил с немецкого техническую книгу. Ты бы, Даша, “черта” не узнала — он присмирел, съежился, притих. Меня это мучает... Целый день гнет спину в Госплане, вечером — переводы.

— Зинаида родит, — я ему говорю. — Как назвать мальчика? (О девочке никто не помышляет.) — Решили — Иваном, — Юрии и Леониды надоели... Будет он парень, наверное, сволочеватый, с острыми зубами, зубов — на шестьдесят человек. Горючего мы ему наготовили, будет катать барышень куда-нибудь в Ялту, в Батум, — не то что нас — на Воробьевы горы... До свидания, Даша. “Черт” напишет отдельно. Как твои дела?

Клавдия.

P. S. Строчу у себя на службе, над головой грохот, с потолка валится штукатурка. Дом наш, оказывается, еще крепок, к прежним четырем этажам мы пристраиваем еще четыре. Москва вся разрыта, в окопах, завалена трубами, кирпичами, трамвайные линии перепутаны, ворочают хоботом привезенные из-за границы машины, трамбуют, грохочут, пахнет смолой, дым идет, как над пожарищем... Вчера на Варварской площади видела одного парня... Рожа широкая, красная бритая голова блестит, косоворотка без пояса, на

босу ногу сандалии. Прыгали мы с ним с кочки на кочку, с горы на гору, вылезали, снова проваливались…

— Вот она, когда сражения пошла, — он мне говорит. — Теперь, барышня, в Москве самый фронт, самая война…

Рожа добрая, улыбается, как ребенок. Так его и вижу перед собой…»

УЛИЦА ДАНТЕ

От пяти до семи гостиница наша «Hôtel Danton»* поднималась в воздух от стонов любви. В номерах орудовали мастера. Приехав во Францию с убеждением, что народ ее обессилел, я немало удивился этим трудам. У нас женщину не доводят до такого накала, далеко нет. Мой сосед Жан Бьеналь сказал мне однажды:

— Mon vieux, за тысячу лет нашей истории мы сделали женщину, обед и книгу… В этом никто нам не откажет…

В деле познания Франции Жан Бьеналь, торговец подержанными автомобилями, сделал для меня больше, чем книги, которые я прочитал, и города, которые я видел. Он спросил при первом знакомстве о моем ресторане, о моем кафе, о публичном доме, где я бываю. Ответ ужаснул его.

— On va refaire votre vie…**

---

* Отель Дантон (*фр.*).

** Нужно переделать вашу жизнь… (*фр.*)

И мы ее переделали. Обедать мы стали в харчевне скотопромышленников и торговцев вином — против Halles aux vins*.

Деревенские девки в шлепанцах подавали нам омаров в красном соусе, жаркое из зайца, начиненного чесноком и трюфелями, и вино, которого нельзя было достать в другом месте. Заказывал Бьеналь, платил я, но платил столько, сколько платят французы. Это не было дешево, но это была настоящая цена. И эту же цену я платил в публичном доме, содержимом несколькими сенаторами возле Gare St. Lazare**. Бьеналю стоило большего труда представить меня обитательницам этого дома, чем если бы я захотел присутствовать на заседании палаты, когда свергают министерство. Вечер мы кончали у Porte Mailot в кафе, где собираются устроители матчей бокса и автомобильные гонщики. Учитель мой принадлежал к той половине нации, которая торгует автомобилями; другая их обменивает. Он был агентом Рено и торговал больше всего с румынскими дельцами, самыми грязными из дельцов. В свободное время Бьеналь обучал меня искусству купить подержанный автомобиль. Для этого, по его словам, нужно было отправиться на Ривьеру к концу сезона, когда разъезжаются англичане и бросают в гаражах машины, послужившие два или три месяца. Сам Бьеналь разъезжал на облупившемся «рено», которым он управлял, как самоед управляет собаками. По воскресеньям мы

---

* Винный рынок (*фр.*).

** Вокзал Сен-Лазар (*фр.*).

отправлялись на прыгающем этом возке за сто двадцать километров в Руан есть утку, которую там жарят в собственной ее крови. Нас сопровождала Жермен, продавщица перчаток в магазине на Rue Royale*. Их дни с Бьеналем были среда и воскресенье. Она приходила в пять часов. Через мгновенье в их комнате раздавались ворчание, стук падающих тел, возглас испуга, и потом начиналась нежная агония женщины:

— Oh, Jean...**

Я высчитывал про себя: ну, вот вошла Жермен, она закрыла за собой дверь, они поцеловали друг друга, девушка сняла с себя шляпу, перчатки и положила их на стол, и больше, по моему расчету, времени у них не оставалось. Его не оставалось на то, чтобы раздеться. Не произнесши ни одного слова, они прыгали в своих простынях, как зайцы. Постонав, они помирали со смеху и лепетали о своих делах. Я знал об этом все, что может знать сосед, живущий за дощатой перегородкой. У Жермен были несогласия с мосье Анриш, заведующим магазином. Родители ее жили в Туре, она ездила к ним в гости. В одну из суббот она купила себе меховую горжетку, в другую субботу слушала «Богему» в Гранд-Опера. Мосье Анриш заставлял своих продавщиц носить гладкие костюмы tailleur***. Мосье Анриш энглезировал Жермен, она стала в ряды деловых женщин, плоскогрудых, подвижных, завитых, подкрашенных пылающей коричневой краской, но полная

---

* Королевская улица (*фр.*).

** О, Жан... (*фр.*)

*** Английский дамский костюм (*фр.*).

щиколотка ее ноги, низкий и быстрый смех, взгляд внимательных и блестящих глаз и этот стон агонии — oh, Jean! — все оставлено было для Бьеналя.

В дыму и золоте парижского вечера двигалось перед нами сильное и тонкое тело Жермен; смеясь, она откидывала голову и прижимала к груди розовые ловкие пальцы. Сердце мое согревалось в эти часы. Нет одиночества безвыходнее, чем одиночество в Париже.

Для всех пришедших издалека этот город есть род изгнания, и мне приходило на ум, что Жермен нужна нам больше, чем Бьеналю. С этой мыслью я уехал в Марсель.

Прожив месяц в Марселе, я вернулся в Париж. Я ждал среды, чтобы услышать голос Жермен.

Среда прошла, никто не нарушил молчания за стеной. Бьеналь переменил свой день. Голос женщины раздался в четверг, в пять часов, как всегда. Бьеналь дал своей гостье время на то, чтобы снять шляпу и перчатки. Жермен переменила день, но она переменила и голос. Это не было больше прерывистое, умоляющее oh, Jean… и потом молчание, грозное молчание чужого счастья. Оно заменилось на этот раз домашней хриплой возней, гортанными выкриками. Новая Жермен скрипела зубами, с размаху валилась на диван и в промежутках рассуждала густым протяжным голосом. Она ничего не сказала о мосье Анриш, а прорычав до семи часов, собралась уходить. Я приоткрыл дверь, чтобы встретить ее, и увидел идущую по коридору мулатку с поднятым гребешком лошадиных волос, с выставленной вперед большой, отвислой грудью. Мулатка, шаркая ногами в разносившихся

туфлях без каблуков, прошла по коридору. Я постучал к Бьеналю. Он валялся на кровати без пиджака, измятый, посеревший, в застиранных носках.

— Mon viex, вы дали отставку Жермен?..

— Cette femme est folle*, — ответил он и стал ежиться, — то, что на свете бывает зима и лето, начало и конец, то, что после зимы наступает лето и наоборот, — все это не касается мадемуазель Жермен, все это песни не для нее… Она навьючивает вас ношей и требует, чтобы вы ее несли... куда? Никто этого не знает, кроме мадемуазель Жермен...

Бьеналь сел на кровати, штаны обмялись вокруг жидких его ног, бледная кожа головы просвечивала сквозь слипшиеся волосы, треугольник усов вздрагивал. Макон по четыре франка за литр поправил моего друга. За десертом он пожал плечами и сказал, отвечая своим мыслям:

— ...Кроме вечной любви, на свете есть еще румыны, векселя, банкроты, автомобили с лопнувшими рамами. Oh, j'en ai plein le dos…**

Он повеселел в кафе «Де Пари» за рюмкой коньяку. Мы сидели на террасе под белым тентом. Широкие полосы были положены на нем. Перемешавшись с электрическими звездами, по тротуару текла толпа. Против нас остановился автомобиль, вытянутый, как мина. Из него вышел англичанин и женщина в собольей накидке. Она проплыла мимо нас в нагретом облаке духов и меха, нечеловечески длинная, с маленькой

---

* Эта женщина сумасшедшая (*фр.*).

** О, у меня достаточно хлопот… (*фр.*)

фарфоровой светящейся головой. Бьеналь подался вперед, увидев ее, выставил ногу в трепаной штанине и подмигнул, как подмигивают девицам с Rue de la Gaité*. Женщина улыбнулась углом карминного рта, наклонила едва заметно обтянутую розовую голову и, колебля и волоча змеиное тело, исчезла. За ней, потрескивая, прошел негнущийся англичанин.

— Ah, canaille!** — сказал им вслед Бьеналь. — Два года назад с нее довольно было аперитива...

Мы расстались с ним поздно. В субботу я назначил себе пойти к Жермен, позвать ее в театр, поехать с ней в Шартр, если она захочет, но мне пришлось увидеть их — Бьеналя и бывшую его подругу — раньше этого срока. На следующий день вечером полицейские заняли входы в отель «Дантон», синие их плащи распахнулись в нашем вестибюле. Меня пропустили, удостоверившись, что я принадлежу к числу жильцов мадам Трюффо, нашей хозяйки. Я нашел жандармов у порога моей комнаты. Дверь из номера Бьеналя была растворена. Он лежал на полу в луже крови, с помутившимися и полузакрытыми глазами. Печать уличной смерти застывала на нем. Он был зарезан, мой друг Бьеналь, и хорошо зарезан. Жермен в костюме tailleur и шапочке, сдавленной по бокам, сидела у стола. Здороваясь со мной, она склонила голову, и с нею вместе склонилось перо на шапочке...

Все это случилось в шесть часов вечера, в час любви; в каждой комнате была женщина. Прежде чем уйти — полуодетые,

---

* Улица Веселья (*фр.*).

** А, каналья! (*фр.*)

в чулках до бедер, как пажи, — они торопливо накладывали на себя румяна и черной краской обводили рты. Двери были раскрыты, мужчины в незашнурованных башмаках выстроились в коридоре. В номере у морщинистого итальянца, велосипедиста, плакала на подушке босая девочка. Я спустился вниз, чтобы предупредить мадам Трюффо. Мать этой девочки продавала газеты на улице Сен-Мишель. В конторке собрались уже старухи с нашей улицы, с улицы Данте: зеленщицы и консьержки, торговки каштанами и жареным картофелем, груды зобастого, перекошенного мяса, усатые, тяжело дышавшие, в бельмах и багровых пятнах.

— Voila qui n'est pas gai, — сказал я, входя, — quell malheur![*]

— C'est l'amour, monsieur... Elle l'aimait...[**]

Под кружевцем вываливались лиловые груди мадам Трюффо, слоновые ноги расставились посреди комнаты, глаза ее сверкали.

— L'amore, — как эхо сказала за ней синьора Рокка, содержательница ресторана на улице Данте. — Dio cartiga quelli, chi non conoseono l'amore...[***]

Старухи сбились вместе и бормотали все разом. Оспенный пламень зажег их щеки, глаза вышли из орбит.

— L'amour, — наступая на меня, повторила мадам Трюффо, — c'est une grosse affaire, l'amour...[****]

---

[*] Вот кому невесело. Какой ужас! (*фр.*)

[**] Это любовь, сударь... Она любила его... (*фр.*)

[***] Любовь. Бог наказывает тех, кто не знает любви... (*ит.*)

[****] Любовь... это великое дело, любовь... (*фр.*)

На улице заиграл рожок. Умелые руки поволокли убитого вниз, к больничной карете. Он стал номером, мой друг Бьеналь, и потерял имя в прибое Парижа. Синьора Рокка подошла к окну и увидела труп. Она была беременна, живот грозно выходил из нее, на оттопыренных боках лежал шелк, солнце прошло по желтому, запухшему ее лицу, по желтым мягким волосам.

— Dio, — произнесла синьора Рокка, — tu non perdoni quelli, chi non ama...*

На истертую сеть Латинского квартала падала тьма, в уступах его разбегалась низкорослая толпа, горячее чесночное дыхание шло из дворов. Сумерки накрыли дом мадам Трюффо, готический фасад его с двумя окнами, остатки башенок и завитков, окаменевший плющ.

Здесь жил Дантон полтора столетия тому назад. Из своего окна он видел замок Консьержери, мосты, легко переброшенные через Сену, строй слепых домишек, прижатых к реке, то же дыхание восходило к нему. Толкаемые ветром, скрипели ржавые стропила и вывески заезжих дворов.

СУЛАК

В двадцать втором году в Винницком районе была разгромлена банда Гулая. Начальником штаба был у него Адриян Сулак, сельский учитель. Ему удалось уйти за рубеж в

* Господи, ты не прощаешь тем, кто не любит... (*ит.*)

Галицию, вскоре газеты сообщили о его смерти. Через шесть лет после этого сообщения мы узнали, что Сулак жив и скрывается на Украине. Чернышеву и мне поручили поиски. С мандатами зоотехников в кармане мы отправились в Хощеватое, на родину Сулака. Председателем сельрады оказался там демобилизованный красноармеец, парень добрый и простоватый.

— Вы тут кувшина молока не расстараетесь, — сказал он нам, — в том Хощеватом людей живьем едят...

Расспрашивая о ночлеге, Чернышев навел разговор на хату Сулака.

— Можно, — сказал председатель, — у цей вдовы и хатына есть...

Он повел нас на край села, в дом, крытый железом. В горнице, перед грудой холста, сидела карлица в белой кофте навыпуск. Два мальчика в приютских куртках, склонив стриженые головы, читали книгу. В люльке спал младенец с раздутой, белесой головой. На всем лежала холодная монастырская чистота.

— Харитина Терентьевна, — неуверенным голосом сказал председатель, — хочу хороших людей к тебе постановить...

Женщина показала нам хатыну и вернулась к своему холсту.

— Ця вдова не откажет, — сказал председатель, когда мы вышли, — у ней обстановка такая...

Оглядываясь по сторонам, он рассказал, что Сулак служил когда-то у желто-блакитных, а от них перешел к папе римскому.

— Муж у папы римского, — сказал Чернышев, — а жена в год по ребенку приводит…

— Живое дело, — ответил председатель, увидел на дороге подкову и поднял ее, — вы на эту вдову не глядите, что она недомерок, у ней молока на пятерых хватит. У ней молоком другие женщины заимствуются…

Дома председатель зажарил яичницу с салом и поставил водки. Опьянев, он полез на печь. Оттуда мы услышали шепот, детский плач.

— Ганночко, божусь тебе, — бормотал наш хозяин, — божусь тебе, завтра до вчительки пойду…

— Разговорились, — крикнул Чернышев, лежавший рядом со мной, — людям спать не даешь…

Всклокоченный председатель выглянул из-за печи; ворот его рубахи был расстегнут, босые ноги свисали книзу.

— Вчителька в школе трусов на развод давала, — сказал он виновато, — трусиху дала, а самого нет… Трусиха побыла, побыла, а тут весна, живое дело, она и подалась в лес. Ганночко, — закричал вдруг председатель, оборачиваясь к девочке, — завтра до вчительки пойду, пару тебе принесу, клетку сделаем…

Отец с дочерью долго еще переговаривались за печкой, он все вскрикивал «Ганночко», потом заснул. Рядом со мной на сене ворочался Чернышев.

— Пошли, — сказал он.

Мы встали. На чистом, без облачка, небе сияла луна. Весенний лед затянул лужи. На огороде Сулака, заросшем бурьяном, торчали голые стебли кукурузы, валялось обломанное

железо. К огороду примыкала конюшня, внутри ее слышался шорох, в расщелинах досок мелькал свет. Подкравшись к воротам, Чернышев налег на них, запор поддался. Мы вошли и увидели раскрытую яму посреди конюшни, на дне ее сидел человек. Карлица в белой кофте стояла над краем ямы с миской борща в руках.

— Здравствуй, Адриян, — сказал Чернышев, — ужинать собрался?..

Упустив миску, карлица бросилась ко мне и укусила за руку. Зубы ее свело, она тряслась и стонала. Из ямы выстрелили.

— Адриян, — сказал Чернышов и отскочил, — нам тебя живого надо...

Сулак внизу возился с затвором, затвор щелкнул.

— С тобой как с человеком разговаривают, — сказал Чернышов и выстрелил.

Сулак прислонился к желтой оструганной стене, потрогал ее, кровь вылилась у него изо рта и ушей, и он упал.

Чернышов остался на страже. Я побежал за председателем. В ту же ночь мы увезли убитого. Мальчики шли рядом с Чернышевым по мокрой, тускло блиставшей дороге. Ноги мертвеца в польских башмаках, подкованных гвоздями, высовывались из телеги. В головах у мужа неподвижно сидела карлица. В затмевающемся свете луны лицо ее с перекосившимися костями казалось металлическим. На маленьких ее коленях спал ребенок.

— Молочная, — сказал вдруг Чернышов, шагавший по дороге, — я тебе покажу молоко...

СУД

Мадам Бляншар, шестидесяти одного года от роду, встретилась в кафе на Boulevard des Italiens* с бывшим подполковником Иваном Недачиным. Они полюбили друг друга. В их любви было больше чувственности, чем рассудка. Через три месяца подполковник бежал с акциями и драгоценностями, которые мадам Бляншар поручила ему оценить у ювелира на Rue de la Paix**.

— Accès de folie passagère***, — определил врач припадок, случившийся с мадам Бляншар.

Вернувшись к жизни, старуха повинилась невестке. Невестка заявила в полицию. Недачина арестовали на Монпарнасе в погребке, где пели московские цыгане. В тюрьме Недачин пожелтел и обрюзг. Судили его в четырнадцатой камере уголовного суда. Первым прошло автомобильное дело, затем предстал перед судом шестнадцатилетний Раймонд Лепик, застреливший из ревности любовницу. Мальчика сменил подполковник. Жандармы вытолкнули его на свет, как выталкивали когда-то Урса на арену цирка. В зале суда французы в небрежно сшитых пиджаках громко кричали друг на друга, покорно раскрашенные женщины обмахивали веерами заплаканные лица. Впереди них — на возвышении, под мраморным гербом республики — сидел краснощекий мужчина с галльскими усами, в тоге и в шапочке.

---

* Итальянский бульвар (*фр.*).

** Улица Мира (*фр.*).

*** Припадок временного безумия (*фр.*).

— Eh bien, Nedatchine*, — сказал он, увидев обвиняемого, — en bien, mon ami**. — И картавая, быстрая речь опрокинулась на вздрогнувшего подполковника.

— Происходя из рода дворян Nedatchine, — звучно говорил председатель, — вы записаны, мой друг, в геральдические книги Тамбовской провинции... Офицер царской армии, вы эмигрировали вместе с Врангелем и сделались полицейским в Загребе... Разногласия по вопросу о границах государственной и частной собственности, — звучно продолжал председатель, то высовывая из-под мантии носок лакированного башмака, то снова втягивая его, — разногласия эти, мой друг, заставили вас расстаться с гостеприимным королевством югославов и обратить взор на Париж... В Париже... — Тут председатель пробежал глазами лежавшую перед ним бумагу. — В Париже, мой друг, экзамен на шофера такси оказался крепостью, которой вы не смогли овладеть... Тогда вы отдали запас неизрасходованных сил отсутствующей в заседании мадам Бляншар...

Чужая речь сыпалась на Недачина как летний дождь. Беспомощный, громадный, с повисшими руками — он возвышался над толпой, как грустное животное другого мира.

— Voyons***, — сказал председатель неожиданно, — я вижу со своего места невестку почтенной мадам Бляншар.

---

* Итак, Недачин (*фр*.).

** Итак, друг мой (*фр*.).

*** Ну вот (*фр*.).

Наклонив голову, к свидетельскому столу пробежала жирная женщина без шеи, похожая на рыбу, всунутую в сюртук. Задыхаясь, подымая к небу короткие ручки, она стала перечислять названия акций, похищенных у мадам Бляншар.

— Благодарю вас, мадам, — перебил ее председатель и кивнул сидевшему налево от суда сухощавому человеку с породистым и впалым лицом.

Слегка приподнявшись, прокурор процедил несколько слов и сел, сцепив руки в круглых манжетах. Его сменил адвокат, натурализовавшийся киевский еврей. Он обиженно, словно ссорясь с кем-то, закричал о Голгофе русского офицерства. Невнятно произносимые французские слова крошились, сыпались у него во рту и к концу речи стали похожи на еврейские. Несколько мгновений председатель молча, без выражения смотрел на адвоката и вдруг качнулся вправо — к иссохшему старику в тоге и в шапочке, потом он качнулся в другую сторону к такому же старику, сидевшему слева.

— Десять лет, мой друг, — кротко сказал председатель, кивнув Недачину головой, и схватил на лету брошенное ему секретарем новое дело.

Вытянувшись во фронт, Недачин стоял неподвижно. Бесцветные глазки его мигали, на маленьком лбу выступил пот.

— T'a encaissé dix ans*, — сказал жандарм за его спиной, — c'est fini, mon vieux**. — И, тихонько работая кулаками, жандарм стал подталкивать осужденного к выходу.

---

* Тебе дали десять лет (*фр.*).

** Все кончено, старина (*фр.*).

Великая Криница

ГАПА ГУЖВА

На масленой тридцатого года в Великой Кринице сыграли шесть свадеб. Их отгуляли с буйством, какого давно не было. Обычаи старины возродились. Один сват, захмелев, сунулся пробовать невесту — порядок этот лет двадцать как был оставлен в Великой Кринице. Сват успел размотать кушак и бросил его на землю. Невеста, ослабев от смеха, трясла старика за бороду. Он наступал на нее грудью, гоготал и топал сапожищами. Старику, впрочем, не из чего было тревожиться. Из шести моняк, поднятых над хатами, только две были смочены брачной кровью, остальным невестам досвитки не прошли даром. Одну моняку достал красноармеец, приехавший на побывку, за другой полезла Гапа Гужва. Колотя мужчин по головам, она вскочила на крышу и стала взбираться по шесту. Он гнулся и качался под тяжестью ее тела. Гапа сорвала красную тряпку и съехала вниз по шесту. На изгорбине крыши стояли стол и табурет, а на столе пол-литра и нарезано кусками холодное мясо. Гапа опрокинула бутылку себе в рот; свободной рукой она размахивала монякой. Внизу гремела и плясала толпа. Стул скользил под Гапой, трещал и разъезжался. Березанские чабаны, гнавшие в Киев волов, воззрились на бабу, пившую водку в высоте, под самым небом.

— Разве то баба, — ответили им сваты, — то черт, вдова наша...

Гапа швыряла с крыши хлеб, прутья, тарелки. Допив водку, она разбила бутылку о выступ трубы. Мужики, собравшиеся внизу, ответили ей ревом. Вдова прыгнула на землю, отвязала дремавшую у тына кобылу с мохнатым брюхом и поскакала за вином. Она вернулась, обложенная фляжками, как черкес патронами. Кобыла, тяжело дыша, запрокидывала морду, жеребый ее живот западал и раздувался, в глазах тряслось лошадиное безумие.

Плясали на свадьбах с платочками, опустив глаза и топчась на месте. Одна Гапа разлеталась по-городскому. Она плясала в паре с любовником своим Гришкой Савченко. Они схватывались, словно в бою; в упрямой злобе обрывали друг другу плечи; как подшибленные, падали они на землю, выбивая дробь сапогами.

Шел третий день великокриницких свадеб. Дружки, обмазавшись сажей и вывернув тулупы, колотили в заслонки и бегали по селу. На улице зажглись костры. Через них прыгали люди с нарисованными рогами. Лошадей запрягли в лохани; они бились по кочкам и неслись через огонь. Мужики упали, сраженные сном. Хозяйки выбрасывали на задворки битую посуду. Новобрачные, помыв ноги, взошли на высокие постели, и только Гапа доплясывала одна в пустом сарае. Она кружилась, простоволосая, с багром в руках. Дубина ее, обмазанная дегтем, обрушивалась на стены. Удары сотрясали строение и оставляли черные липкие раны.

— Мы смертельные, — шептала Гапа, ворочая багром.

Солома и доски сыпались на женщину, стены рушились. Она плясала, простоволосая, среди развалин, в грохоте и пыли рассыпающихся плетней, летящей трухи и переламывающихся досок. В обломках вертелись, отбивая такт, ее сапожки с красными отворотами.

Спускалась ночь. В оттаявших ямах угасали костры. Сарай взъерошенной грудой лежал на пригорке. Через дорогу в сельраде зачадил рваный огонек. Гапа отшвырнула от себя багор и побежала по улице.

— Ивашко, — закричала она, врываясь в сельраду, — ходим гулять с нами, пропивать нашу жизнь...

Ивашко был уполномоченный рика по коллективизации. Два месяца прошло с тех пор, как начался разговор его с Великой Криницей. Положив на стол руки, Ивашко сидел перед мятой, обкусанной грудой бумаг. Кожа его возле висков сморщилась, зрачки больной кошки висели в глазницах. Над ними торчали розовые голые дуги.

— Не брезговай нашим крестьянством, — закричала Гапа и топнула ногой.

— Я не брезговаю, — уныло сказал Ивашко, — только мне нетактично с вами гулять.

Притоптывая и разводя руками, Гапа прошлась перед ним.

— Ходи с нами каравай делить, — сказала баба, — все твои будем, представник, только завтра, не сегодня...

Ивашко покачал головой.

— Мне нетактично с вами каравай делить, — сказал он, — разве ж вы люди?.. Вы ж на собак гавкаете, я от вас восемь кил весу потерял...

Он пожевал губами и прикрыл веки. Руки его потянулись, нашарили на столе холстинный портфель. Он встал, качнулся грудью вперед и, словно во сне, волоча ноги, пошел к выходу.

— Этот гражданин — чистое золото, — сказал ему вслед секретарь Харченко, — большую совесть в себе имеет, но только Великая Криница слишком грубо с ним обратилась...

Над прыщами и пуговкой носа у Харченки был выделан пепельный хохолок. Он читал газету, задрав ноги на скамью.

— Дождутся люди вороньковского судьи, — сказал Харченко, переворачивая газетный лист, — тогда воспомянут.

Гапа вывернула из-под юбки кошель с подсолнухами.

— Почему ты должность свою помнишь, секретарь, — сказала баба, — почему ты смерти боишься?.. Когда это было, чтобы мужик помирать отказывался?..

На улице, вокруг колокольни, кипело черное вспухшее небо, мокрые хаты выгнулись и сползли. Над ними трудно высекались звезды, ветер стлался понизу.

В сенях своей хаты Гапа услышала мерное бормотанье, чужой осипший голос. Странница, забредшая ночевать, подогнув под себя ноги, сидела на печи. Малиновые нити лампад оплетали угол. В прибранной хате развешана была тишина; спиртным, яблочным духом несло от стен и простенков. Большегубые дочери Гапы, задрав снизу головы, уставились на побирушку. Девушки поросли коротким, конским волосом, губы их были вывернуты, узкие лбы светились жирно и мертво.

— Бреши, бабуся Рахивна, — сказала Гапа и прислонилась к стене, — я тому охотница, когда брешут...

Под потолком Рахивна заплетала себе косицы, рядками накладывала на маленькую голову. У края печи расставились вымытые изуродованные ее ступни.

— Три патриарха рахуются в свете, — сказала старуха, мятое ее лицо поникло, — московского патриарха заточила наша держава, иерусалимский живет у турок, всем христианством владеет антиохийский патриарх... Он выслал на Украину сорок грецких попов, чтоб проклясть церкви, где держава сняла дзвоны... Грецкие попы прошли Холодный Яр, народ бачил их в Остроградском, к прощеному воскресенью будут они у вас в Великой Кринице...

Рахивна прикрыла веки и умолкла. Свет лампады стоял в углублениях ее ступней.

— Вороньковский судья, — очнувшись, сказала старуха, — в одни сутки произвел в Воронькове колгосп... Девять господарей он забрал в холодную... Наутро их доля была идти на Сахалин. Доню моя, везде люди живут, везде Христос славится... Перебули тыи господари ночь в холодной, является стража — брать их... Видчиняет стража дверь от острога, на свете полное утро, девять господарей качаются под балками, на своих опоясках...

Рахивна долго возилась, прежде чем улечься, разбирая лоскутики, она шепталась со своим богом, как шепчутся со стариком, который тут же лежит на печи, потом сразу и легко задышала. Чужой муж, Гришка Савченко, спал внизу на лаве. Он сложился, как раздавленный, на самом краю и выгнул спину; жилетка вздыбилась на ней, голова его была всунута в подушки.

— Мужицкое кохання. — Гапа встряхнула его и растолкала. — Я добре знаю мужицкое це кохання... Отворотили рыло — чоловик от жинки — и топтаются... Не к себе пришел, не к Одарке...

Полночи они катались по лаве, во тьме, с сжатыми губами, с руками, протянутыми через тьму. Коса Гапы перелетала через подушку. На рассвете Гришка вскинулся, застонал и заснул, оскалившись. Гапе видны были коричневые плечи дочерей, низколобых, губатых, с черными грудями.

«Верблюды такие, — подумала она, — откуда они ко мне?..»

В дубовой раме окна двинулась тьма. Рассвет раскрыл в тучах фиолетовую полосу. Гапа вышла во двор. Ветер сжал ее, как студеная вода в реке. Она запрягла, взвалила на дровни мешки с пшеницей — за праздники мука подбилась у всех. В тумане, в пару рассвета проползла дорога.

На мельнице справились только к следующему вечеру. Весь день шел снег. У самого села, из льющейся прямой стены, навстречу Гапе вынырнул коротконогий Юшко Трофим в размокшем треухе. Плечи его, накрытые снежным океаном, раздались и осели.

— Ну, просыпались, — забормотал он, подходя к саням, и поднял черное костистое лицо.

— А именно што?.. — Гапа потянула к себе вожжи.

— Ночью вся головка наехала, — сказал Трофим, — бабусю твою законвертовали... Голова рику приехал, секретарь райкому... Ивашку замели, на его должность — вороньковский судья...

Усы Трофима поднялись, как у моржа, снег шевелился на них. Гапа тронула лошадь, потом снова потянула вожжи.

— Трофиме, бабусю за што?..

Юшко остановился и протрубил издалека, сквозь веющие, летящие снега.

— Кажуть, агитацию разводила про конец света...

Припадая на ногу, он пошел дальше, и сейчас же широкую его спину затерло небо, небо, слившееся с землей.

Подъехав к хате, Гапа постучала в окно кнутом. Дочери ее торчали у стола в шалях и башмаках, как на посиделках.

— Маты, — сказала старшая, сваливая мешки, — без вас приходила Одарка, взяла Гришку до дому...

Дочери накрыли на стол, поставили самовар. Поужинав, Гапа ушла в сельраду. Там, усевшись на лавках вдоль стен, молчали старики из села Великая Криница. Окно, разбитое во время прошлых споров, заделали листом фанеры, стекло лампы было протерто, к щербатой стене прибили плакат «Прохання не палить». Вороньковский судья, подняв плечи, читал у стола. Он читал книгу протоколов великокриницкой сельрады; воротник драпового его пальтишка был наставлен. Рядом за столом секретарь Харченко писал своему селу обвинительный акт. Он разносил по разграфленным листам все преступления, недоимки и штрафы, все раны, явные и скрытые. Приехав в село, Осмоловский, судья из Воронькова, отказался созвать сборы, общее собрание граждан, как это делали уполномоченные до него, он не произнес речи и только приказал составить список недоимщиков, бывших торговцев, списки их имущества, посевов и усадеб.

Великая Криница молчала, присев на лавки. Свист и треск Харченкиного пера юлил в тишине. Движение пронеслось и замерло, когда в сельраду вошла Гапа. Голова Евдоким Назаренко оживился, увидев ее.

— То есть первейший наш актив, товарищ судья, — Евдоким захохотал и потер ладони, — вдова наша, всех парубков нам перепортила...

Гапа, щурясь, стояла у двери. Гримаса тронула губы Осмоловского, узкий нос его сморщился. Он наклонил голову и сказал: «Здравствуйте».

— В колгосп первая записалась, — силясь разогнать тучу, Евдоким сыпал словами, — потом добрые люди подговорили, она и выписалась...

Гапа не двигалась. Кирпичный румянец лежал на ее лице.

— ...А кажуть добрые люди, — произнесла она звучным, низким своим голосом, — кажуть, что в колгоспе весь народ под одним одеялом спать будет...

Глаза ее смеялись в неподвижном лице.

— ...А я этому противница, гуртом спать, мы по двох любим, и горилку, батькови нашему черт, любим...

Мужики засмеялись и оборвали. Гапа щурилась. Судья поднял воспаленные глаза и кивнул ей. Он съежился еще больше, забрал голову в узкие рыжие руки и снова погрузился в книгу великокриницких протоколов. Гапа повернулась, статная ее спина зажглась перед оставшимися.

Во дворе, на мокрых досках, расставив колени, сидел дед Абрам, заросший диким мясом. Желтые космы падали на его плечи.

— Что ты, диду? — спросила Гапа.

— Журюсь, — сказал дед.

Дома у нее дочери уже легли. Поздней ночью, наискосок, в хатыне комсомольца Нестора Тягая ртутным языком повис огонек, — Осмоловский пришел на отведенную ему квартиру. На лавку брошен был тулуп, судью ждал ужин — миска простокваши и краюха хлеба с луковицей. Сняв очки, он прикрыл ладонями больные глаза — судья, прозванный в районе «двести шестнадцать процентов». Этой цифры он добился на хлебозаготовках в буйном селе Воронькове. Тайны, песни, народные поверья облекали проценты Осмоловского.

Он жевал хлеб и луковицу и разостлал перед собой «Правду», инструкции райкома и сводки Наркомзема по коллективизации. Было поздно, второй час ночи, когда дверь его раскрылась и женщина, накрест стянутая шалью, переступила порог.

— Судья, — сказала Гапа, — что с блядями будет?..

Осмоловский поднял лицо, обтянутое рябоватым огнем.

— Выведутся.

— Житье будет блядям или нет?

— Будет, — сказал судья, — только другое, лучшее.

Баба невидящими глазами уставилась в угол. Она тронула монисто на груди.

— Спасыби на вашем слове...

Монисто зазвенело. Гапа вышла, притворив за собой дверь.

Беснующаяся, режущая ночь набросилась на нее, кустарники туч, горбатые льдины с черным блеском в них. Про-

светляясь, низко неслись облака. Безмолвие распростерлось над Великой Криницей, над плоской, могильной, обледенелой пустыней деревенской ночи.

КОЛЫВУШКА

Во двор Ивана Колывушки вступило четверо — уполномоченный рика Ивашко, Евдоким Назаренко, голова сельрады, Житняк, председатель колхоза, только что образовавшегося, и Адриян Моринец. Адриян двигался так, как если бы башня тронулась с места и пошла. Прижимая к бедру переламывающийся холстинный портфель, Ивашко пробежал мимо сараев и вскочил в хату. На потемневших прялках, у окна, сучили нитку жена Ивана и две его дочери. Повязанные косынками, с высокими тальмами и чистыми маленькими босыми ногами — они походили на монашек. Между полотенцами и дешевыми зеркалами висели фотографии прапорщиков, учительниц и горожан на даче. Иван вошел в хату вслед за гостями и снял шапку.

— Сколько податку платит? — вертясь, спросил Ивашко.

Голова Евдоким, сунув руки в карманы, наблюдал за тем, как летит колесо прялки.

Ивашко фыркнул, узнав, что Колывушка платит двести шестнадцать рублей.

— Бильш не сдужил?

— Видно, что не сдужил...

Житняк растянул сухие губы, голова Евдоким все смотрел на прялку. Колывушка, стоявший у порога, мигнул жене, та вынула из-за образов квитанцию и подала уполномоченному рика.

— Семфонд?.. — Ивашко спрашивал отрывисто, от нетерпения он ерзал ногой, вдавливая ее в половицы.

Евдоким поднял глаза и обвел ими хату.

— В этом господарстве, — сказал Евдоким, — все сдано, товарищ представник... В этом господарстве не может того быть, чтобы не сдано...

Беленые стены низким теплым куполом сходились над гостями. Цветы в ламповых стеклах, плоские шкафы, натертые лавки — все отражало мучительную чистоту. Ивашко снялся со своего места и побежал с вихляющим портфелем к выходу.

— Товарищ представник, — Колывушка ступил вслед за ним, — распоряжение будет мне или как?..

— Довидку получишь, — болтая руками, прокричал Ивашко и побежал дальше.

За ним двигался Адриян Моринец, нечеловечески громадный. Веселый виконавец Тымыш мелькнул у ворот, — вслед за Ивашкой. Тымыш мерил длинными ногами грязь деревенской улицы.

— У чому справа, Тымыш?..

Иван поманил его и схватил за рукав. Виконавец, веселая жердь, перегнулся и открыл пасть, набитую малиновым языком и обсаженную жемчугами.

— Дом твой под реманент забирают...

— А меня?..

— Тебя на высылку...

И журавлиными своими ногами Тымыш бросился догонять начальство.

Во дворе у Ивана стояла запряженная лошадь. Красные вожжи были брошены на мешки с пшеницей. У погнувшейся липы посреди двора стоял пень, в нем торчал топор. Иван потрогал рукой шапку, сдвинул ее и сел. Кобыла подтащила к нему розвальни, высунула язык и сложила его трубочкой. Лошадь была жереба, живот ее оттягивался круто. Играя, она ухватила хозяина за ватное плечо и потрепала его. Иван смотрел себе под ноги. Истоптанный снег рябил вокруг пня. Сутулясь, Колывушка вытянул топор, подержал его в воздухе, на весу, и ударил лошадь по лбу. Одно ухо ее отскочило, другое прыгнуло и прижалось; кобыла застонала и понесла. Розвальни перевернулись, пшеница витыми полосами разостлалась по снегу. Лошадь прыгала передними ногами и запрокидывала морду. У сарая она запуталась в зубьях бороны. Из-под кровавой, льющейся завесы вышли ее глаза. Жалуясь, она запела. Жеребенок повернулся в ней, жила вспухла на ее брюхе.

— Помиримось, — протягивая ей руку, сказал Иван, — помиримось, дочка...

Ладонь в его руке была раскрыта. Ухо лошади повисло, глаза ее косили, кровавые кольца сияли вокруг них, шея образовала с мордой прямую линию. Верхняя губа ее запрокинулась в отчаянии. Она натянула шлею и двинулась, таща

прыгавшую борону. Иван отвел за спину руку с топором. Удар пришелся между глаз, в рухнувшем животном еще раз повернулся жеребенок. Описав круг по двору, Иван подошел к сараю и выкатил на волю веялку. Он размахивался широко и медленно, разбивая машину, и поворачивал топор в тонком плетении колес и барабана. Жена в высокой тальме появилась на крыльце.

— Маты, — услышал Иван далекий голос, — маты, он все погубляет...

Дверь открылась; из дому, опираясь на палку, вышла старуха в холстинных штанах. Желтые волосы облегали дыры ее щек, рубаха висела как саван на плоском ее теле. Старуха ступила в снег мохнатыми чулками.

— Кат, — отнимая топор, сказала она сыну, — ты отца вспомнил?.. Ты братов, каторжников, вспомнил?..

Во двор набрались соседи. Мужики стояли полукругом и смотрели в сторону. Чужая баба рванулась и завизжала.

— Примись, стерво, — сказал ей муж.

Иван стоял, упершись в стену. Дыхание его, гремя, разносилось по двору. Казалось, он производит трудную работу, вбирая в себя воздух и выталкивая его.

Дядька Колывушки, Терентий, бегая вокруг ворот, пытался запереть их.

— Я человек, — сказал вдруг Иван окружившим его, — я есть человек, селянин... Неужто вы человека не бачили?..

Терентий, толкаясь и приседая, прогнал посторонних. Ворота завизжали и съехались. Раскрылись они к вечеру. Из них выплыли сани, туго, с перекатом, уложенные добром.

Женщины сидели на тюках, как окоченевшие птицы. На веревке, привязанная за рога, шла корова. Воз проехал краем села и утонул в снежной, плоской пустыне. Ветер мял снизу и стонал в этой пустыне, рассыпая голубые валы. Жестяное небо стояло за ними. Алмазная сеть, блестя, оплетала небо.

Колывушка, глядя прямо перед собой, прошел по улице к сельраде. Там шло заседание нового колхоза «Видродження». За столом распластался горбатый Житняк.

— Перемена нашей жизни, в чем она есть, ця перемена?

Руки горбуна прижимались к туловищу и снова уносились.

— Селяне, мы переходим к молочно-огородному направлению, тут громаднейшее значение... Батьки и деды наши топтали чеботами клад, в настоящее время мы его вырываем. Разве это не позор, разве ж то не гоньба, что, существуя в яких-нибудь шестидесяти верстах от центрального нашего миста, мы не поладили господарства на научных данных? Очи наши были затворены, селяне, утикать мы утикали сами от себя... Что такое обозначает шестьдесят верст, кому это известно?.. В нашей державе это обозначает час времени, но и цей малый час есть человеческое наше имущество, есть драгоценность...

Дверь сельрады раскрылась. Колывушка в литом полушубке и высокой шапке прошел к стене. Пальцы Ивашки запрыгали и врылись в бумаги.

— Посбавленных права голоса, — сказал он, глядя вниз на бумаги, — прохаю залишить наши сборы...

За окном, за грязными стеклами, разливался закат, изумрудные его потоки. В сумерках деревенской избы в сыром

дыму махорки слабо блестели искры. Иван снял шапку, корона черных его волос развалилась.

Он подошел к столу, за которым сидел президиум, — батрачка Ивга Мовчан, голова Евдоким и безмолвный Адриян Моринец.

— Мир, — сказал Колывушка, протянул руку и положил на стол связку ключей, — я увольняюсь от вас, мир... — Железо, прозвенев, легло на почернелые доски. Из тьмы вышло искаженное лицо Адрияна.

— Куда ты пойдешь, Иване?..

— Люди не приймают, может, земля примет...

Иван вышел на цыпочках, ныряя головой.

— Номер, — взвизгнул Ивашко, как только дверь закрылась за ним, — самая провокация... Он за обрезом пошел, он никуда, кроме как за обрезом, не пойдет...

Ивашко застучал кулаком по столу. К устам его рвались слова о панике и о том, чтобы соблюдать спокойствие. Лицо Адрияна снова втянулось в темный угол.

— Не, — сказал он из тьмы, — мабуть не за обрезом, представник.

— Маю пропозицию... — вскричал Ивашко.

Предложение состояло в том, чтобы нарядить стражу у Колывушкиной хаты. В стражники выбрали Тымыша, виконавца. Гримасничая, он вынес на крыльцо венский стул, развалился на нем, поставил у ног своих дробовик и дубинку. С высоты крыльца, с высоты деревенского своего трона Тымыш перекликался с девками, свистал, выл и постукивал дробовиком. Ночь была лилова, тяжела, как горный цветной

камень. Жилы застывших ручьев пролегали в ней; звезда опустилась в колодцы черных облаков.

Наутро Тымыш донес, что происшествий не было. Иван ночевал у деда Абрама, у старика, заросшего диким мясом. С вечера Абрам протащился к колодцу.

— Ты зачем, диду Абрам?..

— Самовар буду ставить, — сказал дед.

Они спали поздно. Над хатами закурился дым; их дверь все была затворена.

— Смылся, — сказал Ивашко на собрании колхоза, — заплачем чи шо?.. Как вы мыслите, селяне?..

Житняк, раскинув по столу трепещущие острые локти, записывал в книгу приметы обобществленных лошадей. Горб его отбрасывал движущуюся тень.

— Чем нам теперь глотку запхнешь, — разглагольствовал Житняк между делом, — нам теперь все на свете нужно... Дождевиков искусственных надо, распашников надо пружинных, трактора, насосы... Это есть ненасытность, селяне... Вся наша держава есть ненасытная...

Лошади, которых записывал Житняк, все были гнедые и пегие, по именам их звали «Мальчик» и «Жданка». Житняк заставлял владельцев расписываться против каждой фамилии.

Его прервал шум, глухой и дальний топот. Прибой накатывался и плескал в Великую Старицу. По разломившейся улице повалила толпа. Безногие катились впереди нее. Невидимая хоругвь реяла над толпой. Добежав до сельрады, люди сменили ноги и построились. Круг обнажился среди них, круг вздыбленного снега, пустое место, как оставляют

для попа во время крестного хода. В кругу стоял Колывушка в рубахе навыпуск под жилеткой, с белой головой. Ночь посеребрила цыганскую его корону, черного волоса не осталось в ней. Хлопья снега, слабые птицы, уносимые ветром, пронеслись под потеплевшим небом. Старик со сломанными ногами, подавшись вперед, с жадностью смотрел на белые волосы Колывушки.

— Скажи, Иване, — поднимая руки, произнес старик, — скажи народу, что ты маешь на душе...

— Куда вы гоните меня, мир, — прошептал Колывушка, озираясь, — куда я пойду... Я рожденный среди вас, мир...

Ворчанье проползло в рядах. Разбрасывая людей, Моринец выбрался вперед.

— Нехай робит, — вопль не мог вырваться из могучего его тела, низкий голос дрожал, — нехай робит... чю долю он заест?..

— Мою, — сказал Житняк и засмеялся. Шаркая ногами, он подошел к Колывушке и подмигнул ему. — Цию ночку я с бабой переспал, — сказал горбун, — как вставать — баба оладий напекла, мы, как кабаны, нашамались с нею, аж газ пущали...

Горбун умолк, смех его оборвался, кровь ушла из его лица.

— Ты к стенке нас ставить пришел, — сказал он тише, — ты тиранить нас пришел белой своей головой, мучить нас — только мы не станем мучиться, Ваня... Нам это — скука в настоящее время — мучиться.

Горбун придвигался на тонких вывороченных ногах. Что-то свистело в нем, как в птице.

— Тебя убить надо, — прошептал он, догадавшись, — я за пистолью пойду, унистожу тебя...

Лицо его просветлело, радуясь, он тронул руку Колывушки и кинулся в дом за дробовиком Тымыша. Колывушка, покачавшись на месте, двинулся. Серебряный свиток его головы уходил в клубящемся пролете хат. Ноги его путались, потом шаг стал тверже. Он повернул по дороге на Ксеньевку.

С тех пор никто не видел его в Великой Старице.

Киносценарии и пьеса

КИТАЙСКАЯ МЕЛЬНИЦА

(Пробная мобилизация)

Часть первая

На вершине скирда; озаренный солнцем степной орел. Облака. Края их озарены закатывающимся солнцем. Саша Панютин, деревенский энтузиаст и изобретатель, устанавливает антенну на ободранной крыше бывшего барского дома. С крыши видно:

РОДИНА ЕГОРА ЖИВЦОВА — ДЕРЕВНЯ ПОВАРЕНШИНО.

Деревня, опоясанная лесами. Змеится и блестит река.

Неубранные поля, стога.

Панютин окончил работу — поставил антенну, вбил последний гвоздь.

Антенна, режущая перистые облака.

Зал бывшего барского дома — теперь изба-читальня.

Колонны, купидоны на резных ножках стола. Лицо одного из купидонов закрыто наполовину «Правдой».

На столе радиоприемник, устроенный в металлической коробке из-под пастилы, и громкоговоритель.

На скамьях — крестьяне, приготовившиеся услышать благую весть.

Большие заскорузлые руки крестьян.

Груды плугов в сарае.

Ручки плугов.

На другой скамье — комсомольцы, крутые вихры, смеющиеся глаза.

В разные стороны углов расходятся два ряда рук — молодых и старых.

Черевков — избач-комсомолец, рослый добродушный детина, у аппарата. Он поднял руку.

СЛУШАЙТЕ МОСКВУ, ГРАЖДАНЕ...

Московская радиостанция — кружево стальных перекладин.

Коробка из-под пастилы, детектор, рычажки. Рука Панютина двигает их.

В избе-читальне ряд деревенских старух, исполосованных морщинами.

За скамьями толпятся крестьяне.

Разодетые девки.

Парни с гармошкой.

На фоне стенной газеты сивый старик в лаптях, в меховой шкуре. Шкура тащится за ним, как за римским патрицием. Вдохновенный Черевков:

СЛУШАЙТЕ МОСКВУ, ГРАЖДАНЕ...

Крыши главной улицы в Москве. Лес антенн.

Старуха в латаной шали держит у уха трубку. Голова ее охвачена металлическим обручем.

ЗАГОВОРИЛА.

Большие капли пота потекли по старушечьему лицу. Большой театр в Москве. Сцена Большого театра. На трибуне оратор-китаец. Перед ним микрофон от радио.

МИТИНГ ПРОТЕСТА КИТАЙЦЕВ, ЖИВУЩИХ В МОСКВЕ, ПРОТИВ НАСИЛИЙ АНГЛИЧАН.

Переполненный китайцами театр.

Пятна света на скуластых лицах.

Цепь роговых очков.

Ряд студентов-китайцев в роговых очках.

Люстра Большого театра отражается в очках.

Оратор-китаец. Над ним статуя Ленина с протянутой рукой.

Свет блестит на бронзовой голове Ленина.

Сквозь восьмидесятилетние пальцы старухи металлическая трубка радио.

Смятенное лицо старухи.

ЧТОЙ-ТО БОЖЕСТВЕННОЕ ГОВОРЯТ, А ЧЕГО, НЕ ПОНЯТНО...

Старуха крестится.

Оратор-китаец.

Ряд дремучих деревенских бород.

В бороде застрял колос.

Руки китайцев на бархатной обшивке балкона.

Среди студентов — восторженно бушующий Живцов, секретарь комсомольской ячейки Повареншино. Он приехал делегатом на съезд Авиахима и завернул между делом на китайский митинг. Пиджак его, одетый на толстовку, распахнут. Вокруг тела вьется цепь от дедовских часов.

Он низенький, прыщавый, длинноволосый, в растрепанных больших сапогах. Грудь его разукрашена значками. Тут — КИМ и Авиахим, и Мопр, и О-во спасания на водах и многое другое.

Китаец на трибуне говорит очень горячо.

Живцов повторяет все жесты оратора.

ДОЛОЙ МИР-Р-РОВОЙ ИМПЕРИАЛИЗМ.

Кричит Живцов самозабвенно.

Раскрытый перекошенный рот Живцова и 32 неприкосновенных его зуба.

Сосед Живцова — студент-китаец — снимает очки, протирает их, близорукими радостными глазами смотрит на Живцова и протягивает ему руку.

Живцов и китаец со страстью трясут друг другу руки.

Московская улица. Густой пар из окна прачечной «Личный труд Су-Чи-Фо».

Из пара выплывает горка ослепительно выглаженного белья.

Солнечный луч пронизывает движущиеся столбы пара и ложится на белье.

Внутренность китайской прачечной. Китаец, голый до пояса, с клочковато-азиатской бороденкой стирает претенциозные дамские панталоны.

Над китайцем в золоченой раме олеография: «Ночь в Венеции».

По лицу гондольера текут слезы. Это — пар.

Стоянка аэропланов на берегу Москвы-реки.

Плакат: «Агитполеты для делегатов съезда Авиахима».

В кабинку самолета входят киргизы в халатах.

Пола цветистого халата над колесом самолета.

Старая китаянка — жена Су-Чи-Фо — гладит. Слезы падают на белье.

Она переглаживает.

Крылья летящего аэроплана.

В прачечную входит сын Су-Чи-Фо — студент, сосед Живцова по Большому театру.

Еще одна слеза на белье. Старуха переглаживает.

Су-Чи-Фо привязывает к чемодану новенький жестяной чайник.

Москва с аэроплана.

Су-Чи-Фо вынимает железнодорожный билет из сложных карманов жениной кофты и передает его сыну.

Железнодорожный билет — Москва-Чита-Маньчжурия.

Кружева, придавленные утюгом, трепещущая рука китаянки.

Восторженный Живцов в кабинке летящего самолета.

Снятая сверху Москва-река. Берега ее покрыты газетными листами.

Купальщики жарятся на солнце, читают газеты.

Живцов стучит пилоту.

> ОЧЕНЬ ЛЮБОПЫТНО, ТОВАРИЩ, ПРЯМО ОТОРВАТЬСЯ НЕ МОГУ, А ТОЛЬКО НАДО К ПОЕЗДУ, В ПОВАРЕНШИНО.

Самолет снижается.

Свисающие с гладильной доски кружева. Утюг в руке китаянки.

Слеза падает на утюг и кипит.

Отъезжающий сын Су-Чи-Фо прощается с отцом. Он берет руку, окруженную облаком мыльной пены.

Подходит к плачущей матери...

Самолет садится на землю…

Дверь открывается, выскакивает Живцов.

На плече у китаянки отпечаток руки сына из мыльной пены.

Колеса самолета.

Движущиеся колеса трамвая.

Костыли на ступеньках трамвая.

Движущиеся колеса автобуса.

Мощные колеса паровоза.

Сигнал: в руке железнодорожника три раза качнулся фонарик.

Колеса паровоза дрогнули, двинулись.

В тамбур вагона влетают вещи Живцова, а за ними и сам Живцов.

Живцов сталкивается в тамбуре со студентом-китайцем.

Работа стрелок. Множество рельс у большого Московского вокзала.

Живцов говорит:

ДАЛЕКО ЕДЕШЬ?

В одной руке китайца заграничный чемодан, в другой — жестяной чайник. Он отвечает:

В ХАНЬКОУ.

Пригородные строения плывут мимо поезда.

Работа стрелок (общий план).

Живцов прижимает к груди купленную им в Москве гармошку.

А Я В ПОВАРЕНШИНО... ПО ДОРОГЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.

Говорит он.

Китаец улыбается, обнажая ослепительные зубы.

Поезд набирает скорость.

В озеро воткнулась луна, колышутся камыши.

На середину озера выплывает какая-то птица.

Живцов и китаец на ступеньках летящего поезда.

Оживленная беседа.

Китаец рассказывает Живцову.

Ослепительно освещенный, размытый недавним ливнем крутой подъем в горах. Старый рикша, напрягаясь и дрожа, везет в гору коляску.

В коляске англичанин и бульдог.

Тонкие лакированные колеса вздрогнули и остановились. Рикша изнемог.

Затем колеса вновь поползли наверх, ползли медленно, трудно.

Китаец рассказывает.

Мимо поезда: русский пейзаж — река, облитая луной, убегая, изгородь поднимается по холму.

На ступеньках вагона китаец все рассказывает потрясенному Живцову о своей родине.

Хлев. Бочка с водой. Огни пробегающего поезда в воде.

Корова ломает их, пьет. Капли стекают с волосатых ее губ, и в каплях продолжают сверкать огни поезда.

Мучительное движение рикши вверх.

Часть вторая

Коровы в реке.

Над водой множество поднятых кверху коровьих морд, изнывающих от жары.

Поле. Зной. Пропылившееся стадо овец.

Овцы сунули морды под брюхо друг дружке.

Полдень. Жаркое солнце. Сонное царство Повареншино.

Вымершая базарная площадь, забросанная шелухой, обрывками сена, навоза.

Кооперативная лавка заколочена...

На двери замок...

На замке записка:

Я УШЕДЦИ ОБЕДАТЬ.

В запертой лавке боров тычется мордой в миску с хлебовом.

Прохожий человек в венгерке отрывает от записки уголок, свертывает собачью ножку, закуривает.

Струйка дыма тянется к слепящему кругу солнца.

Налетающий паровоз.

Захолустная станция. Мелькают станционные постройки.

Перрон, заставленный множеством бидонов от молока.

По перрону прогуливаются барышни местного «высшего общества».

У каждой из них по чувствительному изъяну — то нос велик, то ноги кривые, а то прыщи.

На станцию влетает поезд. Среди ободранных маленьких бараков он возвышается и трепещет прекрасной, сложной сверкающей горой.

Китаец прощается с Живцовым.

В СЛУЧАЕ ЧЕГО-НИБУДЬ В КИТАЕ — ПИШИ, БРАТ, ОБМОЗГУЕМ.

Говорит Живцов.

Китаец снимает с себя значок Гоминьдана, прикалывает его Живцову.

Егор мгновенно ощутил себя беспомощным бойцом под знаменем Гоминьдана.

Он срывает с себя заветную, купленную в Москве гармошку, сует ее китайцу. Тот пытается отказаться, но поздно, поезд уходит.

Мимо местных девиц в окне международного вагона проплывает англичанин.

Проплывает озадаченный китаец с большой гармонией в руках.

Коновязь у трактира «Свой труд второго разряда с подачей».

На фоне внутреннего вида трактира холмистая, ободранная поверхность деревенского бильярда с деревянными шарами.

Мужицкая рука раздавливает очищенное яйцо.

Склонившись над бильярдом, Ерема, мечтательный мужик с лысой головой, в бахроме апостольских волос...

...кормит яйцом выводок цыплят, расположившихся на бильярде.

В уголке бильярда остатки Ереминой трапезы.

Чайник стоит на трех шарах с затертыми номерами.

К трактиру подбежал бодрый Живцов, огрел сонную клячу...

...постучал в окно.

ЕРЕМА.

Ерема встрепенулся...

...выбежал из трактира.

Бильярд. От топота шагов один из шаров, стоявших под чайником, качнулся и упал в лузу.

Посреди базарной площади в пыли, разморившись, спит пьяный.

Собака чешется об него, как об косяк двери, зевает, укладывается.

Безмятежная русская равнина, исхлестанная кривыми дорогами.

По проселочной дороге, оживленно беседуя, трясутся Ерема и Живцов на телеге. Ее влечет громадная лошадь, похожая на верблюда. Она запряжена в крохотную телегу. О лошади этой надо сказать, что она престарелое, положительное существо, не одобряющее своего легкомысленного хозяина Ерему.

МЕЛЬНИЦУ-ТО ЯЧЕЙКА ПОЧИНИЛА?

Спрашивает Живцов у Еремы.

СОВА, БАЮТ, НА МЕЛЬНИЦЕ УТЯТ ВЫВЕЛА... ГДЕ ЕЕ ПОЧИНИТЬ...

Отвечает Ерема, помахивая бильярдным кием, к которому привязан ремешок, — получился кнут.

На площади валяется просмоленное бревно.

На нем выступили капли пота.

Базарная площадь.

Мужичонка, горькая беднота, доит лохматую коровенку, запряженную в телегу. Мужичонка напился, укладывается спать под телегу.

В сонное царство врывается Живцов.

Он огрел кнутом спящего посреди площади и собаку.

РАССПАЛИСЬ ТУТ БЕЗ МЕНЯ...

Орет Живцов, размахивая кием.

Спящий и собака завертелись, побежали.

Живцов барабанит в дверь запертой лавки.

Сторож избы-читальни, увидев в окно Живцова, заметался. Из лавки высовывается припухлое, в перьях лицо приказчика и сейчас же скрывается.

Бегство встревоженных кур.

Приказчик в запертой лавке судорожно снижает цены, он срывает этикетки...

...и переписывает и ставит цены на 10% ниже.

Живцов барабанит в дверь избы-читальни.

Испытанный сторож заводит граммофон.

Встревоженные куры перелетают через плетень.

Баба, задрав подол, бежит через площадь.

Вертящаяся пластинка граммофона.

Живцов размахивает кием:

РАССПАЛИСЬ, ЧЕРТИ.

Выдоенная корова несется вскачь.

На козлах испуганный мужик.

Навстречу корове и мужику движется нескончаемая цепь возов с зерном. Урожай, видимо, велик.

На одной телеге, куда зерно ссыпано без мешков, играют в сияющей под солнцем ржи два пузатых голых младенца.

Цепь возов пересекает базарную площадь.

ГОСПОДИ-БАТЮШКО… САМОГОНУ-ТО, САМОГОНУ-ТО СКОЛЬКО.

Умиленно говорит Ерема…

…оглядывая поток телег.

Играющие младенцы.

Зерно под солнцем.

А МОЛОТЬ К МИРОЕДАМ?

Кричит отчаявшийся Живцов.

ГОНИ НА МЕЛЬНИЦУ, ЕРЕМА…

Вертящаяся пластинка граммофона.

По дороге к мельнице во всю прыть несется телега Живцова.

Медленно величавое течение возов.

У Еремы лопнула постромка.

Он не замечает этого, нахлестывает свою лошадь.

На краю горизонта, у реки полуразрушенная мельница с ободранным колесом.

На чердаке мельницы — недвижимая сова.

ГОНИ, ЕРЕМА…

Кричит Живцов.

Перед мельницей мостки, которые вот уже четыре года как ненадежны. Телега подлетает к мосткам. Ерема крестится…

…телега взлетает на мост…

…доски подламываются…

...в воздухе мелькнуло крестное Еремино знамение.

Живцов, лошадь, телега падают в овраг.

Сова.

Оторвавшееся от телеги колесо катится по меже между двумя нескошенными полями.

Межа отделяет поле, на котором густая высокая стена волнующихся хлебов, от чахлой, плохо выделанной полосы.

Катящееся колесо.

ОПЫТНОЕ ПОЛЕ ПОВАРЕНШИНСКОЙ ЯЧЕЙКИ ВЛКСМ.

Жатва. На опытном поле колос густ, тяжел, высок.

Работают две американские косилки.

На одной из них избач Черевков.

На другой Панютин.

Комсомолки вяжут снопы.

«ОПЫТНОЕ» ПОЛЕ ГЕРАСИМА ЧЕРЕВКОВА.

Плохо возделанная полоса дала чахлый, редкий колос.

Герасим — азартный, трепетный мужичишка и...

...дед Черевков — дряхлый старик в посконной рубахе и широких штанах — жнут серпами.

Серп старика падает бессильно.

Жена Герасима — бойкая большая баба — вяжет снопы.

У СЫНА-ТО ПШЕНИЦЫ ПОПШЕНИСТЕЙ БУДЕТ.

Ехидно говорит она мужу.

Стена высоких хлебов и жалкие колосья Герасима.

Чистая размашистая работа косилок.

Старозаветный серп старика движется немощно. От натуги дед опрокидывается на спину, не может встать, только но-

гами сучит. Герасим, смотря на «работничка», плюет с досады.

Старуха ядовита...

А У СЫНА-ТО ПШЕНИЦЫ ПОПШЕНИСТЕЙ БУДЕТ.

Взбешенный Герасим бросил серп, перемахнул через межу.

...побежал к косилке, на которой работает сын, преградил ей путь.

ТЫ У ОТЦА РАБОТАЙ, СУКИН СЫН, А НЕ У ЧУЖИХ ЛЮДЕЙ.

ПОРОТЬ БУДУ.

Кричит он и хлопает себя по штанам.

Черевков, добродушнейший верзила, сгреб маленького отца, сунул его под мышку, продолжает работать.

Дед сидит на острых ягодицах, жует губами. Выцветшие его глаза слезятся. Старуха орет над ним.

С болтающейся, под мышкой у сына, ноги Герасима слетает лапоть.

К работающим косилкам приближается Ерема, несущий на плечах остатки своей телеги.

Чумазый, исцарапанный Живцов и меланхолическая Еремина лошадь, влачащая обломки оглобли, в которой запутался кий с ремешком.

Комсомольцы, завидев Живцова, бегут к нему.

Черевков, забыв об отце, бросает его.

ТЫ У ОТЦА РАБОТАЙ, СУКИН СЫН, А НЕ У ЧУЖИХ ЛЮДЕЙ.

Трепаный Герасим снова наскакивает на сына.

Межа разделяет два поля.

ТЫ У СЫНА РАБОТАЙ, ДУРЬЯ ТВОЯ ГОЛОВА — ТОЛК БУДЕТ...

Говорит Герасиму Живцов, поочередно степенно здороваясь за руки с комсомольцами.

Дед на земле.

Ряд колосьев, подрезанных косилкой.

Волнующаяся стена хлебов...

Впереди стада белоголовый пастух Тереша.

Налившиеся колосья бьют его по груди, по значку КИМа.

Пастух углубился в чтение арифметического задачника.

Страница арифметического задачника движется в высоких хлебах.

Часть третья

Комсомольская ячейка обмолачивает зерно, снятое с опытного поля.

Дружная работа молодых неистовых рук.

Полет снопов чертит радугу в закатном небе.

Взмахи рук.

Рубахи, прилипшие к потным спинам.

Парни, густо покрытые пылью, подают снопы.

Девки на крыше молотилки принимают снопы.

Девки пересмеиваются, толкаются, пересаливают свои снопы неумеренной деревенской шуткой.

Девушка, подающая снопы, не рассчитала движения.

Сноп ее перелетел через молотилку.

Она расхохоталась, выругалась.

К молотилке прибита кружка с надписью: «У целях культурной борьбы за матюкание — копейка золотом».

Девушки ухарски бросают копейку в кружку.

Мешки постепенно наполняются зерном, сыплющимся из молотилки.

Парни уносят мешки на потных мускулистых спинах.

На гигантском омете соломы:

Черевков.

С омета видна покойная русская равнина — скошенные поля, лесок, речка.

Солома подается Черевкову стальными тросами.

В проволоке горит и ходит солнце.

Пастух Тереша все учится. Он зарылся в золотую солому. Выписывает из книги задачу: 4 + 4 + 4 + 7 — будет, по мнению Тереши, 24.

Босоногие мальчишки верхами на жеребых кобылах возят к омету солому. Ноги их весело болтаются на оттопыренных лошадиных боках.

Мальчишки подвезли солому. Черевков подтягивает ее тросами и...

подгребает под ней прилежного Терешу с его задачником, тетрадкой и карандашиком.

У молотилки мешки, наполняющиеся зерном.

Деревенская церковь, превращенная в закром.

Парни сваливают туда мешки.

Церковь по самые брови Николая-угодника полна зерном.

Замусоленный флажок с буквами РСФСР.

Флажок этот прицеплен к локомобилю. Машинистом Панютиным.

Он возится у пылающей топки.

Буйный ход локомобильного колеса.

Мешки наполняются зерном.

Мальчонка лет десяти, опоясанный ремнем. На ремне висит сабля.

Едет на связке соломы наверх к Черевкову.

Подает ему повестку.

Повестка: Порядок дня Пленума Поваренщинской Сельской ячейки ВЛКСМ:

1) Международное положение в Китае — докладчик т. Живцов.

2) Электрификация водяной мельницы и по возможности всеобщее — докладчик т. Живцов.

3) Половая крайность в ячейке и уклон — докладчик т. Варя.

Мальчонка соскочил с омета и подал повестку Панютину.

Тот читает ее при свете горящей соломы.

Полет снопов в небе.

Мальчишка с саблей забрался к девкам на молотилку.

Девки черны от пыли, глаза и губы их сверкают, как у негров.

Они читают повестку с религиозной серьезностью.

Из первой части — мучительный нескончаемый подъем китайца рикши в гору.

У ободранного, сломанного мельничного колеса, у плотины, изрытой свиньями и наполненной всяческой деревенской

дрянью: скелетами животных, ведрами без донышек, истлевшими козырьками — Живцов.

Он склонился над китайским номером «Прожектора».

В дверях мельницы мечтает Ерема. Он кнутиком считает:

...летающих на небе галок.

Лошадь Еремы рвет с чужого дерева яблоки и поедает их.

Искаженное лицо Живцова над фотографией.

Деталь — лицо рикши, облитого потом.

Полет снопа.

ШАБАШ!..

Парни подают последний сноп. Место у молотилки, где работали комсомольцы, — опустело — ни одного человека. (При помощи наплыва.)

Комсомольцы, окончившие молотьбу, умываются у бочки. Вода становится чернее сажи, но в ней отражается солнце и смеющиеся лица.

Скирда. Круглый ров.

Стряпуха ставит большую миску щей.

В середине миски, в жирных щах плавает радужный круг солнца.

Деталь — восхождение рикши.

Склонившееся над фотографией лицо Живцова, сквозь сетку разметавшихся его волос видна страница журнала с изображением рабочих-китайцев, убитых в перестрелке с иностранными войсками.

Веселая трапеза комсомольцев, жующие рты, смеющиеся глаза, с ложек стекают сверкающие капли. Парни острят и...

...кружка по борьбе с матюканьем пляшет как угорелая.

Миска со щами опустела наполовину, но солнце в ней плавает по-прежнему.

На омете соломы вырастает Живцов.

Лицо его искажено печалью и вдохновением. Он вещает с омета:

У ТОЕ САМОЕ ВРЕМЯ, КОГДА…

Лицо рикши.

…КОГДА КИТАЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ЖДЕТ ВАШЕЙ ПОДМОГИ…

Набитый рот Тереши, остановившиеся его скулы, выпученные глаза.

Под столом девка толстой босой ногой толкает ногу парня.

Нога играет.

Живцов уходит глубже в солому. Речь его становится все грозней:

…КОГДА ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ ХВАТАЕТ ЗА ГОРЛО И НАХАЛЬНО МЕЛЕТ ПРОЛЕТАРСКУЮ ПШЕНИЦУ…

Комсомольцы отложили в сторону ложки.

Из кузницы выглянули два цыгана: один кузнец, другой цыган привел ковать лошадь.

Живцов до колена ушел в солому, он размахивает руками:

…КОГДА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАПИТАЛ НЕ ДОПУЩАЕТ НАС ВОССТАНОВИТЬ МЕЛЬНИЦУ…

Полукругом оставленные ложки.

Под столом девка толкает соседа. Нога парня недвижима.

Копыто лошади дергается в руке кузнеца.

Живцов по пояс ушел в солому. Пыль и солнце...

...КОГДА КИТАЙСКИЕ БРАТЬЯ ОБЛИВАЮТСЯ КРОВЬЮ...

Лицо рикши — страшное, голое, черное, круглое, как отполированный чугунный шар, по которому стекают потоки солнца и пота.

Комсомольцы встали, подошли к омету.

Молодые спины, молодые головы, крутые вихры.

В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ — ВЫ...

Разрезанный калач с изюмом.

Рикша упал и на четвереньках лезет, лезет прямо на Живцова. Лицо Живцова. Блуждающие глаза, вдохновение его ищет выхода, вдохновению его нужно прорваться, и оно прорывается.

А ПОТОМУ ОБЪЯВЛЯЮ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ЧЛЕНОВ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА МОБИЛИЗАЦИЮ НА ЗАЩИТУ КИТАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ДОБРОВОЛЬЦЫ, ПОДЫМАЙ РУКИ!

Руки комсомольцев взлетают кверху.

Саша Панютин поднимает искалеченную руку.

На небе, на пламенеющем облаке — рука Панютина с отрубленным пальцем.

Варя-комсомолка, вязавшая снопы, крепко целует свою соседку.

Лошадь вырвала копыто из рук кузнеца.

Цыган вскочил на подкованную лошадь и помчался.

Вокруг Живцова смыкается трясущийся веселый лес поднятых рук.

У комсомольцев такие лица, точно они дают клятву. А Живцов...

Живцов понял, что он совершил необыкновенный, совершенно неожиданный подвиг.

Он с каким-то недоумением, по пояс в соломе, отступает перед надвигающимися ликующими товарищами.

Ошалелый цыган скачет по деревенской улице. Ему навстречу две старухи с ведрами на коромысле. Одна старуха большая, другая маленькая.

ВОЙНА!

Крикнул им цыган и помчался дальше.

Маленькая старуха, облитая с головы до пят водой из ведра своей спутницы — большой старухи.

Клубы пыли по дороге за скачущим цыганом.

Часть четвертая

Ночь в Повареншине. Странная, многозначительная ночь.

В окнах мечутся огоньки.

Дым валит изо всех труб, расстилается по звездному небу.

Луг. Цветы колышутся под луной. По цветам скачет цыган на лошади.

Цветы под лошадиными копытами.

Костер тянется к небу.

У костра на опушке леса — цыганский табор.

Старик, озаренный пламенем костра, рассказывает молодежи историю о великих конокрадах и великих певцах.

Деревенское кладбище. Кресты, облитые луной.

Ерема поспешно копает.

Морда коня в пене.

Цыган подскакал к костру.

Вертясь на вспененной лошади, он кричит:

ВОЙНА!..

Из-под кибитки, обращенной к огню, лицо старой цыганки.

У табора, в лесу, в луже дождевой воды дрожит отражение молодого месяца.

На полу горы убогих деревенских сапог, требующих починки.

Тусклый жировичок освещает хату сапожника.

Он и дочка его, девочка лет десяти, работают лихорадочно.

Старческая рука и детская ручонка вперемежку, изо всех сил, стучат молотками по подметкам.

В окно просовывается чья-то рука, бросает на кучу сапог еще три пары громадных, как дома.

Девочка, у нее полон рот дратвы, поворачивает важное рабочее лицо.

В домах мечутся огоньки.

Карта Китая, освещенная колеблющимся светом свечи.

По карте ползает громадный палец.

Черевков, Тереша и еще один «доброволец» склонились над картой.

Черевков водит пальцем по карте. Он высказывает следующий стратегический план:

ЧЕРЕЗ СИЧЬЖЮУАН ПРЯМО НА ПЕКИН И МАХНЕМ...

Тереша склоняется к тому, чтобы действовать осторожней:

В ОБХОД ЕГО, ГАДА, ВЗЯТЬ.

Плачущая старуха Черевкова складывает пироги в сумку.

Сын, желая утешить старуху, берет ее в охапку, вертит во все стороны, пляшет с ней:

ОХ, МАМКА, ЗАВИНТИМ ДЕЛА.

Старуха пляшет, плачет и смеется.

Лицо деревенской знахарки.

В избе богатея.

Знахарка разлила по стаканам наговоренную настойку из мух, подает ее ужасающимся парням.

С МОЛИТВОЙ ВЫПЕЙ... ГОСПОДЬ, ГЛЯНЬ, НАУТРО И ВЫВЕРНЕТ... НИ НА КАКУЮ ВОЙНУ НЕ ПОЙДЕШЬ...

Знахарка с полным знанием дела плюет на все четыре стороны и шепчет заклинания.

Обезумевший от страха парень мечется, крестится и пьет.

Черевков все пляшет со своей плачущей и смеющейся старухой:

ОХ, МАМКА, ЗАВИНТИМ ДЕЛА.

Парень катается по полу...

...лицо его сведено судорогой, на губах пена.

Белоснежная модель Волховстроя, вырезанная вдохновенным ножиком Саши Панютина. Сквозь слюдяное оконце игрушечной электростанции пламень копеечной свечи.

Головы Живцова и Панютина сквозь оконце электростанции.

В комнате Живцова. Ободранная койка, этажерка с книгами, портфель, засохшие колосья. Только и хорошего в комнате, что пышная модель Волховстроя да полка с книгами.

Полка заставлена собраниями сочинений Ленина.

Корешки многочисленных ленинских книг.

С Живцовым Саша Панютин, твердо сознающий, что совершилось великое, но двусмысленное событие.

НАВИНТИЛ ТЫ, ЕГОР, ДЕЛОВ.

Говорит Панютин, тоскливо озирается.

Взор его падает на стул о трех ножках.

Вздыхая, он берет стул, примеряется к нему, принимается за работу.

Живцов и сам знает, что навинтил. В глубокой задумчивости он расхаживает по комнате.

Панютин чинит стул, вздыхает.

НАКРУТИЛ ТЫ, ЕГОР, ДЕЛОВ...

На деревенской колокольне юродивый бьет набат.

Цыганский табор, играя огоньками кибиток, переходит реку.

Место, оставленное табором. Вбитые колышки, навоз, тлеющие остатки костра.

На кладбище Ерема роет изо всех сил.

Обильная неисчерпаемая шевелюра Живцова. В ней медленно шевелятся призадумавшиеся, нерешительные его пальцы.

НАКРУТИЛ ТЫ ДЕЛОВ, ЕГОР...

Говорит Панютин, увлеченный починкой стула.

Корешки книг Ленина.

Живцов нерешительно подходит к этажерке, берет книгу, раскрывает.

Титульный лист. Портрет Ленина, прищурившегося, лукавого.

Склонившаяся над портретом голова Живцова, разметавшиеся обильные его волосы.

В сарае, изборожденном лунными полосами, махонький, пьяненький Герасим Черевков. Роется в сбруе, выискивает вожжу.

В избу Черевкова вламывается махонький, трепаный отец.

Наскакивает на большого сына, замахивается вожжой.

ЧИЧАС ПОРОТЬ ТЕБЯ БУДУ ЗА ЭТИ ДЕЛА.

Верзила сын бережно усаживает пьянчужку на лавку, сует ему пирог.

Мужичонка, не выпуская вожжи, ест обиженно, с некоторым восторгом, проистекающим оттого, что очень уж необыкновенные события.

Медленно листается ленинская книга.

Свет падает на юмористическое лицо Панютина.

ВОТ ЕЖЕЛИ СЕКРЕТАРЬ СЕЛЬЯЧЕЙКИ КЛСМ ОБЪЯВЛЯЕТ ВСЕОБЩУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ — ЧТО ТОГДА ДЕЛАТЬ?

Говорит Панютин.

Сконфуженные пальцы Живцова в шевелюре.

Лукавое, прищуренное лицо Ленина.

Медленно листается книга.

Лицо Живцова над переворачивающимися страницами.

Панютин, мурлыча песенку, пристраивает к стулу четвертую ножку.

Страница перевернулась, легла. Здесь должна начаться выписка из Ленина, которую можно отнести к необычайному происшествию в Повареншино.

Выписка.

На полатях в избе Черевкова лежит в овчинах дряхлый дед.

Он тоже требует себе пирогов. Внук подает ему.

Выписка из Ленина.

Светлеющее лицо Живцова.

Дед на полатях жует пироги. Горох сыплется по овчине. Лошадь Еремы бродит по селу, стучится в окна, ищет хозяина.

Окошко приоткрывается, ей кричат:

НЕТУ ЕРЕМЫ, ПРОВАЛИВАЙ...

И она идет дальше.

Ерема выкопал из могилы что-то длинное, завернутое в рогожу.

Он очень доволен, вытирает рукой пот.

К нему приближается костлявая подруга лошадь, волочащая оглоблю. Она наконец нашла его.

Лошадь устремляет на хозяина укоризненный взор — шальной ты, мол, Ерема, несерьезный человек.

Она берет его зубами за ворот, тащит.

ИДУ, ИДУ.

Бормочет сконфуженный Ерема.

Живцов закрывает книгу и медленно приподнимает лицо, озаренное внезапно счастливой, все разрешающей мыслью.

Модель Волховстроя. Сквозь слюдяное оконце лицо Живцова.

Панютин ставит на пол стул, прочно стоящий на всех 4-х.

Четыре ножки стула.

Среди цветов, в луже дождевой воды дрожит молодой месяц.

На фоне побледневшего неба дымятся повареншинские трубы.

Часть пятая

Небо. Рассвет.

Петух влетает на забор, закукарекал.

Петушиная нога со шпорой.

Лапоть со шпорой.

Тереша, обутый в лапоть со шпорой, идет по дороге.

Впереди Терешиного стада новый пастух — старый, прокуренный, грязный.

Вброд по реке переправляется необозримая цепь телег.

Река бурлит, сияет, льется между колесами.

На телеге, ушедшей в воду, девки и мужики. Девичьи ленты летят по ветру.

Цветы плывут по реке.

Три парня, распевая, обнявшись за плечи, идут «являться» на сборный пункт. Они увешаны оружием и гармошками. На краю горизонта, по кривым дорогам, текут толпы крестьян.

Ребят поприбавилось. Их пятеро.

Они стучат в окно к богатеям.

ВЫХОДИ, МАКСИМКА... ЯВЛЯТЬСЯ НАДО.

В запертой горнице — распростертый на полу — кулацкий сын.

Мертвенно искаженное его лицо.

Парни идут дальше, их уже семь.

У закрытой винной лавки...

Плакат: «По случаю гражданской войны в Китае продажа русской горькой закрыта на 3 дня».

На фоне плаката блаженно пьяные трепаные головы отца и деда Черевковых.

И ЭХ ЖЕ ТЫ, РАССЕЯ, ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА.
ДА ЭХ ЖЕ ТЫ, РАССЕЯ, ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА.

Черевковы пляшут самозабвенно.

С холма текут толпы людей. Великое переселение поваренщинских народов.

В толпе два гиганта крестьянина, похожи друг на друга, верно, братья.

АЛЬ ПОМЕЩИКУ ОТДАВАТЬ.

Говорит один из них, указывая на...

Расстилающуюся перед ними прекрасную необозримую Россию.

НЕ ОТДАДИМ.

Отвечает другой.

Четыре твердо идущих ноги в лаптях.

Старуха Черевкова дает сыну крестик. Парень сконфужен, отказать трудно, а взять незачем.

ЖИТЕЛЕЙ-ТО КИТАЙСКИХ ГЛЯДИ НЕ ОБИЖАЙ...
ЦЫБИК ЧАЮ ВОЗЬМЕШЬ И ДОВОЛЬНО С ТЕБЯ.

Наказывает старуха сыну.

Парень незаметно прячет крестик за голенище.

Всю улицу заняли поющие, обнявшиеся за плечи парни.

Их уже не семь, а пятнадцать.

Цветы плывут по реке. ЗТМ <затемнение>.

Разукрашенный всеми мыслимыми значками Егор с портфелем в руках, в папахе шествует к мельнице, к сборному пункту.

За ним движется построившееся в ряды неисчислимое воинство.

Тут и комсомольцы со знаменем, и охотничьими ружьями, и гармошкой.

Тут и деревенская бородатая пехота в лаптях, опутанная воющими бабами,

орущими младенцами,

лающими собаками.

Тут и кавалерия, пять лесных объездчиков в германских касках, оставшихся со времен великой войны.

Живцов взошел на холм, величественно вздел руку.

Воинство онемело.

Все глаза впились в главнокомандующего Егора.

Сквозь ряды пробирается запыхавшийся Ерема. В руках его завороченный в рогожу предмет, выкопанный им на кладбище. Он с размаху ставит его перед Живцовым, разворачивает — оказывается, пулемет.

ВОСЕМЬ ЛЕТ ДЕРЖАЛ — ЖЕРТВУЮ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.

Истекая восторженными словами, говорит Ерема.

Воинство сделало на караул.

Цыган скачет по улице заштатного города.

НАЧАЛЬНИК N-СКОЙ УЕЗДНОЙ МИЛИЦИИ В РАЗГАРЕ МИРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Двор милиции в заштатном городке.

Начальник в галошах на босу ногу, в галифе со штрипками стрижет овцу.

Во двор влетает цыган.

ВОЙНА!

Орет он, вертясь на лошади и докладывая…

пораженному начальнику о начавшихся в соседней волости военных действиях против милитаристов, засевших в Шанхае.

Живцов у мельницы на вершине холма.

Ерема ласкает пулемет.

Живцов поднял руку:

ГРАЖДАНЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ, НОЧЬЮ ИМЕЛ СВЯЗЬ СО ВЦИКОМ… КИТАЙСКИЕ БРАТЬЯ САМОСИЛЬНО УПРАВЛЯЮТСЯ… ОПРЕДЕЛЕННО ВЦИК СССР ПРЕДЛАГАЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ТЕКУЩИМИ ДЕЛАМИ — ПОЧИНИТЬ МЕЛЬНИЦУ НА 100% ЗАДАНИЯ.

Собака Тереши зевнула, помахала хвостом, отошла.

Разочарованный Ерема переводит глаза с…

…пулемета на Егора…

…с Егора на пулемет…

Группа светлеющих старушечьих лиц.

Ряд комсомольских лиц, игра их: сначала изумление, потом усмешка.

ПЕРЕХИТРИЛ... РЯБОЙ ЧЕРТ...

В сарае Панютин возится с инструментами: лопатами, топорами, пилами, мешками с песком.

Тереша с восторгом отвязывает от лаптей шпоры и прячет их в карман.

ПЕРЕХИТРИЛ... ИВАНЫЧ.

Варя кричит Тереше:

ЗАЧЕМ ПРЯЧЕШЬ... ВЫБРАСЫВАЙ.

Тереша отвечает:

АВОСЬ ПРИГОДИТСЯ...

Шпора оттопыривает карман Тереши.

Черевков опрометью кидается к матери.

ПОЛУЧАЙТЕ, МАМАША...

Он отдает старухе крестик, наконец-то избавился.

Возмущенный Ерема, сопровождаемый пьяненьким Герасимом Черевковым, тащит прочь пулемет.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖОН Я СЕГОДНЯ КОГО-НИБУДЬ ПОБЕДИТЬ.

Орет Ерема.

ТЕКУЩИЕ ДЕЛА ВЦИКА СССР.

Раскрытый сарай возле мельницы. Комсомольцы разбирают инструменты: лопаты, топоры, пилы, тачки.

По дороге верхом скачут милиционеры, предводительствуемые начальником.

Недостриженная овца.

На дне оврага сидят Ерема и Герасим.

Пробуют пулемет.

Пули чертят отвесно стоящие стены оврага.

ТЕКУЩИЕ ДЕЛА ВЦИКА СССР.

Взмах лопат.

Взмах рук.

Взмах лопат.

Взмах рук.

Сыплющаяся земля.

Дружная работа комсомольцев на плотине.

Шпора порезала Терешин карман и вышла наружу.

Горка гармоний, отложенных в сторону.

Горка оружий, отложенных в сторону.

Взмахи лопат.

Взмахи рук.

Стройка на мельнице — пыль столбом — топот.

В столбах пыли неистовый Живцов.

Тонкая струйка воды втекает в грязный пруд.

Милиция применяет тонкий стратегический маневр, окружает овраг, где стрелял Ерема.

Милиционеры ползут на животах с ружьями наперевес.

Обнявшись с пулеметом и друг с дружкой, в овраге глубоким сном спят Ерема и его соратники.

Милиционеры с ружьями наперевес подползли к краю оврага.

Кидаются на спящего Ерему.

Ерема, погребенный под горой барахтающихся милиционеров.

У-Р-Р-Р-А!

Кричит проснувшийся, не понимающий, в чем дело, Ерема.

ТЕКУЩИЕ ДЕЛА ВЦИКА СССР.

Черевков прибивает к ободранному мельничному колесу новые тесины.

Плотина все растет, мешки с песком падают в воду.

Работа внутри мельницы.

Потревоженная сова...

...вылетает из мрачного своего убежища.

Дуло ружья — выстрел.

Приток реки, ранее текший в сторону, повернул к пруду.

Все усиливающаяся струя воды втекает в пруд.

Гнилушки, горы тряпья, всякая деревенская дрянь — всплывает на поверхность, показывается чистая вода.

Лошадь Еремы стоит над потоком, ждет, когда схлынет грязная вода, — дождалась, начала пить.

Вода поднялась — пруд полон.

Живцов поднимает заслонку.

На колесо мельницы, покрытой вперемежку со старыми свежими тесинами, падает блещущая вода. Колесо ожило, двинулось, пошло.

Убитая сова. ЗТМ <затемнение>.

ТЕКУЩИЕ ДЕЛА ВЦИКА СССР.

Починенные, вращающиеся жернова.

Бегущее колесо, на солнце блещет стекающая вода.

Мука сыплется с жерновов.

Из церкви, превращенной в закром, крестьяне уносят на мельницу зерно.

Николай-угодник постепенно открывается.

И ЭХ ТЫ, РАССЕЯ, ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА.

Отец и дед Черевковы пляшут.

Мука течет с жерновов.

Деревенская улица. В рядах старых соломенных крыш горит под солнцем одна новая.

Цветы плывут по реке.

Сквозь бегущее колесо, сквозь струи воды — усталые, потные, веселые лица комсомольцев.

К о н е ц

Мария

Пьеса в 8 картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Муковнин Николай Васильевич.
Людмила — его дочь.
Фельзен Катерина Вячеславовна.
Дымшиц Исаак Маркович.
Голицын Сергей Илларионович — бывший князь.
Нефедовна — нянька в доме Муковнина.
Евстигнеич, Бишонков, Филипп — инвалиды.
Висковский — бывший ротмистр гвардии.
Кравченко.
Мадам Дора.
Надзиратель — в милиции.
Калмыкова — горничная в номерах на Невском, 86.
Агаша — дворничиха.
Андрей, Кузьма — полотеры.
Сушкин.
Сафонов — рабочий.
Елена — его жена.
Нюшка.
Милиционер.

П ь я н ы й — в милиции.
К р а с н о а р м е е ц — с фронта.

Действие происходит в Петрограде, в первые годы революции.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Номера на Невском. Комната Дымшица — грязно, нагромождение мешков, ящиков, мебели. Два инвалида, Б и ш о н к о в и Е в с т и г н е и ч, раскладывают привезенные продукты. У Евстигнеича — тучного человека с большим красным лицом — выше колен отняты ноги. У Бишонкова зашпилен пустой рукав. На груди у инвалидов — медали, георгиевские кресты. Д ы м ш и ц бросает на счетах.

Е в с т и г н е и ч. Дорогу всю расшлепали… Зандберг был на Вырице, людям жить давал, — убрали.

Б и ш о н к о в. Слишком тиранят, Исаак Маркович.

Д ы м ш и ц. А Королев есть?

Е в с т и г н е и ч. Зачем «есть», — коцнули. Дорогу как есть расшлепали, все заградиловки новые.

Б и ш о н к о в. Слишком стало затруднительно с продуктовым делом, Исаак Маркович. К одной заградиловке привыкнешь, а ее уже нет. Хоть бы отбирали, а то ведь смерть к глазам приставляют.

Е в с т и г н е и ч. Ума не дашь… Кажный день изобретение делают… Подъезжаем нонче к Царскосельскому —

стрельба. Что такое?.. Думаем — власть отошла, а они это моду такую взяли — допрежде всякого разбору бахать.

Б и ш о н к о в. Большое богатство продуктов нонешний день отобрали. Деткам, говорят, пойдет... В Царском Селе в настоящее время одни дети — колония считается.

Е в с т и г н е и ч. Деткам, да с бородой.

Б и ш о н к о в. А если я голодный, неужели ж я себе не возьму? Обязательно я себе возьму, если я голодный.

Д ы м ш и ц. Где Филипп? Я о Филиппе думаю... Зачем вы человека бросили?

Б и ш о н к о в. Мы его, Исаак Маркович, не бросали: он чувства свои потерял.

Е в с т и г н е и ч. Водит его кто-нибудь...

Б и ш о н к о в. Одно слово — тиранство, Исаак Маркович.

Е в с т и г н е и ч. Того же Филиппа взять: мужчина рослый, заметный, а внутренности нет, внутренность слабая... Подъезжаем к вокзалу — стрельба, народ плачет, падает... Я ему говорю: «Филипп, говорю, мы форткой на Загородный пройдем, там вся цепочка своя». А уж он не тот, потерялся. «Я, говорит, опасываюсь идти». — «Ну, говорю, опасываешься, — сиди... Спиртонос — божий человек, только в морду дадут, чего тебе бояться? На тебе один пояс с вином...» А его уж к полу привалило. Мужчина сильный, лошадиная сила, а внутренность не та.

Б и ш о н к о в. Мы так надеемся, Исаак Маркович, — отыщется. За ним следу большого нет.

Д ы м ш и ц. Почем колбасу брали?

Б и ш о н к о в. Колбасу, Исаак Маркович, по восемнадцать тысяч брали, да и похужело. В настоящее время что Витебск, что Петроград — один завод.

Е в с т и г н е и ч *(открывает в стенке потайное место, переносит туда продукты)*. Подравняли Расею.

Д ы м ш и ц. Крупа почем?

Б и ш о н к о в. Крупа, Исаак Маркович, девять тысяч, а слово напротив скажешь — не бери. Торговлей никак не интересуются. Он того только и ждет, чтобы тебе не понравилось. Такой кураж у этих купцов пошел — не передать!

Е в с т и г н е и ч *(прячет в стену хлебы)*. Супруги сами хлебы пекли, свои труды клали... Кланяться велели.

Д ы м ш и ц. Дети как — живы, здоровы?

Б и ш о н к о в. Дети живы, здоровы, очень благополучны. Одеваны в шубки, богатые детки... Супруга приехать просят.

Д ы м ш и ц. Больше делать нечего... *(Бросает на счетах.)* Бишонков!

Б и ш о н к о в. Я.

Д ы м ш и ц. Не вижу пользы, Бишонков.

Б и ш о н к о в. Слишком затруднительно стало, Исаак Маркович.

Д ы м ш и ц. Расчету не вижу, Бишонков.

Б и ш о н к о в. Расчету, Исаак Маркович, никак не видать... У нас с Евстигнеичем такая думка, что надо на другой товар перекидаться. Продукт — он вещество громоздкое: мука — она громоздкая, крупа — громоздкая, ножка телячья — тоже громоздкая. Надо, Исаак Маркович, на другое перекидаться — на сахарин или, там, на камешки...

Бриллиант — это прелестное вещество: за щеку положил — и нету.

Д ы м ш и ц. Филиппа нет... Я об Филиппе думаю.

Е в с т и г н е и ч. Пожалуй, покалечили.

Б и ш о н к о в. И то сказать, — инвалид по восемнадцатому году фирма была, а в настоящий момент...

Е в с т и г н е и ч. Куда тебе, — образовались! Раньше у народа перед инвалидами совести не хватало, а теперь — ноль внимания. «Ты зачем инвалид?» — спрашивают. «У меня, говорю, бризантный снаряд обе ноги отобрал». — «А в этом, говорят, ничего такого особенного нет, у тебя, говорят, без страдания оторвало, сразу... Ты, говорят, страдания не принимал». — «Как это, говорю, страдания не принимал?» — «А так, говорят, известная вещь: тебе ноги под хлороформом подравняли, ты ничего и не слыхал. У тебя только с пальцами недоразумение, пальцы у тебя вроде стремят, чешутся, хотя они и отобраны, и больше ничего такого с тобой нет». — «Как ты, говорю, можешь это знать?» — «А так, говорит, — народ, слава те филькиной сучке, образовался». — «Видно, образовался, если инвалида с поезда скидает... Зачем ты, говорю, меня на путь скидаешь? Я калека...» — «А потому и скидаем, что нам в Расее, говорит, на калек глядеть обрыдло». И скидает, как поленницу... Я, Исаак Маркович, очень на наш народ обижаюсь.

Входит В и с к о в с к и й — в бриджах, в пиджаке. Рубаха расстегнута.

Д ы м ш и ц. Это вы?

В и с к о в с к и й. Это я.

Д ы м ш и ц. А где здравствуйте?

В и с к о в с к и й. Людмила Муковнина приходила к вам, Дымшиц?

Д ы м ш и ц. Здравствуйте собака съела?.. А если приходила, так что?

В и с к о в с к и й. Кольцо Муковниных у вас, я знаю, Мария Николаевна передать его вам не могла…

Д ы м ш и ц. Передали мне люди, не обезьяны.

В и с к о в с к и й. Как попало к вам это кольцо, Дымшиц?

Д ы м ш и ц. Люди дали, чтоб продать.

В и с к о в с к и й. Продайте мне.

Д ы м ш и ц. Почему вам?

В и с к о в с к и й. Пытались вы когда-нибудь быть джентльменом, Дымшиц?

Д ы м ш и ц. Я всегда джентльмен.

В и с к о в с к и й. Джентльмены не задают вопросов.

Д ы м ш и ц. Люди хотят валюту за кольцо.

В и с к о в с к и й. Вы должны мне пятьдесят фунтов.

Д ы м ш и ц. За какие такие дела?

В и с к о в с к и й. За дело с нитками.

Д ы м ш и ц. Которые вы просыпали…

В и с к о в с к и й. В конной гвардии нас не учили торговать нитками.

Д ы м ш и ц. Вы просыпали потому, что вы горячий.

В и с к о в с к и й. Дайте срок, маэстро, я научусь.

Д ы м ш и ц. Что за учение, когда вы не слушаетесь? Вам говорят одно, вы делаете другое… На войне вы там ротмистр

или граф, — я не знаю, кто вы там, — может быть, на войне нужно, чтобы вы были горячий, но в деле купец должен видеть, куда он садится.

В и с к о в с к и й. Слушаю-с.

Д ы м ш и ц. Я серчаю на вас, Висковский, я еще за другое на вас серчаю. Что это был за номер с княжной?

В и с к о в с к и й. Задумано, как побогаче.

Д ы м ш и ц. Вы знали, что она девушка?

В и с к о в с к и й. Самый цимис...

Д ы м ш и ц. Так вот, этого цимиса мне не надо. Я маленький человек, господин ротмистр, и не хочу, чтобы эта княжна приходила ко мне, как божья матерь с картины, и смотрела на меня глазами, как серебряные ложки... О чем шел разговор? — спрашиваю я вас. Пусть это будет женщина под тридцать, мы говорили, под тридцать пять, домашняя женщина, которая знает, почем пуд лиха, которая взяла бы мою крупу и печеный хлеб и четыреста граммов какао для детей — и не сказала бы мне потом: «Паршивый мешочник, ты меня запачкал, ты мною воспользовался».

В и с к о в с к и й. Про запас остается младшая Муковнина.

Д ы м ш и ц. Она врунья. Я не люблю женщину, когда она врунья... Почему вы меня со старшей не познакомили?

В и с к о в с к и й. Мария Николаевна уехала в армию.

Д ы м ш и ц. Вот это был человек — Мария Николаевна, вот тут было на что посмотреть, с кем поговорить... Вы дождались того, что она уехала.

В и с к о в с к и й. Со старшей это сложно, Дымшиц. Это очень сложно.

Е в с т и г н е и ч. «Тебя, говорит, без страху убило, ты, говорит, отмучился», — вон ведь как он меня обеспечил...

Отдаленный выстрел, потом ближе; выстрелы учащаются. Дымшиц гасит свет, запирает двери на ключ. Свет из окна, зеленые стекла, мороз.

(*Шепотом.*) Житуха...

Б и ш о н к о в. Окаянство!

Е в с т и г н е и ч. Все матросня орудует...

Б и ш о н к о в. Никак жизни нет, Исаак Маркович!

Стук в дверь. Молчание. Висковский вынимает револьвер из кармана, открывает предохранитель. Снова стук.

Кто там?

Ф и л и п п *(за дверью)*. Я.

Е в с т и г н е и ч. Голос дай... Кто это я?

Ф и л и п п. Откройте.

Д ы м ш и ц. Это Филипп.

Бишонков открывает дверь. В комнату проникает бесформенное огромное существо. Вошедший приваливается к стене, молчит. Вспыхивает свет. Половина Филиппова лица заросла диким мясом. Голова его упала на грудь, глаза закрыты.

В тебя стреляли?

Ф и л и п п. Не.

Е в с т и г н е и ч. Наморился, Филипп?

Евстигнеич с Бишонковым снимают с Филиппа тулуп, верхнюю одежду, вытаскивают из-под нее резиновый костюм, бросают его на пол. Безрукий резиновый человек — второй Филипп — распростерт на полу. Пальцы Филиппа изрезаны, кровоточат.

Оборудовали как следует быть... Человеки зовемся...

Ф и л и п п *(голова его все свалена на грудь)*. По следу... по следу шел...

Е в с т и г н е и ч. Он шел?

Ф и л и п п. Он.

Е в с т и г н е и ч. В крагах?

Ф и л и п п. Он.

Е в с т и г н е и ч. Таперича взялись...

Д ы м ш и ц. До дому довел?

Ф и л и п п *(с трудом выговаривая слова)*. До дому не довел... Стрельба перехватила, на стрельбу пошел...

Бишонков с Евстигнеичем подхватывают раненого, укладывают его.

Е в с т и г н е и ч. Я тебе сказывал — воротами пройдем...

Филипп стонет, охает. Вдалеке выстрелы, пулеметная очередь, потом тишина.

Житуха...

Б и ш о н к о в. Окаянство!..

В и с к о в с к и й. Где кольцо, маэстро?

Д ы м ш и ц. Приспичило с кольцом, горит под вами...

КАРТИНА ВТОРАЯ

Комната в доме Муковнина, служащая одновременно спальней, столовой, кабинетом, — комната 20-го года. Стильная старинная мебель; тут же «буржуйка», трубы протянуты через всю комнату; под печкой сложены мелко наколотые дрова. За ширмой одевается, перед тем как ехать в театр, Людмила Николаевна. На лампе греются щипцы для завивки волос. Катерина Вячеславовна гладит платье.

Людмила. Сударыня, ты отстала... В Мариинке теперь очень нарядная публика. Сестры Крымовы, Варя Мейендорф — все одеваются по журналу и живут превосходно, уверяю тебя.

Катя. Да кто теперь хорошо живет? Нет таких.

Людмила. Очень есть. Ты отстала, Катюша... Господа пролетарии входят во вкус: они хотят, чтобы женщина была изящна. Ты думаешь, твоему Редько нравится, когда ты ходишь замарашкой? Ничуть не нравится... Господа пролетарии входят во вкус, Катюша.

Катя. На твоем месте я бы ресниц не делала, и это платье без рукавов...

Людмила. Сударыня, вы забываете — я с кавалером.

Катя. Кавалер, пожалуй, не разберет.

Людмила. Не скажи. У него свой вкус, темперамент...

Катя. Рыжие горячи — это известно.

Людмила. Какой же он рыжий, мой Дымшиц? Он шоколадный.

К а т я. И правда — у него так много денег?.. Висковский, по-моему, бредит.

Л ю д м и л а. У Дымшица шесть тысяч фунтов стерлингов.

К а т я. Все на калеках нажил?

Л ю д м и л а. Ничего не на калеках… Вольно же было другим додуматься. У них артель, складчина. Инвалидов до сих пор не обыскивали, легче было провезти.

К а т я. Нужно быть евреем, чтобы додуматься…

Л ю д м и л а. Ах, Катюша, лучше быть евреем, чем кокаинистом, как наши мужчины… Один, смотришь, кокаинист, другой дал себя расстрелять, третий в извозчики пошел, стоит у «Европейской», седоков поджидает… Par le temps qui court* евреи вернее всего.

К а т я. Да уж вернее Дымшица не найти.

Л ю д м и л а. И потом, мы бабы… Katy, мы простые бабы, вот как дворникова Агаша говорит, «трепаться надоело». Мы не умеем быть неприкаянными, правда же, не умеем…

К а т я. И детей родишь?

Л ю д м и л а. Рожу двух рыженьких.

К а т я. Значит — законный брак?

Л ю д м и л а. С евреями иначе нельзя, Катюша. Они страшно семейственны, жена у них советчица, над детьми они трясутся… И потом — еврей всегда благодарен женщине, которая ему принадлежала. Поэтому — эта благородная черта — уважение к женщине.

---

* В наше время (*фр.*).

К а т я. Да ты откуда евреев так знаешь?

Л ю д м и л а. Ну вот — «откуда». Папа в Вильне корпусом командовал, там все евреи... У папы приятель раввин был... Они все философы — их раввины.

К а т я *(подает через ширму разглаженное платье)*. После театра — ужин?

Л ю д м и л а. Не исключено.

К а т я. Конечно, вы выпьете, Людмила Николаевна, порыв страсти, все потонуло в тумане...

Л ю д м и л а. Пальцем в небо, сударыня!.. Манеж будет продолжаться месяц, два месяца — с евреями так надо. Еще даже не решено, будут ли поцелуи...

Входит г е н е р а л в валенках: шинель на красной подкладке переделана в халат; две пары очков.

М у к о в н и н *(читает)*. «...Октября шестнадцатого дня тысяча восемьсот двадцатого года, в царствование благословенного императора Александра, рота лейб-гвардии Семеновского полка, забыв долг присяги и воинского повиновения начальству, дерзнула самовольно собраться в позднее вечернее время...» *(Подымает голову.)* В чем же оно выразилось — забвение присяги? Выразилось оно в том, что люди вышли в коридор после переклички и решили просить у командира роты отмены очередного смотра по десяткам на дому... у командира полка бывали и такие смотры. За это, за так называемый бунт, было определено наказание... какое? *(Читает.)* «...Нижних чинов, признанных зачинщиками,

лишить живота, людей первой и второй рот, подавших пример беспорядка, наказать виселицей, рядовых, помянутых в параграфе третьем, в пример другим, прогнать шпицрутенами сквозь батальон по шести раз...»

Л ю д м и л а. Разве это не ужасно?

К а т я. Кто же спорит, что прежде было много жестокого?

Л ю д м и л а. По-моему, большевики должны ухватиться за папину книгу. Им же выгодно, чтобы бранили старую армию.

К а т я. Они все требуют к текущему моменту.

М у к о в н и н. Я разбиваю семеновскую трагедию на две главы. Первая — исследование причин мятежа, вторая — описание бунта, истязаний, отсылки в рудники... История моя будет история казармы, — не перечень народов, а судьба всех этих Сидоровых и Прошек, отданных Аракчееву, сосланных на двадцатилетнюю военную каторгу.

Л ю д м и л а. Папа, ты должен прочитать Кате главу об императоре Павле. Если бы жил Толстой, он оценил бы, я уверена.

К а т я. В газетах все требуют к настоящему моменту.

М у к о в н и н. Без познания прошлого — нет пути к будущему. Большевики исполняют работу Ивана Калиты — собирают русскую землю. Мы, кадровые офицеры, нужны им хотя бы для того, чтобы рассказать о наших ошибках...

Звонок. Возня в прихожей. Входит Д ы м ш и ц с пакетами, в шубе.

Д ы м ш и ц. Здравия желаю, Николай Васильевич! Здравия желаю, Катерина Вячеславна! Людмила Николаевна в доме?

К а т я. Ждет вас.

Л ю д м и л а *(из-за ширмы)*. Я одеваюсь…

Д ы м ш и ц. Здравия желаю, Людмила Николаевна! На улице такая погода, что хороший хозяин собаку не выпустит… Меня привез Ипполит, наговорил полную голову, все шиворот-навыворот, — такого типа поискать надо… Мы не опоздаем, Людмила Николаевна?

М у к о в н и н. На улице белый день, а они в театр.

К а т я. Николай Васильевич, театры теперь начинают в пять часов дня.

М у к о в н и н. Электричество экономят?

К а т я. Во-первых, электричество. Потом, если поздно возвращаться, — разденут.

Д ы м ш и ц *(раскладывая пакеты)*. Маленький окорочок, Николай Васильевич. Я в этом не специалист, но мне его продали, как хлебный… Хлебом его кормили или чем другим — при этом мы не были…

Катя отошла в угол, курит.

М у к о в н и н. Право, Исаак Маркович, вы слишком добры к нам.

Д ы м ш и ц. Немножко шкварок…

М у к о в н и н *(не понял)*. Виноват!

Д ы м ш и ц. У вашего папы вы этого не кушали, но в Минске, в Вилюйске, в Чернобыле их уважают. Это кусочки от гусятины. Вы отведаете и скажете мне ваше мнение… Как поживает книжка, Николай Васильевич?

М у к о в н и н. Книжка подвигается. Я подошел к царствованию Александра Павловича.

Л ю д м и л а. Читается, как роман, Исаак Маркович. Я считаю, что это напоминает «Войну и мир», — там, где Толстой о солдатах говорит...

Д ы м ш и ц. Очень приятно слушать... На улице пусть стреляют, Николай Васильевич, на улице пусть бьются головой об стенку, — вы должны делать свое. Кончите книжку — магарыч мой, и на первые сто экземпляров — я покупатель... Кусочек сальтисона, Николай Васильевич: сальтисон домашний, от одного немца...

М у к о в н и н. Исаак Маркович, право, я рассержусь...

Д ы м ш и ц. Это для меня честь, чтобы генерал Муковнин на меня сердился... Сальтисон дивный! Этот немец был довольно видный профессор, теперь занимается колбасами... Людмила Николаевна, я сильно подозреваю, что мы опоздаем.

Л ю д м и л а *(из-за ширмы)*. Я готова.

М у к о в н и н. Сколько я вам должен, Исаак Маркович?

Д ы м ш и ц. Вы мне должны подкову от лошади, которая издохла сегодня на Невском проспекте.

М у к о в н и н. Нет, серьезно...

Д ы м ш и ц. Хотите серьезно — две подковы от двух лошадей.

Из-за ширмы выходит Людмила Николаевна. Она ослепительна, стройна, румяна. В мочках ушей бриллианты. На ней черное бархатное платье без рукавов.

М у к о в н и н. Хороша у меня дочка, Исаак Маркович?

Д ы м ш и ц. Не скажу — нет.

К а т я. Вот это она и есть, Исаак Маркович, — русская красота.

Д ы м ш и ц. Не специалист в этом, но вижу, что хорошо.

М у к о в н и н. Я вас еще со старшей моей познакомлю — с Машей.

Л ю д м и л а. Предупреждаю: Мария Николаевна у нас любимица, — и вот, пожалуйте, любимица в солдаты ушла.

М у к о в н и н. Какие же это солдаты, Люка?.. В политотдел.

Д ы м ш и ц. Ваше превосходительство, про политотдел спросите меня. Это те же солдаты.

К а т я *(отводит Людмилу в сторону)*. Право, серег не надо.

Л ю д м и л а. Ты думаешь?

К а т я. Конечно, не надо. И потом — этот ужин...

Л ю д м и л а. Сударыня, спите спокойно. Ученого учить... *(Целует Катю.)* Катюша, ты глупая, милая... *(Дымшицу.)* Мои ботики... *(Отвернувшись, снимает серьги.)*

Д ы м ш и ц *(кидается)*. Момент!

Одевание: ботики, шуба, оренбургский платок. Дымшиц услуживает, мечется.

Л ю д м и л а. Надеваю и сама удивляюсь — еще не продано... Папа, изволь без меня принять лекарство. И не давай ему работать, Катя.

М у к о в н и н. Мы домовничать будем с Катей.

Л ю д м и л а *(целует отца в лоб)*. Вам нравится мой папка, Исаак Маркович? Правда, он у нас не такой, как у всех...

Д ы м ш и ц. Николай Васильевич роскошь, а не человек!

Л ю д м и л а. Его никто не знает — одни мы... Где вы оставили князя Ипполита?

Д ы м ш и ц. Оставил у ворот. Приказ — ждать, дисциплина. Момент — и будем там... Всего хорошего, Николай Васильевич!

К а т я. Очень не кутите.

Д ы м ш и ц. Очень не будем, теперь это обеспечено.

Л ю д м и л а. Папочка, до свидания!

Муковнин провожает дочь и Дымшица в переднюю. Голоса и смех за дверью. Г е н е р а л возвращается.

М у к о в н и н. Очень милый и достойный еврей.

К а т я *(забилась в угол дивана, курит)*. Мне кажется — им всем не хватает такта.

М у к о в н и н. Катя, голубчик, откуда взяться такту?.. Людям позволяли жить на одной стороне улицы и городовыми гнали с другой. Так было в Киеве, на Бибиковском бульваре. Откуда такту взяться? Тут другому надо удивляться — энергии, жизненной силе, сопротивляемости...

К а т я. Энергия эта вошла теперь в русскую жизнь, но мы ведь другие, все это чуждо нам.

М у к о в н и н. Фатализм — вот это нам не чуждо. Распутин и немка Алиса, погубившая династию, — это нам не чуждо. Ничего, кроме пользы, от чудесного этого народа, давшего Гейне, Спинозу, Христа…

К а т я. Вы и японцев хвалили, Николай Васильевич.

М у к о в н и н. Что ж японцы… Японцы — великий народ, у них учиться и учиться.

К а т я. Вот и видно, что Марье Николаевне есть в кого пойти… Вы большевик, Николай Васильевич.

М у к о в н и н. Я русский офицер, Катя, и спрашиваю: как это так, господа, с каких пор, спрашиваю я, правила военной игры стали чуждыми для вас?.. Мы мучили и унижали этих людей, они защищались, они перешли в наступление и дерутся с находчивостью, с обдуманностью, с отчаянием, скажу я, — дерутся во имя идеала, Катя.

К а т я. Идеал?.. Не знаю. Мы несчастны и счастливы не будем. Нами пожертвовали, Николай Васильевич.

М у к о в н и н. Пусть растрясут Ванюху и Петруху, превосходно будет. И времени больше нет, Катя… Единственный русский император, Петр, сказал: «Промедление времени смерти подобно». Вот заповедь! И если это так, то должно же у вас, господа офицеры, хватить мужества посмотреть на карту, узнать, с какого фланга вы обойдены, где и почему нанесено вам поражение… Держать глаза открытыми — мое право, и я не отказываюсь от него.

К а т я. Николай Васильевич, вам надо лекарство принять.

М у к о в н и н. Соратникам моим, людям, с которыми я дрался бок о бок, я говорю: господа, tirez vos conclusions*, промедление времени — смерти подобно. *(Уходит.)*

За стеной на виолончели холодно и чисто играют фугу Баха. Катя слушает, потом встает, подходит к телефону.

К а т я. Дайте штаб округа... Дайте Редько... Это ты, Редько?.. Я хотела сказать... Надо думать, кроме тебя, еще есть люди, которые делают революцию, но вот ты один никак не найдешь времени, чтобы повидаться с человеком... С человеком, у которого ты ночуешь, когда тебе это надо...

Пауза.

Редько, прокати меня. Приезжай за мной на машине... Ну да, если ты занят... Нет, я не сержусь. За что же сердиться?.. *(Вешает трубку.)*

Музыка прекращается. Входит Г о л и ц ы н, длинный человек в солдатской куртке и обмотках, с виолончелью в руках.

К а т я. Князь, как это вам сказали в трактире — «не играй плачевное»?

Г о л и ц ы н. «Не играй плачевное, не тяни жилы».

---

* Делайте выводы (*фр.*).

К а т я. Им веселое нужно, Сергей Илларионович. Люди забыться хотят, отдыха…

Г о л и ц ы н. Не все. Другие требуют чувствительного.

К а т я *(садится за рояль)*. Ваша публика — кто она?

Г о л и ц ы н. Грузчики с Обводного.

К а т я. Пожалуй, в профсоюз пройдете… Вы и ужин там получаете?

Г о л и ц ы н. Получаю.

К а т я *(играет «Яблочко», поет вполголоса)*.

Пароход идет, вода кольцами.
Будем рыбу мы кормить добровольцами.

Подбирайте за мной. Вы им лучше «Яблочко» в трактире сыграйте.

Голицын подбирает, фальшивит, потом поправляется.

Сергей Илларионович, стоит мне заняться стенографией?

Г о л и ц ы н. Стенографией? Не знаю.

К а т я.

Я на бочке сидю, слезы капают,
Никто замуж не берет, только лапают…

В стенографистках нужда теперь.

Г о л и ц ы н. Не умею вам сказать. *(Подбирает «Яблочко».)*

К а т я. Из всех нас настоящая женщина — Маша. У нее сила, смелость, она женщина. Мы вздыхаем здесь, а она счаст-

лива в своем политотделе... Кроме счастья — какой другой закон выдумали люди?.. Его, верно, и нет, другого закона.

Г о л и ц ы н. Мария Николаевна руль всегда поворачивала круто. Этим она и отличается.

К а т я. Она права...

> Ах ты, яблочко, куда котишься...

И потом, у нее роман с этим Аким Иванычем...

Г о л и ц ы н *(перестает играть)*. Кто это Аким Иваныч?

К а т я. Их командир дивизии, бывший кузнец... Она о нем в каждом письме упоминает.

Г о л и ц ы н. Почему же роман?

К а т я. Там между строк есть, я знаю... Или уехать мне в Борисоглебск, к родным? Все-таки гнездо... Вот вы в лавру к монаху этому ходите... как зовут его?

Г о л и ц ы н. Сионий.

К а т я. К Сионию. Чему он учит вас?

Г о л и ц ы н. Вы говорили о счастье... Он учит меня видеть его не в чувстве власти над людьми и не в этой беспрестанной жадности — жадности, которую мы утолить не можем.

К а т я. Давайте, Сергей Илларионович.

> Я на бочке сидю, бочка котится,
> Хоть в кармане ни гроша,
> Выпить хотется...

Сионий — красивое имя.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Людмила и Дымшиц в его номере. На столе остатки ужина, бутылки. Видна часть соседней комнаты. Бишонков, Филипп и Евстигнеич играют там в карты. Евстигнеича с отрубленными ногами поставили на стул.

Людмила. Феликс Юсупов был бог по красоте, теннисист, чемпион России. Его красоте недоставало мужественности, в нем была кукольность... С Владимиром Баглеем мы встретились у Феликса. Император так до конца и не понял рыцарскую натуру этого человека. Его называли у нас «тевтонский рыцарь»... Фредерикс был дружен с князем Сергеем... Вы знаете князя Сергея, который играет на виолончели?.. На вечере был еще номер hors programme*, архиепископ Амвросий. Старик ухаживал за мною, — можете себе представить! — подливал крюшону и делал такую постную, лукавую мину. Вначале я не произвела на Владимира впечатления, он признался мне в этом: «Вы были курносая, si démesurement russe**, с пылающим румянцем...» На рассвете мы поехали в Царское, оставили машину в парке и взяли лошадь. Он сам правил. «Людмила Николаевна, нужно ли вам сказать, что я весь вечер не сводил с вас глаз?..» — «Это учтено Ниной Бутурлиной, mon prince». Я знала, что у них роман, вернее — флирт. «Бутурлина —

---

* Сверх программы (*фр.*).

** Такая бесконечно русская (*фр.*).

c'est le passé, Людмила Николаевна.» — «On revient toujours, ses premiers ámours, mon prince»[*], Владимир не носил великокняжеского титула, он был от морганатического брака, их семья не встречалась с императрицей... Владимир называл эту женщину гением зла. И потом — он был поэт, мальчик, ничего не понимал в политике... Мы приехали в Царское. Рассвет. Над прудом где-то, совсем понизу, запел соловей... Мой спутник повторяет: «Mademoiselle Boutourline c'est le passé»[**]. — «Mon prince, прошлое возвращается иногда, и возвращения эти ужасны...»

Дымшиц гасит свет, накидывается на Муковнину, валит ее на диван, борьба. Она вырывается, поправляет волосы, платье.

Б и ш о н к о в *(подкидывает карту)*. Подсекай...

Ф и л и п п. Подсечешь у тебя, как же!

Е в с т и г н е и ч. Ну, повели к забору, руки связаны... «Ну, говорят, поворачивайся, друг». А он: «Не надо поворачиваться, я военный человек, коцайте так...» А заборы у них вроде плетня, полроста человеческого... Ночь, конец села, за селом степь, на краю степи — яр...

Б и ш о н к о в *(убивая карту)*. Вот ты и козел!

Ф и л и п п. Отвечаю на все!

Е в с т и г н е и ч. ...Привели, берут на изготовку. Он стоит у плетня, да как снимется от земли, с завязанными-то руками,

---

[*] Первые увлечения обычно возвращаются, князь (*фр.*).

[**] Мадемуазель Бутурлина — это прошлое (*фр.*).

ровно господь бог его от земли отнял. Перелетел через плетень — и наискосок... Они — стрелять... да ночь, темнота, он кружит, петляет — ушел.

Ф и л и п п *(сдает карты)*. Это герой!

Е в с т и г н е и ч. Это герой вечный. Джигит считался. Я его, как тебя, знал... Полгода гулял, потом прикрыли.

Ф и л и п п. Неужто доделали?

Е в с т и г н е и ч. Доделали. Я считаю — неправильно. Человек из могилы вылез, человек тот свет видал, — значит, не судьба его убивать.

Ф и л и п п. Ноль внимания в настоящее время.

Е в с т и г н е и ч. Я считаю — неправильно. Во всех странах такой закон: не добили — твое счастье, живи дальше.

Ф и л и п п. У нас давай только... Доделают.

Б и ш о н к о в. У нас давай...

Л ю д м и л а. Зажгите свет.

Дымшиц открывает выключатель.

Я ухожу. (Оборачивается, смотрит на Дымшица, разражается смехом.) Не надувайте губ, идите ко мне... Скажите, друг мой, как вы все это себе представляете? Должна же я привыкнуть к вам сначала...

Д ы м ш и ц. Я не штиблет, чтобы ко мне привыкать.

Л ю д м и л а. Я не скрываю — какое-то чувство симпатии вы мне внушаете, но надо этому чувству укрепиться... Из армии приедет Маша, вы познакомитесь: в нашей семье без нее ничего не делается... Папа — тот хорошо относится к

вам, но он беспомощный — вы видели… И потом, много еще не решено; ваша жена?..

Д ы м ш и ц. При чем здесь жена?

Л ю д м и л а. Я знаю — евреи привязаны к своим детям.

Д ы м ш и ц. Не о чем говорить, ей-богу, не о чем говорить.

Л ю д м и л а. Поэтому до поры до времени надо тихонько сидеть рядом со мной, вооружиться терпением…

Д ы м ш и ц. С тех пор как евреи ждут мессию — они вооружены терпением. Выпейте еще бокальчик.

Л ю д м и л а. Я много выпила.

Д ы м ш и ц. Это вино мне принесли с броненосца. У великого князя был сундучок на броненосце…

Л ю д м и л а. Как это вы все достаете?

Д ы м ш и ц. Где я достану — там другой не достанет… выпейте этот бокальчик.

Л ю д м и л а. С условием, что вы будете сидеть тихо.

Д ы м ш и ц. Тихо сидят в синагоге.

Л ю д м и л а. Вот вы и сюртук надели, — верно, для синагоги. Сюртук, Исачок, носили директора гимназии на выпускных актах и купцы на поминальных обедах.

Д ы м ш и ц. Я не буду носить сюртука.

Л ю д м и л а. И потом — билеты. Никогда, мой друг, не покупайте билеты в первом ряду, — это делают выскочки, парвеню…

Д ы м ш и ц. Я же выскочка и есть.

Л ю д м и л а. У вас внутреннее благородство — это совсем другое. Вам даже имя ваше не идет… Теперь можно дать

объявление в газете, в «Известиях»... Я бы переменила на Алексей... Вам нравится — Алексей?

Д ы м ш и ц. Нравится. *(Он снова гасит свет и накидывается на Муковнину.)*

Е в с т и г н е и ч. Взвозились...

Ф и л и п п *(прислушивается)*. Вроде наша...

Б и ш о н к о в. Мне Людмила Николаевна больше всех по сердцу — она человека привечает... А то ходят дикие, трепаные... Меня по отечеству привечает...

В комнату инвалидов входит В и с к о в с к и й, становится за спиной Евстигнеича, смотрит, как падают карты.

Л ю д м и л а *(вырывается)*. Позовите мне извозчика...

Д ы м ш и ц. Моментально!.. Больше мне делать нечего.

Л ю д м и л а. Позовите сию минуту!

Д ы м ш и ц. На улице тридцать градусов мороза, сумасшедшую собаку выпустить жалко.

Л ю д м и л а. На мне все порвано... Как я домой покажусь?..

Д ы м ш и ц. Где пьют — там и льют.

Л ю д м и л а. Пошло... Исаак Маркович, вы ошиблись адресом.

Д ы м ш и ц. Такое мое счастье.

Л ю д м и л а. Я же вам говорю — у меня болят зубы, болят невыносимо!..

Д ы м ш и ц. Где именье, где вода... При чем тут зубы?

Л ю д м и л а. Достаньте мне зубных капель... Я страдаю.

Дымшиц выходит, в соседней комнате сталкивается с Висковским.

В и с к о в с к и й. С легким паром, учитель.

Д ы м ш и ц. У нее зубы болят.

В и с к о в с к и й. Бывает...

Д ы м ш и ц. Бывает, что и не болят.

В и с к о в с к и й. Липа, Исаак Маркович, обязательно липа.

Ф и л и п п. Это изобретение ее, Исаак Маркович, а не зубы болят...

Л ю д м и л а (поправила волосы перед зеркалом. Статная, веселая, раскрасневшаяся, она ходит по комнате и напевает).

Милый мой строен и высок,
Милый мой ласков и жесток,
Больно хлещет шелковый шнурок...

Д ы м ш и ц. Я не мальчик, Евгений Александрович, — уже оно давно прошло, то время, когда я был мальчиком.

В и с к о в с к и й. Слушаю-с.

Л ю д м и л а (снимает телефонную трубку). 3-75-02. Папочка, ты?.. Мне очень хорошо... В театре была Надя Иогансон с мужем. Мы ужинаем у Исаака Марковича... Ты обязательно посмотри Спесивцеву, она заменит Павлову... Лекарство ты принял? Тебе надо лечь... Твоя дочь умница, папа, ужасная выдумщица... Катюша, ты?.. Ваше приказание, сударыня, исполнено. Le manège continue, j’ai

mal aux dents ce soir*. *(Ходит по комнате, поет, взбивает волосы.)*

Д ы м ш и ц. И она может дождаться того, что в следующий раз меня для нее не будет дома...

В и с к о в с к и й. Дело хозяйское.

Д ы м ш и ц. Потому что о моих детях и моей жене пусть меня спрашивают другие, а не она.

В и с к о в с к и й. Слушаю-с.

Д ы м ш и ц. Люди недостойны завязать башмак у моей жены, если вы хотите знать, — шнурок от башмака.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

У Висковского. Он в галифе, в сапогах, без куртки, ворот рубахи расстегнут. На столе бутылки, выпито много. На тахте, привалившись, румяный, короткий К р а в ч е н к о в военной форме и м а д а м Д о р а — тощая женщина в черном, с испанским гребнем в волосах и качающимися большими серьгами.

В и с к о в с к и й. Один удар, Яшка...

Я знал одной лишь силы власть.
Одну, но пламенную страсть...

К р а в ч е н к о. Сколько же тебе надо?

---

* Манеж продолжается, нынешним вечером у меня болят зубы (*фр.*).

В и с к о в с к и й. Десять тысяч фунтов. Один удар… Ты видел когда-нибудь фунт стерлингов, Яшка?

К р а в ч е н к о. И все на нитках?

В и с к о в с к и й. Нитки побоку!.. Бриллианты. Трехкаратники, голубая вода, чистые, без песку. Других в Париже не берут.

К р а в ч е н к о. Да их небось уже нету.

В и с к о в с к и й. В каждом доме есть бриллианты, надо уметь их взять… У Римских-Корсаковых есть, у Шаховских… Есть еще алмазы в императорском Санкт-Петербурге.

К р а в ч е н к о. Не выйдет из тебя красный купец, Евгений Александрович.

В и с к о в с к и й. Выйдет!.. У меня отец торговал — выменивал усадьбы на жеребцов… Гвардия сдается, товарищ Кравченко, но не умирает.

К р а в ч е н к о. Ты бы Муковнину позвал… Мается женщина в коридоре…

В и с к о в с к и й. В Париж, Яшка, я приеду барином.

К р а в ч е н к о. Дымшиц этот — куда он запропастился?

В и с к о в с к и й. Отсиживается в уборной или в «шестьдесят шесть» играет с курляндчиком и Шапирой… *(Открывает дверь.)* Мисс, к нашему огоньку… *(Выходит в коридор.)*

Д о р а *(целует у Кравченко руки)*. Ты солнце! Ты божество!

Входят Людмила в шубке и Висковский.

Л ю д м и л а. Это непостижимо! Был уговор…

В и с к о в с к и й. Который дороже денег.

Л ю д м и л а. Был уговор, что я приду в восемь. Теперь три четверти десятого... и ключа не оставил... Куда же он делся?

В и с к о в с к и й. Поспекулирует и придет.

Л ю д м и л а. Все-таки они не джентльмены — эти люди...

В и с к о в с к и й. Выпейте водки, девочка.

Л ю д м и л а. Правда, я выпью, озябла... Непостижимо все-таки!

В и с к о в с к и й. Разрешите вам представить, Людмила Николаевна, мадам Дору, гражданку Французской республики — Liberté, Égalité, Fraternité*. Между прочими достоинствами обладает заграничным паспортом.

Л ю д м и л а *(подает руку)*. Муковнина.

В и с к о в с к и й. Яшку Кравченко вы знаете: прапорщик военного времени, ныне красный артиллерист. Стоит у десятидюймовых орудий Кронштадтской крепостной артиллерии и может их повернуть в любом направлении.

К р а в ч е н к о. Евгений Александрович нынче в ударе.

В и с к о в с к и й. В любом направлении... Все можно представить себе, Яшка. Тебе прикажут разрушить улицу, на которой ты родился, — ты разрушишь ее, обстрелять детский приют, — ты скажешь: «Трубка два ноль восемь»— и обстреляешь детский приют. Ты сделаешь это, Яшка, только бы тебе позволили существовать, бренчать на гитаре, спать с худыми женщинами: ты толст и любишь худых... Ты на все

---

* Свобода, Равенство, Братство (*фр.*).

пойдешь, и если тебе скажут: трижды отрекись от своей матери, — ты отречешься от нее. Но дело не в том, Яшка, — дело в том, что они пойдут дальше: тебе не позволят пить водку в той компании, которая тебе нравится, книги тебя заставят читать скучные, и песни, которым тебя станут обучать, тоже будут скучные... Тогда ты рассердишься, красный артиллерист, ты взбесишься, забегаешь глазками... Два гражданина придут к тебе в гости: «Пойдем, товарищ Кравченко...» — «Вещи, — спросишь ты, — брать с собой или нет?» — «Вещи можно не брать, товарищ Кравченко, дело минутное, допрос, пустяки...» И тебе поставят точку, красный артиллерист, — это будет стоить четыре копейки денег. Высчитано, что пуля от кольта стоит четыре копейки, и ни сантима больше.

Д о р а. Жак, берите меня домой...

В и с к о в с к и й. Твое здоровье, Яков!.. За победоносную Францию, мадам Дора!

Л ю д м и л а *(ей все время подливают)*. Я схожу посмотрю, не вернулся ли он...

В и с к о в с к и й. Поспекулирует и придет... Маркиза, липу с зубами сами придумали?

Л ю д м и л а. Сама... Здорово?.. *(Смеется.)* Право же, теперь иначе нельзя. Евреи должны уважать женщину, с которой они хотят быть близки.

В и с к о в с к и й. Я смотрю на вас, Люка, — вы похожи на синичку... Выпьем, синичка!

Л ю д м и л а. Теперь за меня примется. Вы чего-то намешали в это пойло, Висковский.

В и с к о в с к и й. Синичка… Все силы Муковниных ушли на Марию, вам остался только ряд мелких зубов.

Л ю д м и л а. Дешево, Висковский.

В и с к о в с к и й. И маленькую твою грудь я не люблю… Грудь женщины должна быть красива, велика, беспомощна, как у овцы…

К р а в ч е н к о. Мы пошли, Евгений Александрович.

В и с к о в с к и й. Никуда вы не пойдете… Синичка, выходи за меня замуж.

Л ю д м и л а. Нет, уж я лучше за Дымшица… Знаем, как за вас выходить: нынче вы напились, завтра у вас похмелье, потом вы уезжаете неведомо куда, потом вы стреляетесь… Нет, уж мы за Дымшица.

К р а в ч е н к о. Отпусти нас, Евгений Александрович, сделай милость!

В и с к о в с к и й. Никуда вы не пойдете… Тост! Тост за женщину. *(Доре.)* Это Люка… Сестру ее зовут Мария.

К р а в ч е н к о. Мария Николаевна в армии, кажется?

Л ю д м и л а. Она на границе теперь.

В и с к о в с к и й. На фронте, на фронте, Кравченко. Дивизией у них командует шестерка.

Л ю д м и л а. Висковский, это неправда. Он — металлист.

В и с к о в с к и й. Шестерку зовут Аким… Выпьем за женщин, мадам Дора! Женщины любят прапорщиков, половых, акцизных чиновников, китайцев… Их дело любить, — в участке разберутся. *(Поднимает бокал.)* «За милых женщин, прелестных женщин, любивших нас хотя бы час…» Впрочем, и часу не было. Паутина. Потом паутина порвалась… Ее сест-

ру зовут Мария... Представь себе, Яшка, что ты полюбил царицу. «Вы гадки, — говорит она тебе, — уходите...»

Л ю д м и л а *(смеется)*. Узнаю Машу...

В и с к о в с к и й. «Вы гадки, уходите...» Конную гвардию отвергли, тогда решено было пойти на Фурштадтскую, шестнадцать, квартира четыре...

Л ю д м и л а. Висковский, не смейте!

В и с к о в с к и й. За кронштадтскую артиллерию, Яша!.. Было решено пойти на Фурштадтскую. Мария Николаевна вышла из дому в сером костюме tailleur. Она купила фиалки у Троицкого моста и приколола их к петлице своего жакета... Князь, — он играет на виолончели, — князь убрал свою холостую квартиру, запихал под шкаф грязное белье, немытые тарелки снес на антресоли... Был приготовлен кофе на Фурштадтской и petits fours*. Кофе выпили. Она принесла с собой весну, фиалки и забралась с ногами на диван. Он покрыл шалью ее сильные нежные ноги, навстречу ему сияла улыбка, ободряющая, покорная, печальная ободряющая улыбка... Она обняла его седеющую голову... «Князь! Что же вы, князь?» Но голос у князя оказался как у папского певчего. Passe, rien ne va plus**.

Л ю д м и л а. Боже, какая злюка!

В и с к о в с к и й. Вообрази, Яша, царица снимает перед тобой лиф, чулки, панталоны... Может, и ты оробел бы, Яшка...

Людмила Николаевна опрокидывается, хохочет.

---

* Печенье (*фр.*).

** Все в прошлом (*фр.*).

Она ушла с Фурштадтской, шестнадцать... Где след ее ноги, чтобы я мог поцеловать его?.. Где след ее ноги?.. Но у Акима, будем надеяться, голос звучит погрубее... Ваше мнение, Людмила Николаевна?

Л ю д м и л а. Висковский, вы намешали что-то в эту водку... У меня голова кружится...

В и с к о в с к и й. Иди сюда, мелочь! *(С силой берет ее за плечи и приближает к себе.)* Дымшиц — сколько заплатил он тебе за кольцо?

Л ю д м и л а. Что вы говорите такое?

В и с к о в с к и й. Кольцо не твое, сестры. Ты продала чужое кольцо.

Л ю д м и л а. Оставьте меня!

В и с к о в с к и й *(отталкивает ее в боковую дверь)*. Иди со мною, мелочь!..

В комнате остаются Дора и Кравченко. В окне медленный луч прожектора. Дора, взъерошенная, выпученная, тянется к Кравченко, целует у него руки, стонет, лепечет. Входит на цыпочках босой Филипп с обваренным лицом, не торопясь, бесшумно берет со стола вино, колбасу, хлеб.

Ф и л и п п *(негромко, склонив голову набок)*. Не обидно будет, Яков Иванович?

Кравченко кивает головой, инвалид, осторожно ступая босыми ногами, уходит.

Д о р а. Ты солнце! Ты бог! Ты все!

Кравченко молчит, прислушивается. Входит В и с к о в с к и й, закуривает, руки его дрожат. Дверь в соседнюю комнату открыта. Брошенная на диван, плачет Муковнина.

В и с к о в с к и й. Спокойствие, Людмила Николаевна, до свадьбы заживет...

Д о р а. Жак, я хочу нашу комнату... Берите меня домой, Жак...

К р а в ч е н к о. Погоди, Дора.

В и с к о в с к и й. По разгонной, граждане?

К р а в ч е н к о. Погоди, Дора.

В и с к о в с к и й. По разгонной — за дам...

К р а в ч е н к о. Нехорошо, ротмистр.

В и с к о в с к и й. За дам, Яков Иванович!

К р а в ч е н к о. Нехорошо, ротмистр.

В и с к о в с к и й. Что именно нехорошо?

К р а в ч е н к о. Трипперитики не спят с женщинами, господин Висковский.

В и с к о в с к и й *(офицерским голосом)*. Как вы сказали?

Пауза. Плач смолкает.

К р а в ч е н к о. Я сказал — больные гонореей...

В и с к о в с к и й. Снимите очки, Кравченко. Я буду бить вам морду!..

Кравченко вынимает револьвер.

Очень хорошо.

Кравченко стреляет. Занавес. За спущенным занавесом — выстрелы, падение тел, женский крик.

КАРТИНА ПЯТАЯ

У Муковниных. В углу на сундуке свернулась с т а р у х а н я н ь к а. Спит. На столе пятно света от лампы. К а т я читает М у к о в н и н у письмо.

К а т я. «...На рассвете меня будит рожок штабного эскадрона. К восьми надо быть в политотделе, я там за все... Правлю статьи в дивизионную газету, веду школу ликбеза. Пополнение у нас — украинцы, языком и выразительностью они напоминают мне итальянцев. Казенная Россия в течение столетий подавляла и унижала их культуру... На нашей Миллионной в Петербурге, в доме против Эрмитажа и Зимнего дворца, мы жили, как в Полинезии, — не зная нашего народа, не догадываясь о нем... Вчера на уроке я прочитала из папиной книги главу об убийстве Павла. Наказание свое император заслужил так очевидно, что никто об этом не задумался: спрашивали меня — здесь сказался точный ум простолюдина — о расположении полка, комнат во дворце, о том, какая рота гвардии была в карауле, среди кого были

набраны заговорщики, чем обидел их Павел... Я все мечтаю о том, что папа приедет к нам летом, если только поляки не зашевелятся... Ты увидишь, дружок мой папа, новую армию, новую казарму — в противовес той, о которой ты рассказываешь. К тому времени наш парк расцветет и зазеленеет, лошади поправятся на подножном корму, седла приготовлены... Я говорила Аким Иванычу — он согласен, только бы у вас все было благополучно, милые мои... Теперь ночь. Я освободилась поздно и поднялась к себе по истоптанным четырехсотлетним ступеням. Я живу на вышке, в сводчатой зале, служившей когда-то оружейной графам Красницким. Замок построен на крутизне, у подножия его синяя река, пространство лугов необозримо, с туманной стеной леса вдали... В каждом этаже замка выбита ниша для дозорного: отсюда они следили приближение татар и русских и лили кипящее масло на головы осаждающих. Старушка Гедвига, экономка последнего Красницкого, приготовила мне ужин и растопила камин, глубокий и черный, как подземелье... В парке внизу переминаются, задремывают лошади. Кубанцы ужинают вокруг костра и заводят песню. Снег налег на деревья, ветви дубов и каштанов переплелись, неровная серебряная крыша накрыла занесенные дорожки, статуи. Они еще сохранились — юноши, бросающие копье, и обнаженные закоченевшие богини с согнутыми руками, с волнистой линией волос и слепыми глазами... Гедвига дремлет и трясет головой, поленья в камине вспыхивают и распадаются. Столетия сделали кирпичи звонкими, как стекло — они озарены золотом в ту минуту, когда я пишу вам... Карточка Алеши у

меня на столе… Здесь те самые люди, которые не задумались убить его. Я ушла только что от них и помогла их освобождению… Правильно ли я сделала, Алексей, исполнила ли я твое завещание жить мужественно?.. И тем, что в нем есть неумирающего, он не отвергает меня… Поздно, не могу заснуть — от необъяснимой тревоги за вас, от боязни снов. Во сне я вижу погоню, мучительство, смерть. Я живу странной смесью — близостью к природе, беспокойством о вас. Почему Люка пишет так редко? Несколько дней тому назад я послала ей бумажку, подписанную Аким Ивановичем, о том, что у меня, как у военнослужащей, не имеют права реквизировать комнату. Кроме того, у папы должна быть охранная грамота на библиотеку. Если срок ее прошел, надо возобновить в Наркомпросе, у Чернышева моста, комната сорок. Я буду счастлива, если Люке удастся основать свою семью, но надо, чтобы этот человек бывал у нас в доме, познакомился бы с папой — тут сердце не обманет. И пусть нянька увидит его… Катюша все жалуется на старуху, что та не работает. Катюша, нянька стара, она вырастила два поколения Муковниных, у нее свои мысли и чувства, она не простой человек… Мне всегда казалось, что в ней мало крестьянского, — а впрочем, что знали мы в нашей Полинезии о крестьянах?.. В Петербурге, говорят, стало еще труднее с продовольствием; у тех, кто не служит, забирают комнаты и белье… Мне стыдно за то, что мы живем хорошо. Два раза Аким Иванович брал меня с собой на охоту, у меня верховая лошадь, донец…» *(Катя поднимает голову.)* Вот видите, Николай Васильевич, как хорошо.

Муковнин закрывает глаза ладонью.

Не надо плакать...

М у к о в н и н. Я спрашиваю у бога, — у каждого из нас есть бог его души, — за что ты дал мне, дурному, себялюбивому человеку, таких детей — Машу, Люку?..

К а т я. Но это же хорошо, Николай Васильевич. Зачем плакать?

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Участок милиции ночью. Под лавкой скрючился п ь я н ы й. Он двигает пальцами перед самым своим лицом, внушает себе что-то. На лавке дремлет грузный старый ч е л о в е к, хорошо одетый, в енотовой шубе и высокой шапке. Шуба распахнулась, под ней голая серая грудь. Н а д з и р а т е л ь допрашивает М у к о в н и н у. Кротовая шапочка ее сбита набок, волосы растрепаны, шубка стащена с плеча.

Н а д з и р а т е л ь. Имя?
Л ю д м и л а. Отпустите меня.
Н а д з и р а т е л ь. Имя?
Л ю д м и л а. Варвара.
Н а д з и р а т е л ь. Отчество?
Л ю д м и л а. Ивановна.
Н а д з и р а т е л ь. Где работаете?
Л ю д м и л а. У Лаферма, на табачной фабрике.

Н а д з и р а т е л ь. Профбилет?

Л ю д м и л а. Я не ношу с собой.

Н а д з и р а т е л ь. Зачем липу гоните?

Л ю д м и л а. Я замужем… Отпустите меня…

Н а д з и р а т е л ь. Почему вам интересно липу гнать, скажите? Брылева давно знаете?

Л ю д м и л а. О ком вы говорите?.. Я не знаю.

Н а д з и р а т е л ь. Ордера на нитки Брылев подписывал, через вас шло к Гутману, где вы склад сделали?..

Л ю д м и л а. Что вы говорите? Какой склад?..

Н а д з и р а т е л ь. Сейчас — узнаете — какой… *(Милиционеру.)* Позовите Калмыкову.

Милиционер вводит Ш у р у К а л м ы к о в у, горничную в номерах на Невском, 86.

Н а д з и р а т е л ь. Вы коридорная?

К а л м ы к о в а. Я подменяю.

Н а д з и р а т е л ь. Признаете гражданку?

К а л м ы к о в а. Очень отлично признаю.

Н а д з и р а т е л ь. Что можете показать?

К а л м ы к о в а. Могу отвечать по вопросам… Отец их — генерал.

Н а д з и р а т е л ь. Работает она?

К а л м ы к о в а. Пару поддает — это у ней работа.

Н а д з и р а т е л ь. Муж есть?

К а л м ы к о в а. Под кустом венчались… У ней мужьев много. Один от ее зубов весь вечер в отхожем хоронился.

Н а д з и р а т е л ь. Какие зубы? Чего плетешь?..

К а л м ы к о в а. Людмила Николаевна знает, какие зубы.

Н а д з и р а т е л ь *(Муковниной)*. Приводы были?.. Сколько?

Л ю д м и л а. Меня заразили... Я больна.

Н а д з и р а т е л ь *(Калмыковой)*. Нам удостоверить надо, сколько у ней приводов.

К а л м ы к о в а. Это не знаю, не скажу... Я то не скажу, чего не знаю.

Л ю д м и л а. Я измучена... Отпустите меня...

Н а д з и р а т е л ь. Не волноваться! На меня смотрите.

Л ю д м и л а. У меня голова кружится... Я упаду...

Н а д з и р а т е л ь. На меня смотреть!

Л ю д м и л а. Боже мой, зачем мне смотреть на вас?..

Н а д з и р а т е л ь *(в бешенстве)*. Затем, что я пятые сутки не спавши... Можете вы это понять?..

Л ю д м и л а. Я могу понять.

Н а д з и р а т е л ь *(подступает к ней ближе, берет за плечи и смотрит ей в глаза)*. Приводов сколько — говори...

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

У Муковниных. Горят коптилки. Тени на стенах и потолке. Перед зажженной лампадой молится Г о л и ц ы н. На сундуке спит н я н ь к а.

Г о л и ц ы н. ... Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падая в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою

погубит ее, а ненавидящий душу свою сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит — того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел...

К а т я *(подходит неслышно, становится рядом с Голицыным, кладет голову на его плечо)*. Свидания мои с Редько происходят в штабе, Сергей Илларионович, в бывшей прихожей, там клеенчатый диван есть... Я прихожу, Редько запирает дверь, потом дверь отмыкается...

Г о л и ц ы н. Да.

К а т я. Я уезжаю в Борисоглебск, князь.

Г о л и ц ы н. Уезжайте.

К а т я. Редько все учит меня, все учит — кого любить, кого ненавидеть... Он говорит — закон больших чисел. Но я-то сама малое число — или это не считается?..

Г о л и ц ы н. Должно считаться.

К а т я. Вот видите — должно считаться... Вот я и свободна, нянька... Проснись. Пожалуйста, проснись. Ты царствие небесное проспишь...

Н е ф е д о в н а *(поднимает голову)*. Люка-то где?

К а т я. Люка скоро придет, нянька, а я уезжаю, некому будет тебя бранить.

Н е ф е д о в н а. Зачем меня бранить, какие мои дела... Я нянька рожденная, для детей взята, детей растить, а их тут нету... Баб полон дом, а ребенков нету. Одна воевать пошла, без нее некому, другая шатается без пути... Какой это может быть дом — без ребенков?

К а т я. Вот родим тебе от святого духа...

Н е ф е д о в н а. Вы треплетесь, разве я не вижу, треплетесь, да толку нет.

Г о л и ц ы н. Уезжайте в Борисоглебск, вы нужны там... В Борисоглебске пустыня, Катерина Вячеславна, в этой пустыне звери пожирают друг друга...

Н е ф е д о в н а. Вон Молостовы — скверные совсем купчишки, выхлопотали своей няньке пенсион, пятьдесят рублев в месяц... Похлопочи за меня, князь, почему мне пенсион не дают?

Г о л и ц ы н *(растапливает «буржуйку»)*. Меня не послушают, Нефедовна, у меня теперь силы нет.

Н е ф е д о в н а. Вон ведь простые совсем купчики.

Открывается дверь. М у к о в н и н отступает перед Ф и л и п п о м, закутанным в тряпье и башлык, громадным и бесформенным. Половина Филиппова лица заросла диким мясом, он в валенках.

М у к о в н и н. Кто вы?

Ф и л и п п *(продвигается ближе)*. Я Людмиле Николаевне знакомый.

М у к о в н и н. Что вам угодно?

Ф и л и п п. Там заварушка получилась, ваше превосходительство.

К а т я. Вы от Исаака Марковича?

Ф и л и п п. Так точно, от Исаака Марковича... Вроде как ни с чего и получилось.

К а т я. Людмила Николаевна?..

Ф и л и п п. Там же, при них они и были, в компании... Маленько, ваше превосходительство, перехорошили. Евгений Александрович — одно, Яков Иваныч им вроде как напротив, стали цапаться, оба с мухой...

Г о л и ц ы н. Николай Васильевич, я поговорю с этим товарищем.

Ф и л и п п. Особого такого ничего не случилось, а только недоразумение... Оба с мухой, оружия при себе...

М у к о в н и н. Где моя дочь?

Ф и л и п п. Ваше превосходительство, неизвестно.

М у к о в н и н. Где моя дочь, скажите? Мне все можно сказать.

Ф и л и п п *(чуть слышно)*. Законвертовали.

М у к о в н и н. Я смотрел смерти в глаза. Я солдат.

Ф и л и п п *(громче)*. Законвертовали, ваше превосходительство.

М у к о в н и н. Арестовали — за что?

Ф и л и п п. Вроде как из-за болезни сыр-бор получился. Яков Иванович говорят: «Вы болезнью наделили», — Евгений Александрович — стрелять. Оружия при себе, оружия — тут она...

М у к о в н и н. Это Чека?

Ф и л и п п. Люди взяли, а кто их разберет?.. Люди сейчас неформенные, ваше превосходительство, себя не показывают.

М у к о в н и н. Надо ехать в Смольный, Катя.

К а т я. Никуда вы, Николай Васильевич, не поедете.

М у к о в н и н. Надо ехать в Смольный, сейчас же.

К а т я. Николай Васильевич, дорогой мой...

М у к о в н и н. Дело в том, Катя, что моя дочь должна быть возвращена мне. *(Подходит к телефону.)* Прошу штаб военного округа...

К а т я. Не надо, Николай Васильевич!

М у к о в н и н. Прошу к телефону товарища Редько... Говорит Муковнин... Я не могу объяснить вам лучше, товарищ, кто говорит, — в прошлом я генерал-квартирмейстер Шестой армии... Товарищ Редько, вы?.. Здравствуйте, Федор Никитич. У аппарата Муковнин. Здравия желаю... Если оторвал от дела — сожалею очень... Сегодня, Федор Никитич, в доме восемьдесят шесть по Невскому, вечером, вооруженными людьми взята моя дочь Людмила. Я не ходатайствую перед вами, Федор Никитич, — знаю, что в организации вашей это не принято, — но только хотел доложить, что мне нужно увидеться со старшей моей дочерью, Марией Николаевной. Дело в том, что я недомогаю в последнее время, Федор Никитич, и чувствую необходимость посоветоваться с Марией Николаевной. Мы посылали телеграммы и срочные письма, Катерина Вячеславна, знаю, и вас затрудняла — ответа нет... Просьба связать по прямому проводу, Федор Никитич... Могу добавить, что я вызван генералом Брусиловым в Москву для переговоров о службе... Вы говорите — доставлено?.. Доставлено восьмого?.. Покорно благодарю, желаю успеха, Федор Никитич. *(Вешает трубку.)* Все хорошо, Машу разыскали, телеграмма вручена восьмого. Она будет в Петербурге завтра, послезавтра, самое позднее. Надо убрать Машину комнату, Нефедовна, — подняться завтра чуть свет и убрать... Катюша права — квартира запущена. Мы ужасно все запустили

в последнее время, везде пыль. Надо чехлы надеть. У нас есть чехлы, Катюша?

Катя. Не на всю мебель, но есть.

Муковнин *(мечется по комнате)*. Непременно надеть надо чехлы... Маше приятно будет застать все в том виде, как она оставила. Почему не создать уют, когда это можно сделать... И вот Катя у нас не амюзируется, — ты совсем не амюзируешься*, Катюша, не ходишь в театр, так можно отстать.

Катя. Маша вернется — я пойду.

Муковнин *(инвалиду)*. Простите, ваше имя-отчество?..

Филипп. Филипп Андреевич.

Муковнин. Почему вы не садитесь, Филипп Андреевич?.. Мы вас даже за хлопоты не поблагодарили... Надо угостить Филиппа Андреевича... Нянька, найдется у нас чем угостить? Дом наш открыт, Филипп Андреевич, милости просим по-простому, будем рады. Мы вас непременно с Марией Николаевной познакомим...

Катя. Вам надо отдохнуть, Николай Васильевич, лечь надо.

Муковнин. И если хотите, я за Люку ни одного мгновения не беспокоюсь. Это урок — урок за ребячество, за отсутствие опыта... Если хотите — я доволен... *(Вздрагивает, останавливается, падает на стул. К нему подбегает Катя.)* Спокойствие, Катя, спокойствие...

---

* От французского глагола s'amuser — приятно проводить время, развлекаться.

К а т я. Что с вами?

М у к о в н и н. Ничего, — сердце...

Катя и Голицын берут его под руки, уводят.

Ф и л и п п. Расстроился.

Н е ф е д о в н а *(ставит на стол прибор)*. Барышню нашу при тебе брали?

Ф и л и п п. При мне.

Н е ф е д о в н а. Билась?

Ф и л и п п. Сперва билась, потом пошла ничего.

Н е ф е д о в н а. Я тебе картошку дам, кисель есть...

Ф и л и п п. Поверишь, бабушка, дома пельменей целый ушат навалили, заварушка эта поднялась, — глядь, и уперли.

Н е ф е д о в н а *(ставит перед Филиппом картошку)*. Лицо-то у тебя на войне обварило?

Ф и л и п п. Лицо у меня гражданским порядком обварило, давно дело было...

Н е ф е д о в н а. А война будет? Чего у вас говорят?

Ф и л и п п *(ест)*. Война, бабушка, будет в августе месяце.

Н е ф е д о в н а. С поляками, что ли?

Ф и л и п п. С поляками.

Н е ф е д о в н а. Не все им отдали?

Ф и л и п п. Они, бабушка, желают иметь свое государство от одного моря и до самого другого моря. Как в старину было, так они и в настоящий момент желают.

Н е ф е д о в н а. Ишь дураки какие!

Входит К а т я.

К а т я. Очень худо Николаю Васильевичу. Нужно доктора.

Ф и л и п п. Доктор, барышня, сейчас не пойдет.

К а т я. Он умирает, нянька, у него нос синий... Уже видно, какой он будет мертвый...

Ф и л и п п. Доктора, барышня, сейчас на запоре, в ночное время не пойдут, хоть стреляй в него.

К а т я. В аптеку надо за кислородом...

Ф и л и п п. Они союзные — их превосходительство?

К а т я. Не знаю... Мы ничего здесь не знаем.

Ф и л и п п. Если не союзные — не дадут.

Резкий звонок. Филипп идет открывать, возвращается.

Там... там... Мария Николаевна...

К а т я. Маша?!

Катя идет вперед, протягивает руки, плачет, останавливается, закрывает лицо руками, потом отнимает их. Перед ней к р а с н о а р м е е ц, лет девятнадцати, мальчик на длинных ногах, он тащит за собой мешок. Входит Г о л и ц ы н, останавливается у двери.

К р а с н о а р м е е ц. Здравствуйте!

К а т я. Боже мой, Маша!..

К р а с н о а р м е е ц. Тут Мария Николаевна из продуктов кое-что прислали.

К а т я. Где же она?.. Она с вами?

К р а с н о а р м е е ц. Мария Николаевна в дивизии, сейчас все на местах… Из вещей тут кое-что есть — сапоги…

К а т я. Она не приехала с вами?

К р а с н о а р м е е ц. Там бои, товарищи, идут, — как можно?

К а т я. Мы телеграммы посылали, письма…

К р а с н о а р м е е ц. Что ни посылайте — все равно… Части день и ночь в движении.

К а т я. Вы увидите ее?

К р а с н о а р м е е ц. Как же не увидеть?.. Если передать что-нибудь…

К а т я. Да, передайте ей, пожалуйста… Передайте, что отец ее умирает и мы не надеемся его спасти. Передайте, что, умирая, он звал ее… Сестра ее Люка не живет с нами больше — она арестована. Скажите, что мы желаем счастья Марии Николаевне, желаем, чтобы она не думала о тех днях и часах, когда ее не было с нами…

Красноармеец озирается, отступает. Шатаясь, выходит из своей комнаты М у к о в н и н. Глаза его блуждают, волосы поднялись, он улыбается.

М у к о в н и н. Вот, Маша, тебя не было, и я не хворал, все время был молодцом, Маша… *(Видит красноармейца.)* Кто это? *(Повторяет громче.)* Кто это?.. Кто это?.. *(Падает.)*

Н е ф е д о в н а *(опускается на колени рядом с Муковниным)*. Ну что, Коля, уходишь?.. Не ждешь няньку…

Старик хрипит. Агония.

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Полдень. Ослепительный свет. В окне облитые солнцем колонны Эрмитажа, угол Зимнего дворца. Пустая зала Муковниных. В глубине натирают паркет А н д р е й и подмастерье К у з ь м а, толстомордый парень. А г а ш а кричит в окно.

А г а ш а. Нюшка, проклятущая, не давай дитю об стенку мазаться!.. Куда глаза подевала? Сидишь, что ли, на глазах?.. Выросла — небо прободаешь, а толку все то же... Тихон, слышь, Тихон, зачем у тебя сарай растворенный? Замкни сарай-то... Егоровна, здравствуй! Я у тебя сольцы до первого не достану?.. Первого разживусь по купону — отдам. Девка моя зайдет, насыпь ей в пузырек, до первого... Тихон, слышь, Тихон, у Новосельцевых был? Когда они съезжают?

Г о л о с Т и х о н а. Съезжать, говорят, некуда.

А г а ш а. Жить умели — умейте и съезжать... До воскресенья дай им срок, а после воскресенья у нас с ними серьез будет, так и скажи... Нюшка, проклятущая, гляди, дите себе в нос землю пихает!.. Бери дите наверх, марш домой, окна мыть!.. *(Полотеру.)* Ну как, мастер, действуешь?

А н д р е й. Прикладываем труды.

А г а ш а. Не больно прикладываешь... Углы все пооставляли.

А н д р е й. Это какие углы?

А г а ш а. Да все четыре — и пол у тебя рыжий. Разве он должен быть рыжий?.. Не тот колер совсем.

А н д р е й. Материал теперь не тот, хозяйка.

А г а ш а. Сам хитришь и малого учишь... За деньгами небось аккуратно придешь.

А н д р е й. А я тебе, Аграфена, то отвечу, что ты врагу своему закажешь впервой после революции полы чистить... Тут за революцию грязи на три вершка наросло, рубанком не отстругаешь. Мне за это медаль нацепить, за то, что я после революции полы чищу, а ты лаешься...

В глубине проходят С у ш к и н и К а т я в трауре.

С у ш к и н. Единственно как фанатик мебельной отрасли покупаю, единственно по охоте моей, что не могу мимо античной вещи пройти, — я за античную вещь болею. Громоздкую вещь в настоящий момент покупать — это камень на шею, с ним тонуть, Катерина Вячеславна... Вот сделаешь сегодняшний день покупку — мечтаешь, а завтра ты страдалец куда бы рассовать.

К а т я. Вы забываете, Аристарх Петрович, что здесь ни одной простой вещи нет. Мебель эту сто лет назад Строгановы из Парижа выписывали.

С у ш к и н. Оттого миллиард двести и даю.

К а т я. Что значит теперь этот миллиард, если на хлеб перевести?

С у ш к и н. А вы не на хлеб, а на мою ненормальность переведите, что я как охотник покупаю. С громоздкой вещью в настоящий момент остаться — ведь это я у них первый кандидат буду... *(Меняя тон.)* Тут у меня и молодежь приготовлена... *(Кричит вниз.)* Ребятежь, подхватывайся, веревки с собой тащи!..

А г а ш а *(выступает вперед)*. Это куда подхватываться?

С у ш к и н. С кем имею честь-удовольствие?..

К а т я. Это наша смотрительница двора, Аристарх Петрович.

А г а ш а. Ну, хоть дворничиха.

С у ш к и н. Очень приятно. Теперь, значит, такой разговор: вы нам, как говорится, поможете мебель снести, мы обоюдно вам поможем.

А г а ш а. Не получится у вас, гражданин.

С у ш к и н. Что именно у нас не получится?

А г а ш а. Тут переселенные люди будут, из подвала...

С у ш к и н. Это нам, конечно, интересно знать, что переселенные...

А г а ш а. Мебель-то где они возьмут?

С у ш к и н. А вот это нам, гражданка, совершенно неинтересно знать.

К а т я. Агаша, Мария Николаевна поручила мне продать...

С у ш к и н. Прошу прощения, гражданка, мебель-то ваша?

А г а ш а. Мебель не моя, да и не твоя тоже.

С у ш к и н. На это первично отвечу, что мы с вами над одной ямкой не сидели, а вторично я вам скажу, что вы в настоящий момент, гражданка, неприятность себе наживаете.

А г а ш а. Ордер принесешь — я мебель выпущу.

К а т я. Агаша, мебель принадлежит Марии Николаевне, ты же знаешь...

А г а ш а. Я что знала, барышня, то забыла, переучиваюсь теперь.

С у ш к и н. Гляди, баба, нарвешься!

А г а ш а. Не ругайся, выгоню...

К а т я. Уйдемте, Аристарх Петрович.

С у ш к и н. Превышение власти, баба, делаешь.

А г а ш а. Ордер принеси — выпущу.

С у ш к и н. В другом месте поговорим.

А г а ш а. Хочь на Гороховой.

К а т я. Уйдемте, Аристарх Петрович...

С у ш к и н. Я уйду, да вернусь, — не один вернусь, с людями.

А г а ш а. Нехорошо делаете, барышня.

Уходят. Андрей и Кузьма кончают натирать, собирают свой снаряд.

К у з ь м а. Умыла как следует.

А н д р е й. Колкая дамочка.

К у з ь м а. Она и при генерале была?

А н д р е й. При генерале она низко ходила, головы не высовывала.

К у з ь м а. Генерал-то дрался небось?

А н д р е й. Зачем дрался? Совершенно он не дрался. Ты к нему придешь — он с тобой за ручку возьмется, поздоровкается... Его и народ любил.

К у з ь м а. Как это так — народ генерала любил?

А н д р е й. По дурости нашей — любили... Он вреда больше положенного не делал. Сам себе дрова колол.

К у з ь м а. Старый был?

А н д р е й. Особо старый не был.

К у з ь м а. А помер…

А н д р е й. Помирает, брат Кузьма, не зрелый, а поспелый. Значит, поспел.

Входят А г а ш а, рабочий С а ф о н о в, костлявый молчаливый парень, и беременная жена его Е л е н а, длинная, с маленьким светлым лицом, молодая женщина лет двадцати, не более, она в последних днях. Все нагружены домашним скарбом, тащут с собой табуретки, матрацы, примус.

Погоди, погоди, дай подстелю…

А г а ш а. Входи, Сафонов, не бойся. Тут тебе и помещаться.

Е л е н а. Нам бы другого чего-нибудь, похуже…

А г а ш а. Привыкай к хорошему.

А н д р е й. Плевое дело — к хорошему привыкнуть.

А г а ш а. Налево кухня, там ванная — мыться… Пойдем, хозяин, остальное притащим… Ты сиди, Елена, не ходи — выкинешь, пожалуй.

Агаша и Сафонов уходят. Андрей собирает свои пожитки — щетки, ведра, Елена садится на табуретку.

А н д р е й. С новосельем, значит?

Е л е н а. Вроде неудобно помещение, велико…

А н д р е й. Когда рассыпаться тебе?

Е л е н а. Завтра пойду.

А н д р е й. Очень просто. На Мойку, что ли, во дворец?

Е л е н а. На Мойку.

А н д р е й. Дворец этот — нонче называется матери и ребенка, — его в прежнее время царица для пастуха построила, теперь там бабы опрастываются. Все по порядку, очень просто.

Е л е н а. Завтра идти. То боюсь, дядя Андрей, а то ничего.

А н д р е й. Бояться тут нечего: родишь — не чихнешь. Проработает тебе все жилы, разделаешься, опосля этого себя не узнаешь.

Е л е н а. У меня, дядя Андрей, кость узкая...

А н д р е й. Попросят ее, твою кость, она подвинется... Другой раз посмотришь на бабочку, кое-как слеплена, волосьев копна, да ножки, да ручки, а выпечатает такого мужичищу, он водки ведро выпьет да вола кулаком убьет... На все специальность... *(Взваливает на плечи мешок.)* Мальчика желаешь или девочку?

Е л е н а. Мне все равно, дядя Андрей.

А н д р е й. Это верно, что все равно... Я так располагаю, которые дети теперь изготовляются, должны к хорошей жизни поспеть. Иначе-то как же?.. *(Собирает свой инструмент.)* Пошли, Кузьма... *(Елене.)* Родишь — не чихнешь, на все специальность... Поехали, казак.

Полотеры уходят. Елена раскрывает окна, в комнату входят солнце и шум улицы. Выставив живот, женщина осторожно идет вдоль стен, трогает их, заглядывает в соседние комнаты, зажигает люстру, гасит ее. Входит Н ю ш а, непомерная багровая девка, с ведром и тряпкой — мыть окна. Она становится на подоконник, затыкает подол выше колен, лучи солнца льются на нее. Подобно статуе, поддерживающей своды, стоит она на фоне весеннего неба.

Е л е н а. На новоселье придешь ко мне, Нюша?

Н ю ш а *(басом)*. Позовешь — приду, а чего поднесешь?..

Е л е н а. Много не поднесу, что найдется...

Н ю ш а. Мне сладенького поднеси, красного... *(Пронзительно и неожиданно она запевает.)*

Скакал казак через долину,
Через маньчжурские края,
Скакал он садиком зеленым.
Кольцо блестело на руке.
Кольцо казачка подарила,
Когда казак пошел в поход.
Она дарила — говорила, что
Через год буду твоя.
Вот год прошел...

З а н а в е с

<ФРАГМЕНТЫ СЦЕНАРИЯ ПО РОМАНУ Н. ОСТРОВСКОГО «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ»>

Немцы на Украине

По шоссе через Шепетовку, отбивая шаг, идут войска Вильгельма II. Они в темно-серых мундирах; на головах — стальные шлемы; на винтовках — широкие, как ножи, штыки. Впереди рядов, выбрасывая длинные ноги — офицеры; на тонких шеях вздрагивают маленькие белесые окаменевшие лица; бесцветный взгляд устремлен прямо перед собой — мимо прижавшихся к стенам людей. Люди эти — местечковое население тех годов: искривленные евреи в ермолках и сюртуках, подпоясанных веревками; мальчики из хедера, уже истомленные «принцы Торы» с каштановыми пейсами вдоль большеглазых и скорбных лиц; жены рабочих в тяжелых платках; селяне в белых свитках и широкополых шляпах из грубой соломы. Уродливо перекрещенный, рядом с ними горько скривился мир сгнивших перекладин, хасидских избушек, деревянных синагог, узко вытянутых к небу.

Барабанная дробь. Прямолинейный рев оркестров летит вдоль сломанных улиц. На шоссе, грохоча, вступает артиллерия.

— Сила… — вздыхает старик в рваной кофте.

— Как взяться... — неопределенно отвечает старику молодой парень и пропадает в толпе.

На станции Шепетовка немцы в касках с орлами тащат к теплушкам упирающийся скот — серых украинских волов, обиженно визжащих свиней, кротких телок. В другой состав грузят орудия, пулеметы, солдат.

Из-за станционной будки за погрузкой войск наблюдают два украинских «дядьки».

— А хочь бы и партизаны взялись, — медленно говорит один из них, — когда ж такую силу пересилишь?..

Вдоль вагонов, по перрону, яростно шагает широкогрудый багровый комендант, в новых ремнях, в высоком, прусского образца, сером картузе с лакированным козырьком.

Двери теплушек медленно сдвигаются. Комендант вскакивает на подножку классного вагона. Впереди состава сотрясается, окутанный паром, масляный, синий паровоз. Комендант подносит к губам свисток.

— Abfahr![*]

Состав не двигается.

— Donner wetter![**] — бормочет немец, багровея.

Тряся задом, неся на неподвижной шее лиловое мясистое лицо, комендант бежит по перрону. Задыхаясь, он взбирается на паровоз. Нестерпимо резкий звук вырывающегося пара, качающиеся стрелки на приборах. Паровоз пуст, оставлен.

---

[*] Отправление (*нем.*).

[**] Черт возьми (*нем.*).

— Das ist Russland*, — оборачивается комендант к ординарцу и, держась за поручни, дергая толстыми ногами, спускается с паровоза.

В железнодорожном депо, у стоящих рядом слесарных, станков, работают два человека — Артем Корчагин, гигант с всегда виноватым от доброго сердца лицом, и Жухрай — хорошо сбитый коренастый человек в косоворотке, с ровным и сильным блеском в спокойных глазах.

— Как ты, Артем, насчет коммунистической партии рассматриваешь?.. — в упор глядя на Артема, спрашивает Жухрай.

Лицо у Артема становится еще более виноватым, чем всегда.

— Слабовато я, Федор Иванович, в самых этих партиях разбираюсь,— говорит он нетвердо. — Надо помочь — помогу...

— Бастовать будешь? — все так же в упор допрашивает Жухрай.

— Как люди, Федор Иванович, так и я...

— А ты бы впереди людей, — и Жухрай вопросительно, одним глазом взглядывает на машиниста.

В это время ворота депо с грохотом раскрываются. Сияя аксельбантами, пряжками, ярко вычищенными сапогами, по цеху, гулко отбивая шаг, идет комендант. Две ожившие колонны, два прусских фельдфебеля, нечеловечески громадных, движутся вслед за ним, и сбоку на жидких ногах в обвалявшихся брюках вьется личность с обвислыми усами и шевелящимся кончиком носа.

---

* Это Россия (*нем.*).

Рубя слова, не ворочая шеей, комендант лающим голосом выкрикивает тираду по-немецки.

— Übersetzen, übersetzen sie, bitte,* — говорит он через плечо человеку с шевелящимся кончиком носа.

П е р е в о д ч и к. Ну, каже господин германский офицер, що так как вы, рабочий народ, мечтает, щоб воно було, но так воно не буде.

К о м е н д а н т (снова тирада по-немецки — хриплая, рубленая, лающая; можно разобрать отдельные фразы: eine Majestät Kaiser und König)... Его величество император и король... Его высокопревосходительство фельдмаршал и командующий... Сопротивляясь Германии, вы сопротивляетесь богу. Сопротивляясь богу, вы сопротивляетесь Германии.

П е р е в о д ч и к. Ну, каже, давайте машинистов и составы, бо надо Германию кормить...

Комендант тычет пальцем в Артема Корчагина.

П е р е в о д ч и к (Артему). Ты...

Как колонны, переставленные с места на место, оба фельдфебеля приближаются к Артему.

Комендант тычет пальцами в Полентовского — сутулого, сухощавого старика с серебряно-седой стриженой головой.

П е р е в о д ч и к (Полентовскому). Так же само ты, старик...

А р т е м (глядя в землю). Ну, чего я...

П е р е в о д ч и к. Пошли...

А р т е м (глядя в землю). Куда это пошли?

П е р е в о д ч и к. Воинский состав поведете...

---

* Переводите, переводите, пожалуйста (*нем.*).

А р т е м (отворачиваясь). Хворый я...

П е р е в о д ч и к (показывая на фельдфебелей). Для хворых мы докторов маем...

К о м е н д а н т (наливаясь лиловой кровью). Германия, donner wetter, умеет ценить услуги. Übersetzen, übersetzen sie, bitte.

П е р е в о д ч и к. Ну, каже, на чай получите...

А р т е м. Кажут тебе — хворый.

П е р е в о д ч и к (фельдфебелю). А ну, доктор...

По цеху, погруженному в серые, железные сумерки, идут Артем с повисшими большими руками и седой Полентовский; фельдфебели и комендант с неворочающейся шеей замыкают шествие.

— Артем, — негромко говорит Жухрай и смотрит прямо перед собой.

— Ще и душу мотать, — тоскливо шепчет Корчагин.

— На усмирение ведут, — еще тише говорит Жухрай.

Болезненно резкая барабанная дробь. Лес широких коротких ножей движется мимо железнодорожных мастерских.

Подпрыгивая на узких рельсах, съезжаются ворота депо, и сразу — яростным шумом взрывается громадный цех.

— А ну, хлопцы, кончай базар, — говорит Жухрай грубоватым обычным своим голосом и бросает на пол спецовку, — пошли, хлопцы, до дому...

— Сережка, бастуем, — весело летит через цех чей-то мальчишеский и звонкий голос.

— Пропадем, Федя, — подходит к Жухраю задумавшийся пожилой рабочий в переднике, с черным кожаным ремешком на чистом высоком лбу.

— А не повезем, — отвечает Жухрай, — против рабочего класса ничего не повезем...

— Ты ж чему народ учишь, смертельная твоя душа... — вырастает перед Жухраем раскаленное малиновое лицо с толстыми усами, — я ж сам восемь, окаянная твоя голова...

— Не повезем, — негромко говорит Жухрай, поднимает голову и бледнеет. Глухое, разрастающее шипение, лязг железа, судорога подземного гула надвигаются все ближе.

Лебединое облако пара пролетело в окне, пышно разрослось, пропало. Синий паровоз с маслеными потемневшими боками проплывает в окне.

— Как же это у нас получилось, Артем? — произносит про себя Жухрай.

Мимо окна медленно проходят площадки с орудиями, грозящие небу короткие хоботы, броневики со слепо блистающими фарами, наглухо закрытые теплушки с запечатанными в них человеческими душами.

Состав прошел. Ночь в окне очистилась: над ней загорелся мертвенный, узкий фонарь. Замирающий шелест трансмиссий в цеху, замедляющее движение станков...

Во тьме, по степям Украины, несется поезд с войсками Вильгельма II. Мелькнул лес, овраги, деревушка — голубые под луной хаты, голубые деревья в цвету.

— На усмирение поехали, — говорит Артем, подбрасывая в топку уголь, — клятая жизнь, батько...

Озаренный розовым золотом огня, он захлопывает железную дверцу, отирает рукавом испачканное углем и потом лицо, садится на табурет, роняет черные руки. На тендере,

свесив жирные ноги, сидит немецкий солдат в каске с орлом. Ночь, блещущая луна утонула в озере, на земле склонились темные головы подсолнухов.

— Верстов двадцать отъехали, — говорит Артем.

— Кривая Балка, — выглядывает в окно Полентовский.

А р т е м. Она. (И вдруг — с отчаянием темной, доброй души.) Ну и он же человек, батько!..

Немец надул щеки, закурил черную, длинную, грошовую сигару.

А р т е м. Ну и он же богу не виноват...

— А мы чем богу виноваты? — спрашивает Полентовский.

— Когда ж грех, — тоскуя говорит Артем.

— Нема греха, — отвечает Полентовский.

Немец, надув толстые щеки, сосет сигару, сопит, и, обняв ружье, задремывает. Над ним, закрывая небо, вырастает Артем с ломом. Тело солдата сваливается в проход.

— Кажу тебе, сынок, нема греха, — сутулый Полентовский выпрямился, глаза его блеснули.

Поезд мчится по лугу, среди неясно светящихся цветов. За темной, грохочущей громадой, без усилия, плывет луна. Две тени отвалились от паровоза и скатились по насыпи.

Освобожденный, никем не управляемый, поезд вздрогнул, рванулся, взлетел на пригорок, поскрежетал по мосту и, ломая стрелки, обезумев, осветился и поднялся в воздух.

В груде пылающих обломков рвутся зарядные ящики — один за другим.

В тюрьме у Петлюры

На нарах, в окутанных мглою углах, застыли люди. Слабый свет пробивается из окошка под потолком. Привалившись к стене, косо разинув рот, спит старик: одна щека его заросла диким мясом. Против окна женщина в платке на круглых жирных плечах ищет в волосах у положившей голову на ее колени девочки. В дальнем углу на выщербленном земляном полу лежит с рассеченным лицом Корчагин. К нему неслышно, пугливо приближается крестьянская девушка в платочке, в деревенских башмаках.

— Звать как? — хрипло говорит старик, просыпаясь.

— Христя, — чуть слышно отвечает девушка.

Храп старика снова оглашает камеру.

Присев на корточки, Христя подает Павлу кружку с водой. Худая рука Корчагина вздрагивает, зубы стучат.

— Верно ж люди говорят, что бога нет, — шепчет Христя, не отрывая глаз от простертого на полу Корчагина. — Разве ж есть он, когда таке молоде страдает?..

Она разложила по-крестьянски юбки на полу, пригорюнилась, положила голову на ладонь. За стеной раскатываются громкие голоса, взрывы солдатского смеха. Грохот отодвигаемого засова заставляет Христю вздрогнуть, подняться. Гремя неумело вделанными шпорами, в подвал входит комендант с оселедцем, в синем жупане — жирный юноша с обвислым розовым лицом. Прикрыв один глаз, он манит к себе пальцем Христину. Та подходит кружась, зигзагами, как подбитая птица.

— Хиба ж мы, дивчина, будем тут век вековать? — И комендант трогает девушку жирным плечом.

— Пустыть мене, пане, — говорит Христина и поднимает на коменданта глаза, нестерпимо сияющие страданием.

Краснощекий петлюровец наклоняется ближе, снова прикрывает один глаз и мертво глядит прямо перед собой другим — открытым:

— Когда по доброму согласию — можно и отпустить...

— Не надо, пане, — шепчет Христя.

— А не надо, — повторяет за Христей комендант, — казакам отдам...

Позванивая шпорами, как бубенцами, комендант выходит, широкий, толстоногий, с круглой спиной. Христина смотрит ему вслед, жалобное, детское недоумение выступает у нее на лице — потом беззвучно, с размаху, она падает на пол.

— Знущаються над дивчиной, — вздыхает женщина в платке.

— Было б чего плакать, — довольным голосом говорит выспавшийся старик, — предоставь начальству, что начальству требуется, оно и помягшает...

— Старый вы, диду, — отвечает женщина, роясь у девочки в густых волосах, — старый, а дурный...

Горящий взгляд Корчагина прикован к женщине. Мысль бьется в этих глазах. Павел приподнимается на локте, запекшиеся губы его разлепились:

— Не поддавайся, Христя...

Зарыв голову в колени, Христя раскачивается безутешным, однообразным нескончаемым движением:

— Ой, когда ж сила ихняя, — чуть слышно, как будто издалека, доносится ее голос. — Ой, же ж, тяжко жити на свете, хлопчику... Замучают Христю, проклятые...

— Давно б дома была, — равнодушно хрипит растворенный сумраком старик и удобнее приваливается к стене, — когда б не дурость твоя...

— Так я ж еще барышня, диду, — говорит Христя и поднимает голову.

Снова гремит засов открываемой двери. Сутулый, громадный, тощий, настороженный, принюхивающийся входит в камеру писарь. В руке у него сгибается исписанный лист бумаги.

— Гнатюк Христина Филипповна?

И шаря вспыхивающими глазами по бумаге:

— Какой волости?

Христя пятится, прижимается к стене.

— Киевской губернии, Шепетовской волости.

— Православная?

— Православная.

— Земли сколько?

— Безземельная...

— Расписаться умеешь?

Христя молча кивает головой.

— Спасибо вам, пане...

Девушка бросается к сутулому писарю в пенсне, целует его жилистую большую руку, выпрямляется и, обернувшись к остающимся:

— Прощайте, люди добры...

И к Павлу:

— Прощай, голубе...

Дверь за нею закрывается, гремит засов. Старик закуривает козью ножку и выпускает бурную струю дыма.

— Придет это она сейчас до себя в село, до батькиной хаты... Наделает это она себе галушек с полета...

За дверью — пронзительный крик Христины, топот ног, падение тел. Старик поднял голову, вслушался:

— Испортили барышню...

Глухие удары тела Корчагина о дверь.

Он бьется об нее обезумев, мотая головой, стуча кулаками. Волчок у двери приоткрывается, показывается лицо часового:

— Не иначе — приклада захотел?

СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ, 4

I

Из здания ЦК ВКП(б) на Старой площади, 4, вышел сухощавый человек в кожаном пальто.

Над его головой — лепные буквы вывески: «ЦК ВКП(б-ов)».

Глаза человека в кожаном пальто смотрели не мигая прямо перед собой.

Его толкнула пробежавшая с пакетом женщина; он не почувствовал толчка и медленно пошел вперед — к длинному ряду машин, стоявших наискосок от здания ЦК.

Он нашел свою машину, открыл дверцу и сел рядом с шофером.

Долговязый шофер с лицом простодушным, курносым и азартным включил газ.

Машина шла по Москве.

Проезжая мимо Кремля, шофер искоса посмотрел на человека в кожаном пальто:

— Периферия?..

Сухощавый покачал головой:

— Москва…

Машина ныряет из переулка в переулок.

— Кто же мы, Алексей Кузьмич? — сказал шофер, не поворачивая головы.

Человек в кожаном пальто вышел из оцепенения.

— Кто мы?.. Дирижаблестрой.

— Крепко!.. — покрутил шофер головой.

Мелькают огни столицы.

Шофер — не поворачивая головы:

— Если по науке, дирижабль этот — как его понять?

— Понять надо, Вася, что легче воздуха...

Вася снова покрутил головой:

— Крепко!..

Алексей Кузьмич пошевелился:

— Как бы мы с тобой от этого Дирижаблестроя сами легче воздуха не оказались!..

Вася — ворочая рулем:

— Свободная вещь...

Машина шла по Москве.

— Как держать, Алексей Кузьмич?

— На шоссе, как на дачу ездили летом... Двенадцатый километр...

Машина оставила за собой город. С обеих сторон отливают изумрудом ранние весенние поля.

Вася остановился у двенадцатого километра. Алексей Кузьмич вышел из машины и пошел по мокрой траве в сторону от шоссе. За ним неумело ступает длинными ногами Вася.

Алексей Кузьмич стоял среди бесконечного пустого поля. Мокрая трава облепила его сапоги. Вася стоял рядом.

Оба молчали. Алексей Кузьмич оглянулся кругом, обвел глазами поле — всюду было пусто, только вдали чернели развалины старой казармы да торчала кривая, голая одинокая верба.

— Площадка... — сказал Алексей Кузьмич.

Вася обвел глазами «площадку» и произнес не то соболезнующе, не то злорадно:

— Было ты поле, стала площадка!..

— Все оно здесь, — заговорил Алексей Кузьмич. — Верфь, эллинги, газоочистительная станция, газгольдеры, конструкторская — весь Дирижаблестрой!

— Ну, и в чем дело? — запальчиво перебил его Вася. — В чем дело, Алексей Кузьмич?.. Выдвинули нас в двадцать шестом цехом заведовать... не хуже людей заведовали. Выдвинули нас в замдиректора на сорок втором — тоже от людей не стыдно было! В чем дело, Алексей Кузьмич? А хоть бы и легче воздуха...

— Вот и в ЦК так говорят... — сказал Алексей Кузьмич, не то соглашаясь, не то размышляя...

II

Деревянный барак на площадке Дирижаблестроя. Фанерными листами отгорожен небольшой куток с надписью: «Начальник Дирижаблестроя».

Через все помещение, прогрызаясь сквозь фанерный заборчик, протянула длинную черную трубу печка-времянка.

В «кабинете» начальника сидит Алексей Кузьмич в оперном кресле с перламутровой инкрустацией. Перед ним колченогий стол, заваленный бумагами, проектами, образцами материалов. В «кабинете» шум, гомон, толпится строительный народ; десятник в запачканных известью резиновых сапогах унылым басом заявляет:

— Не хотят — и край!

Мурашко вскинул на него глаза:

— Как не хотят?

— А по какому им случаю хотеть? — огрызнулся десятник. — На Анилинстрое по четвертому разряду отрывают, а у нас по второму работай! Потом столовая, вроде... как бы... не удовлетворяет...

— Это почему?

— Никак, товарищ Мурашко, не удовлетворяет... Теперь землекоп какой? Ему котлеты подай, а другой выищется — бефстроганов требует. Пообтерся народ!..

Мурашко записал в блокнот и обернулся к другому прорабу — рябому человечку с металлическим метром в руках:

— Ты чего?

Многочисленность и непрерывность строительных огорчений выработали в прорабе мрачную решимость в выражениях:

— Я?.. Через два дня стану...

— Цемент?..

— Он... Бочек сорок наскребу — и аминь.

За перегородкой на ящике, заменявшем стул, сидела секретарша — полная, добрая, розовая женщина. На втором ящике побольше лежали бумаги и стоял телефон, похожий на полевой и напоминавший своим видом фронт и передовые позиции. Секретарша безмятежным голосом сказала через перегородку:

— Алексей Кузьмич! Четвертый стройтрест...

Мурашко взял трубку:

— Мурашко у телефона...

Тут возникает большой кабинет директора стройтреста, человека с удивленно-поросячьим молочным лицом. За

креслом директора стоит, нашептывая ему что-то на ухо, зам с черно-синей шевелюрой и излишне выразительным лицом провинциального актера.

Директор стройтреста тонким обиженным голосом жалуется в телефон:

— Не иначе, товарищ Мурашко, как вы с луны свалились!..

— А мы воздухоплаватели, — мрачно отвечает Мурашко, — нам не страшно...

Зам нагнулся к уху своего патрона и прошипел:

— Ты покрепче!..

Директор весь надулся:

— Я повторяю, что цемента нет и не предвидится!

Зам приник к самому уху патрона:

— Ты пожестче!

— К вашему сведению, — раздается тогда удручающе ровный голос Мурашко, — к вашему сведению: из Новороссийска четырнадцатого по накладной № 94611 в ваш адрес отгружено две тысячи тонн цементу. Двадцать первого он поступил на ваш московский склад. — И начальник Дирижаблестроя повесил трубку.

Поросячье лицо директора выразило высшую степень изумления и обиды.

— Говорит... четырнадцатого отгружено, — растерянно пролепетал он, — а двадцать первого поступило на склад!

Зам с излишне выразительным лицом побагровел, потом побледнел:

— Такое дело, Иван Семенович, это была одна записка... — зашептал он и стал озираться...

«Кабинет» Мурашко. Перед столом начальника стоял коротенький бухгалтер, похожий на гуся, собиравшегося взлететь. Поглаживая себя руками, он сдобным голосом выговаривал:

— Генеральную смету мы исчисляем в двадцать восемь миллионов.

За окном — дремучий голос:

— Аксинья, стрельни сорок копеек на заварку!

Мурашко посмотрел на оглаживающего себя бухгалтера:

— Не уложимся. Берите мою цифру — тридцать пять.

Бухгалтер весь вывернулся, как от удара бичом:

— Алексей Кузьмич, разрешите доложить...

Из-за перегородки — умиротворяющий голос секретарши Агнии Константиновны:

— Возьмите трубку... ЦК комсомола...

Возникает кабинет секретаря ЦК ВЛКСМ. В кресле беленькая девушка с косами, уложенными вокруг головы. Она пробежала глазами бумаги, лежавшие на столе, и заговорила с напористостью, которая не только была деловитость, но и молодость, и веселье, и сила, переполнявшие ее:

— Товарищ Мурашко, это тебе нужны, погоди?.. — Девушка еще раз пробежала бумагу: — Конструкторы дирижаблей, эллингов, причальных мачт, водители аппаратов легче воздуха, механики газоочистительной станции... Погоди... — Она перевернула бумагу и закончила еще неудержимей: — Инженеры с воздухоплавательным уклоном, чертежники, работавшие на проекте дирижабля?..

Мурашко, зараженный этим потоком юности и веселья, в тон девушке ответил:

— Мне.

Секретарь ЦК отложила бумаги в сторону.

— Так вот, получишь хороших комсомольцев без всякого уклона.

Мурашко встрепенулся:

— А что я с ними делать буду?

— А другие что делают? — Секретарь ЦК посмотрела в окно — за окном была Москва. — Перемотаешь на свою катушку.

— А хваленая помощь где? — сказал тогда Мурашко.

— Зато какого мы тебе комсорга подобрали, — прервала его девушка с косицами, — бригадир сборки с электрозавода. Кремень человек.

Мурашко повесил трубку, но отсвет оживления не скоро еще сошел с его лица.

— Алексей Кузьмич, — подпрыгивал у его стола бухгалтер, — разрешите доложить... Не говоря уже об инструкции № 380, нас форменным образом режут лимитами.

В комнату Мурашко не столько вошла, сколько вломилась крохотная девушка в льняных непокорных кудрях и с лицом, на котором было написано непоколебимое упорство восемнадцати весен...

— Предупреждаю, что я их в глаза не видела! — сказала она с порога.

— Кого это? — спросил Мурашко, мало чему удивлявшийся.

— Да дирижаблей этих...

— А зачем, собственно, вам их видеть?

— Вот новое дело! — удивилась девушка. — Комсорг от ЦК комсомола — и «зачем вам их видеть»!

— Комсорг от ЦК?

— Ага, — ответила девушка. — Познакомились...

Она тряхнула руку Алексея Кузьмича и направилась к двери.

— Пойду посмотрю общежитие строительных рабочих, что-то оно кисло у вас выглядит. На дрянь похоже...

И не столько ушла, сколько вывалилась.

— Скандальная девица! — заключил, глядя ей вслед, главный бухгалтер.

— Бомба! — добавил прораб и уступил место бухгалтеру, подпрыгивающему все сильнее.

— Алексей Кузьмич, лично для меня точка зрения правительства абсолютно ясна. Дело в том, что лимиты...

— Ставьте тридцать пять... — перебил Мурашко тоном, исключавшим дискуссию.

Секретарша открыла дверь и пропустила голубоглазого розового старичка.

— Профессор Полибин, — сказала она, и на добром лице ее появились испуг и значительность.

Мурашко замахал на всех руками; комната опустела. Мурашко придвинул профессору единственное кресло с инкрустацией, а сам присел на кипу связанных паркетных дощечек.

Полибин заглянул в окно, огляделся кругом и медовым голосом произнес:

— Я бы отметил, что вы уже начали...

За перегородкой готовый взлететь бухгалтер пытался излить свое горе секретарше:

— Мне-то, Агния Константиновна, точка зрения правительства хорошо известна...

В «кабинете» Полибин, бегая по собеседнику голубыми глазками, сладчайше излагал целую декларацию:

— Я бы расценил, уважаемый Алексей Кузьмич, вопрос о кандидатуре на пост главного конструктора как вопрос более или менее неразрешимый... В самом деле, кто представляет данную дисциплину у нас в Союзе?

Мурашко придвинулся поближе на своей кипе.

— Знаменитый наш Иван Платонович Толмазов, — продолжал, неутомимо бегая глазами, Полибин, — академик, теоретик чистой воды...

— О нем и не мечтаем, — сказал Мурашко.

— Из школы Ивана Платоновича, — струился тенорок Полибина, — я бы остановился на Васильеве, но... молод, недопустимо молод...

— Недостаток, который с годами проходит, — заметил Мурашко. — А кого бы прикинуть помимо школы Ивана Платоновича?

Полибин — с остановившимися глазками, как бы проникая внутрь собственного сознания:

— Жуков, Петр Николаевич... Perpetuum mobile...* Фантаст, я бы выразился, маньяк... Есть еще Ястржемский, но этот, я бы сказал, не подойдет... не наш...

---

* Вечный двигатель (*лат*.).

Мурашко согласился:

— Этот не подойдет.

Пауза.

— А если, уважаемый профессор, вас за бока?..

Необыкновенное благообразие проступило на розовом лице Полибина... Он открыл рот, но в это мгновение у секретарши за перегородкой разразилось сражение: сражалась кроткая Агния Константиновна с пожилой женщиной в берете и с вытертой горжеткой на шее.

— Профессор Полибин — величина, — тыча в Агнию Константиновну сумкой, кричала женщина с горжеткой, — но я мать, гражданка, перед вами стоит мать!

Сватовство в кабинете Мурашко подходило к концу.

— Я мог бы указать в заключение, — рябь душевного волнения тронула елей полибинского голоса, — указать на весь мой двадцативосьмилетний научный стаж, на всю мою общественную работу, как сочувствующего с 1927 года...

Мурашко постучал указательным пальцем по собственному колену и поднялся:

— Обдумаем, дорогой профессор, обсудим... Поговорим...

Полибин, округлив спину, пожал сухонькой ладонью широкую руку Мурашко и попятился назад. В дверях на него налетела горжетка. Она пропустила его, потом загородила собой дверь и перешла в наступление:

— Товарищ директор...

Мурашко нахлобучил кепку:

— Послезавтра... Сейчас уезжаю...

Но до отъезда было далеко. В дверях стояло существо, победоносно возбужденное и готовое к бою.

— Когда у матери к вам такое горе, тогда можно подождать с отъездом. — И она вытащила из сумки письмо.

— Это не от кого-нибудь письмо... Это от Елисеева…

Мурашко пробежал письмо и с интересом взглянул на посетительницу.

— Вы мать Фридмана?

— Я мать лихача... — скорбно ответила женщина.

Мурашко — запихивая бумаги в портфель:

— Товарищ Фридман... Раиса Львовна?

— Раиса Львовна.

— Все это хорошо, пилотом мы его возьмем, почему не взять, но дело-то все через год, не раньше... Потом, он ведь по субстратостатам, а у нас Дирижаблестрой...

Но Раиса Львовна не поколебалась.

— Что я у вас спрашиваю? Я спрашиваю одно: имеет право мать хотеть, чтобы ее единственный сын раскрывал парашют не в пятидесяти метрах от земли, а в трехстах метрах?.. На месте товарища Ворошилова, — всхлипывая, сказала Раиса Львовна, — я бы такого человека разорвала на куски, но, как мать, я должна терпеть...

Мурашко решительно схватил портфель:

— Раиса Львовна, право, мне некогда...

Раиса Львовна высморкалась и вытерла глаза.

— У вас, наверное, тоже есть мама?.. Она бы меня поняла, ваша мама... Как он рос?.. — завопила она неожиданно. — Почему вы меня не спрашиваете, что я испытала, по-

ка я его вырастила?.. Он же рос у меня на одном сливочном масле, на куриных котлетах, на одних витаминах. Душу я отдавала этим котлетам, все я отдавала этим котлетам, чтобы они, не дай бог, не пережарились, чтобы они, не дай бог, не недожарились… И что я этим достигла?.. Сегодня затяжной прыжок с неба, завтра с Луны…

— Знаете что, Раиса Львовна, — перебил ее вдруг Мурашко.

— Нет, я не знаю, — всхлипывая, сказала мамаша Фридмана.

— Знаете что, — глаза Мурашко засверкали, и он придвинулся к ней вплотную. — Вы должны будете поставить нам столовую, Раиса Львовна. И если ваш Лева попадет сюда — кормить его вместе со всеми остальными котлетами на чистых витаминах…

Пораженная мамаша Фридмана сделала шаг назад:

— Вы, кажется, тоже лихач, товарищ директор… Я к вам пришла с таким горем…

Но Мурашко уже перешел в наступление:

— На чистом сливочном масле, на витаминах, а? Товарищ Фридман?

III

Ночь. Идущий поезд. Купе мягкого вагона.

Мурашко погрузился в чтение английской технической книги. Рядом с ним вяжет кружевной воротник для платья русая спокойная женщина с пробором, лет двадцати шести.

Женщина взглянула на часы:

— Первый час…

— Я выйду… вы ложитесь.

Мурашко вышел в коридор и закурил.

Из умывальной прошел рослый, смугло-румяный, длинноногий парень в форме Аэрофлота. На плече у него висело мохнатое полотенце, в руках он держал мыльницу.

— Мурашко!.. Здорово!.. Куда?

— В Воронеж...

— Попутчик?.. Попутчица?..

— Попутчица...

— Категория?..

Мурашко немного подумал.

— Скорей всего домашнее животное...

— Не интересно, — сказал рослый парень с полотенцем и вошел к себе в купе.

Мурашко курил у окна; в стекло — мокрые, черные, трясущиеся на быстром ходу поля.

Спутница Мурашко успела к этому времени облачиться в пижаму, расчесать гребнем мягкие волосы. Она вынула из чемодана черную кожаную трубку с чертежами, положила ее в сгиб постели к стене и прикрыла простыней; потом достала из сумки маленький револьвер и проверила патроны. Револьвер она положила под подушку, легла и укрылась одеялом.

IV

Невообразимый грохот. Размахивая деревянными саблями, сражаются двое мальчишек лет пяти-шести. Человек девяти лет играет на самодельном барабане, и, наконец, патриарх — двенадцатилетний Игорь — летает по комнате, уцепившись за деревянную модель большого дирижабля, подвешенного

на веревках к потолку. Спокойствие сохраняет собака — старая лохматая собака, философски дремлющая на пороге.

Маленькие оконца заставлены геранью и кактусами. Повыше цветов укреплены клетки с птицами: здесь скворцы, дрозды, канарейки и птицы непонятного назначения. Все это поет, верещит, свистит.

В углу на двух табуретах — корыто. Пышно причесанная, пухлая женщина стирала белье, медленно и равномерно намыливая его. При этом она читала книгу, поставленную на подоконник.

На пороге этой необычайной комнаты в изумлении застыл Мурашко. На приход его никто не обратил внимания, только собака открыла один глаз и снова закрыла его.

— Я, гражданка, звонил, звонил...

При звуках чужого голоса дети перестали играть и с непритворным удивлением уставились на Мурашко. Летавший мальчик спрыгнул вниз. Собака вздрогнула от неожиданности.

— А у нас не заперто, — простодушно ответила женщина с высокой прической и стряхнула с покрасневших рук мыльную пену. — Что у нас возьмешь? Вам Жукова?.. Петя! — закричала женщина. — Петя!

В ответ ей сердито свистнул скворец.

— Нет его?.. — огорчился Мурашко.

Женщина вытерла руки о передник.

— Да есть он, только не откликается. Он никогда не откликается. А вы войдите...

И забыв о Мурашко, она принялась за чтение.

Комната Жукова. На окнах опять герань и клетки с птицами. На деревянных полках — реторты, колбы, пузырьки. В углу токарный станок. На полу развалившиеся штабеля книг. На стульях, на столе, на кровати разложены чертежи. За столом с изрезанной клеенкой сидел в черной гриве волос человек лет пятидесяти в стальных очках, в ненужной бороденке и быстро чертил рейсфедером.

Мурашко кашлянул, постоял, пошуршал ногами. Но человек за столом ничего не слышал, или, вернее, он слышал таинственную, ему одному понятную музыку. Мурашко кашлянул громче. Жуков поднял голову от чертежа:

— Да?..

— Я из Москвы... — сказал Мурашко.

— Короче, — перебил его Жуков.

— Хочу предложить вам работу...

Жуков, откинув голову, захохотал, потом умолк, потом сказал отрывисто:

— Состою на службе... Конструктор привязных аэростатов... Халтурой не занимаюсь.

— Не то, — остановил его Мурашко. — Вы подавали в Совнарком докладную записку о проекте нового дирижабля?

Жуков вскочил:

— Комиссия? Вы комиссия? Черт вас побери!

Он выхватил из открытого ящика кипу бумажек и начал швырять их в Мурашко:

— Вот они, вот они!

— Кто — они? — сказал Мурашко.

— Справки от докторов, черт вас побери! Справки, что я здоров... Не удалось толмазовым вашим свести меня с ума! — неожиданным фальцетом взвизгнул Жуков. — И не удастся!..

Его привела в чувство невозмутимость Мурашко. Он смешался, сердито блеснул глазами из-под очков, отвернулся.

— Зачем вы приехали?

— Пригласить вас на работу в Дирижаблестрой.

Жуков с силой провел черту рейсфедером, откинулся, подумал и мирным, скорее утвердительным, тоном сказал:

— Вы приглашаете меня?.. Вы сумасшедший?

Мурашко вынул картонный квадратик с фотографической карточкой.

Жуков в ужасе отпрянул.

— Бумажка?!

— Всего только удостоверение начальника Дирижаблестроя.

Жуков пронзительно посмотрел на гостя — за стальными очками горела буйная, упрямая мысль. Он провел рукой по волосам, затем быстро свернул несколько чертежей, взял две папки, связал все это веревкой, надел пальто, нахлобучил шляпу.

— Едем, — сказал он.

Оба вышли в соседнюю комнату.

— Катя, я еду в Москву, — невнятно пробормотал Жуков и неумело потрепал ребят по волосам.

Жена Жукова вытерла руки, подошла к мужу, поцеловала его в бороду и сказала:

— Привези лимонов.

Жуков, глядя поверх детей:

— Цицерону не забыть цитварного семени... Цицерон — это скворец, — растерянно сказал он Мурашко и вдруг заорал на детей: — Мать не обижайте!

— До свиданья, товарищ Жукова, — поклонился Мурашко.

— До свиданьица! — Она перестала читать и с детским любопытством спросила: — А зачем вы его забираете?

— Очень нужен, — сказал Мурашко.

Собака открыла сразу оба глаза. Отчаянно свистнул скворец...

На глухой провинциальной улице Мурашко и Жуков остановились на повороте, пропуская мимо себя автомобиль.

— Должность ваша будет...

— В Дирижаблестрое я готов подметать полы! — быстро сказал Жуков.

Мурашко улыбнулся:

— Будете главным конструктором, Петр Николаевич.

Жуков махнул бородой:

— Неважно... Главное, чтобы они летали...

— Кто — они?

— Советские дирижабли...

V

Приемная в Экономсовете СНК. Обложенные пачками бумаг группы хозяйственников, директоров, докладчиков, пришедших защищать свои проекты, — люди со всех концов страны.

Прошел человек с монгольским лицом, мелькнул расшитый халат.

Раскрылись заветные двери, из зала заседания вылетел человек в расстегнутом френче, с раскрытым портфелем, из которого хочет вылететь стайка бумаг. К нему ринулся поджидавший в дверях зам.

— Придерживаться инструкции № 380, — злобно, почти мистически прошептал вошедший.

Зам встал в позицию.

— Но позвольте...

— Ничего не позволяют, — пустым голосом сказал первый.

В приемной за столом — изучающий материалы Мурашко. Главбух бросил на него огненный взгляд и простонал:

— Алексей Кузьмич!

Вытирая платком с лица пот, катится из заветных дверей директор четвертого стройтреста. Перед ним вырастает сине-черный зам в хорошо сшитом костюме.

— Зарезали! — пролепетал директор.

Зам выпрямился:

— То есть на каком основании зарезали?

— На том основании, что извольте руководствоваться установленными лимитами...

И снова стон главбуха Дирижаблестроя:

— Алексей Кузьмич!..

Распахнулась заветная дверь. Дребезжащий голос секретаря:

— Дирижаблестрой...

С места срывается докладчик — длинный человек с пенсне на шнурке. Он увлекает за собой Мурашко. Дверь за ними закрывается.

Бухгалтер переходит тогда к заму из четвертого стройтреста. В нем он находит единомышленника:

— Абсолютно не хотят считаться с тем, что если человек знает точку зрения правительства, то с таким человеком надо считаться...

Зал заседаний. Десяток людей за круглым столом. Вкрадчивый докладчик, дергая пенсне на черном шнурке, сыплет привычные слова:

— В основном инструкция № 380 выполнена Дирижаблестроем с некоторыми поправочными коэффициентами, учитывая специфичность объекта. Принимая далее повышенные лимиты по строительству, комиссия предлагает исчислить стоимость объекта в 32 миллиона 446 тысяч рублей...

В приемной у заветной двери подпрыгивает бухгалтер.

В зале заседаний — заключительное слово председателя:

— Есть, товарищи, мнение... — говорит он. — Ввиду неудовлетворительности генерального проекта, ввиду того, что крохоборчески составленная смета не дает действительных перспектив этого важного дела, есть мнение, товарищи, вернуть проект для переработки... Предельный срок строительства установить в полтора года... Сумму капиталовложений определить ориентировочно в девяносто миллионов рублей.

Предложить Дирижаблестрою представить новый проект и смету, исходя из этих показателей. Имеются возражения?

— Нет, — сказал Мурашко изменившимся, как бы охрипшим голосом, — не имеется.

Председатель кивнул секретарю, ведшему протокол:

— Возражений нет...

VI

По шоссе с громадной быстротой летит машина... У переезда ее останавливает милиционер:

— Предъявите права.

На шоферском месте Вася, он сразу начал торговаться:

— Шестьдесят пять, больше не давал!

— Сто двадцать ты давал, — ответил милиционер. — Чья машина?

— Моя, — раздается голос Раисы Львовны, и плечо с горжеткой высунулось из окна.

— А вы кто?

— Я — Дирижаблестрой, — ответила Раиса Львовна. И когда машина тронулась, плечо с горжеткой снова показалось в окне и внушительно сказало: — Товарищ, надо знать, кого задерживать!

Машина идет по территории Дирижаблестроя, с трудом пробираясь мимо наваленных штабелей кирпича, досок, бревен, бочек с цементом. Машина едет мимо растущей кирпичной стены, мимо экскаваторов, грызущих грунт, мимо тягачей, увозящих платформы с грузом. На мгновение

машина остановилась, чтобы пропустить игрушечный поезд узкоколейной железной дороги. В открытом маленьком вагончике сложены оконные рамы и стандартные двери. Глухой шум экскаваторов, скрежет лебедок, музыка стройки. В машине, остановившейся у шлагбаума, Раиса Львовна проводит с Васей производственное совещание:

— Как вы думаете, Василий, если завтра для ИТР будет на закуску рубленая селедочка?..

— Красота! — заявляет Вася.

— На первое куриный бульончик с фрикадельками...

— Пойдет! — подтверждает Вася.

— На второе кисло-сладкое мясо...

Тут Вася спасовал:

— Это — не знаю...

— Дивное блюдо, — уверяет его Раиса Львовна. — На третье штрудель...

— Красота! — мотнул головой Василий. — При вас, мамаша, свет увидали...

На повороте Раиса Львовна выскочила из машины.

— Но чего мне это стоит, — сказала она, удаляясь. — Дошло до того, что днем я мужа абсолютно не вижу...

Раиса Львовна проходит мимо остатков барака у одинокой, чудом уцелевшей вербы. Барак растаскивают молниеносно.

К прорабу величественно подплыла Раиса Львовна:

— Гражданин, где здесь вторая столовая?

Прораб — указывая на рабочих, разбирающих барак:

— Она самая...

— Ее же ломают?!

— Оно верно, что ломают, — согласился прораб.

— А новая?.. — упавшим голосом сказала Раиса Львовна.

— Новую построить надо... Куда вы, гражданка?!

Перепрыгивая через обломки барака, Раиса Львовна мчалась к зданию главной конторы.

У Мурашко в этом здании новый кабинет — комната, в которой рабочие ставят четвертую готовую стену рядом с дверью. Но Мурашко сидит уже за письменным столом. Две уборщицы раскладывают на полу ковер.

Мимо секретарши пронеслась Раиса Львовна.

— Алексей Кузьмич! Ее же нет!..

— Кого нет?!

— Столовой нет! Я вне себя!..

— Выстроим, Раиса Львовна...

— Но вы же сказали заведовать?

— Заведовать успеется. А вы бы, пока суд да дело, за горло строителей, поставщиков, материальную часть…

Разговор был прерван необычным появлением Агнии Константиновны. С красными пятнами на лице она объявила страшным шепотом:

— Толмазов...

Мурашко вскочил, стал застегивать гимнастерку:

— Ну, Раиса Львовна, жара! Про Толмазова слыхали?

— Я, кажется, интеллигентный человек… — с достоинством произнесла Раиса Львовна.

Мурашко торопливо прибирал бумаги на столе, сунул тарелку с печеньем в ящик стола, поднял с полу и бросил

в корзину бумажные клочья. При этом он говорил Раисе Львовне:

— Значит, действуйте... Неужели и вас учить?

— Меня учить не надо, — с сомнением в голосе сказала Раиса Львовна, — но поскольку вы просили заведовать...

И она удалилась.

Мурашко придвинул мягкое кресло поближе к столу.

В приемной около раскрасневшейся секретарши разговаривали двое: дышавший покоем и уверенностью немолодой человек с коротко стриженными волосами в просторном и дорогом костюме. Это был знаменитый человек — Толмазов. И рядом с ним — широкоплечий, чуть скуластый, тяжелый, крепко скроенный парень с невеселым лицом, аспирант Толмазова — Васильев.

— Иван Платонович, — говорил Васильев, — на вас вся надежда. Одно ваше слово...

— Скажем это слово, — ответил Толмазов голосом таким же просторным, как его костюм, — скажем, Сережа... В обиду не дадим...

В дверях — Мурашко.

— Прошу, Иван Платонович...

Мурашко за столом, Толмазов — в кресле.

— Очень уж редко видеть вас приходится, Иван Платонович.

Толмазов — с допустимым для академика кокетством:

— На этот раз я в роли просителя...

— Значит, повезло нам, — вырвалось у Мурашко.

Толмазов вопросительно посмотрел на начальника строительства.

— Исполнить просьбу Толмазова, — объяснил свое восклицание Мурашко, — дело очень приятное... Приятных дел не так уж много, Иван Платонович.

Академик улыбнулся.

— Ну, спасибо. Дело идет об аспиранте нашего института Васильеве. Он недавно защитил диссертацию, защитил блестяще. Темой была моя вихревая теория.

Мурашко сочувственно кивнул головой.

— Васильев соединяет глубокие познания по аэродинамике с большой тщательностью и точностью в работе...

Мурашко снова кивнул головой.

— И вот оказывается, Васильева, как члена ВЛКСМ, перебрасывают на ваше строительство. Хотелось бы думать, товарищ...

Начальник строительства подсказал:

— ...Мурашко.

— ...товарищ Мурашко, что вы не станете возражать против оставления его при кафедре.

— Стану, — сказал Мурашко. — По правде говоря, были у меня некоторые колебания по поводу этой кандидатуры, но после той характеристики, которую вы ему дали... Придется вам отдать Васильева Дирижаблестрою, Иван Платонович...

У Толмазова по лицу пробежала тень. Он встал.

— Мне остается обратиться в высшую инстанцию...

В кабинет ворвался растрепанный Жуков.

— Алексей Кузьмич, просто вы кирпич после этого!.. На верфи опять...

Ошеломленный Толмазов отошел в сторону, но Жуков его увидел — и оба оцепенели.

— Здравствуйте, Иван Платонович! — раздался после паузы неожиданно тонкий голос Жукова.

Толмазов поклонился. Жуков поклонился в свою очередь, но в глазах его уже заблистали молнии:

— Как видите, жив и с ума не сошел...

— Если судить по вашей последней статье...

Жуков весь вскинулся, рванулся вперед:

— Не согласны?

Толмазов покачал головой:

— Коренным образом...

— Неужели же вы не удосужились понять?! — закричал Жуков, наступая на академика.

Толмазов повернулся к Мурашко и снисходительно объяснил:

— Мы с Петром Николаевичем спорим лет эдак с двадцать...

— В курсе, — сказал Мурашко.

Между тем Жуков кричал что-то близкое к бреду:

— Крючок, Иван Платонович, я-то крючок, никуда не гожусь, а вы похорошели, честное слово, похорошели... Красавец... Юноша-красавец, мужчина-красавец, старик-красавец... Бог — Иван Платонович, божество!..

Жуков извивался, дергал руками, метался по комнате.

Толмазов поморщился — и чтобы переменить неприятный ему разговор:

— Вы тоже с визитом к товарищу Мурашко?

Жуков чуть не плюнул:

— Да какой визит! Все из-за верфи...

Мурашко — слегка подавшись вперед:

— Петр Николаевич — главный конструктор Дирижаблестроя.

— А-а, — протянул потрясенный Толмазов.

— Вот вам и «а»! — Глаза Жукова сверкнули задорным мальчишеским огнем, и он убежал, что-то бормоча на ходу.

— Очень опасный шаг, — сказал тогда Толмазов, потерявший всю свою официальность. — Это фантазер, самоучка... Очень опасный человек!

— А мы его уравновесили, — взглянув на Толмазова, сказал Мурашко. — Мне звонили сегодня, Иван Платонович... Назначен Ученый совет Дирижаблестроя во главе с уважаемым академиком Толмазовым...

— Вы шутите? — сказал академик.

— Какие шутки, — сказал Мурашко, — надо же все-таки, чтобы они летали!

— Кто — они? — спросил Толмазов.

— Советские дирижабли...

VII

Мы видим удлиненные корпуса верфи, разбросанные на обширной площади эллинги, газгольдеры, причальную мачту. Некоторые здания готовы, другие отделываются, третьи в лесах. Огромный экскаватор захватывает доисторическими челюстями грунт и неустанно прорубается дальше.

Мы видим готовые здания управления, аэродинамической лаборатории, новой столовой.

Мы попадаем в конструкторскую. На чертежные столы, на склоненные головы девушек-чертежниц падают яркие снопы света.

В углу над столом надпись: «Старший инженер группы оперения».

Случай свел когда-то Наташу Мальцеву с товарищем Мурашко в одном купе поезда. Теперь она на настоящем своем месте — «старший инженер группы оперения», двадцатишестилетняя русая женщина с пробором...

Ярко освещенный коридор. Блеск стен и больничная тишина.

По коридору мчится взъерошенный Жуков, его догоняет главбух.

— Петр Николаевич, ваша уборщица прислала заявление, просит пособия за счет жалованья!

Жуков — отрывисто, на ходу:

— Аксинья... Хорошая женщина. Очень хорошая женщина. Дайте пять тысяч!

Еще мгновенье — и главбух, распростерши короткие крылышки, поднимается в воздух.

— Петр Николаевич! Она же просит восемьдесят рублей!..

Но Жуков уже скрылся в дверях конструкторской.

Наташа Мальцева подняла на Жукова пристальные, спокойные глаза, молча придвинула к нему большой чертеж с надписью: «Скоростной дирижабль “СССР-1”, конструкция инженера Жукова» и кивнула уборщице:

— Сергея Ивановича!

Жуков быстро перебирал груду дополнительных чертежей, лежавших на соседнем столе. Потом впился глазами в эскизный чертеж разреза дирижабля.

— Здоровенная штука!

Наташа — все с тем же пристальным, спокойным взором, устремленным на Жукова:

— Гениальная.

Жуков сердито блеснул очками:

— Девичья восторженность?..

Наташа пожала плечами:

— Очевидность...

Вошел Васильев. К нему живо повернулся Жуков.

— Сергей Иванович, ну-ка, путевку в жизнь младенцу...

— Как видите, Васильев, — негромко сказала Мальцева, — дошло дело и до аэродинамических расчетов... Слово за вами...

Васильев подошел к чертежам, склонился над ними:

— Я не совсем разбираюсь. У вас гондола...

— К чертям гондолу! — закричал Жуков. — Внутрь... Залезать!.. Никаких телег!.. Внутрь...

— Баки для горючего... — начал Васильев.

— Никаких баков! Никакого горючего. Водородные моторы... Собственным газом...

— Основные идеи Петра Николаевича... — сказала Мальцева.

— Основные идеи Петра Николаевича мне известны, — перебил ее Васильев, — тем не менее я хотел бы найти рули управления...

Ярко и страстно блеснули из-под очков глаза Жукова:

— Не найдете!

— Тогда позволительно узнать, — с неприкрытой насмешкой спросил Васильев, — как вы будете управлять кораблем?

Жуков рванулся вперед, его остановил чертежный стол.

— Васильев, вы живете в восемнадцатом веке! Вместо рулей — кольцо, восьмиметровое кольцо на хвосте. Оно дает вам управление, скорость, подвижность... Батюшки, пятый!.. — закричал он, бросив взгляд на часы. — Господь бог-то ждет небось? Сергей Иванович, значит, так — раздраконить!

И убегая, главный конструктор не то продекламировал, не то прокукарекал:

— А-э-ро-ди-на-мически!

Васильев смотрел ему вслед до тех пор, пока не захлопнулась дверь.

— Не знаю, куда раньше звонить, — сказал он Мальцевой, — в психиатрическую лечебницу или в НКВД? Сумасшедший это или вредитель?

— Это гений, — ответила Наташа.

— Опровергающий дважды два?

Тогда Наташа Васильеву в тон:

— Дважды два — это вихревая теория Толмазова?

Васильев взорвался, сжал руками стол.

— Нет, уважаемые товарищи, — закричал он, как будто уже выступал на митинге. — Нет, товарищи, тут наука не ночевала! Тут дело партийное, товарищи!

— У нас все дела партийные, — сказал Мурашко, возникший в дверях. — Спокойно, молодежь.

— Ишь, старый выискался! — пробормотала Аксинья, приютившаяся в углу.

— Алексей Кузьмич, — выпрямился Васильев, — я заявляю со всей ответственностью: моя группа рассчитывать этот бред не будет. Я требую экспертизы.

Наташа прищурилась:

— В лице академика Толмазова?

Васильев — едва сдерживая ярость:

— Если вам известен больший авторитет?..

VIII

Аэродинамическая лаборатория Дирижаблестроя. К потолку подвешены модели дирижаблей. На натянутой проволоке слабо качается серебряная, зализанная сигара с убранной внутрь гондолой и винтомоторной группой.

Рядом, в помещении аэродинамической трубы, — комиссия: Толмазов, Жуков, Мурашко, Васильев, Мальцева, Полибин, инженеры из конструкторского бюро. Гудит мотор воздушного насоса. Глаза обращены на стрелки приборов.

Мальцева выключила мотор.

Толмазов прошел в помещение модельной, за ним остальные. Он стал у стены, сверился с записью в блокноте.

— Теперь по результатам испытаний в трубе. Я принимаю водородный мотор, на это можно рискнуть. Я допускаю возможность небольшого увеличения скорости.

— Небольшого увеличения? — запальчиво перебил Жуков. — С полутораста километров на триста!

Толмазов продолжал:

— В остальном я напомню о вещах, известных каждому школьнику. При вашей конструкции кольца, заменяющего

рули, кольцо неизбежно будет прилипать в пограничном слое воздуха, другими словами — дирижабль будет неуправляем. Потрудитесь взглянуть — справочник фирмы Армштадт в Мангейме…

— Все ясно, — сказал Жуков, — луну выдумал немец!..

— На луну собирались вы, Петр Николаевич, — возразил Толмазов.

— Дойдет и до луны, — проворчал Жуков.

Видя, что обсуждение уклоняется от научного русла, вмешался Полибин:

— Я бы отметил, — полился медовый голос, — некоторый дилетантизм в конструкции уважаемого Петра Николаевича…

— Придется с кольцом расстаться, Петр Николаевич, — грубо, в лоб сказал Толмазов.

— Я бы склонился к тому, чтобы присоединиться к заключению уважаемого Ивана Платоновича… — журчал Полибин.

Жуков сел в кресло. Он опустил голову, обхватил ее руками, закрыл глаза.

— Годы… — раздался его шепот, — десятилетия… ухабы… отчаяние… Мучить? — вскочил он. — Всю жизнь мучить? — Тощее тело его дергалось. Глаза мучительно сияли. — Жрецы науки! Архимандриты!.. — выкрикивал он. — Три перста — два перста… Старая вера… Никониане!..

— Это все ваши аргументы? — холодно спросил Толмазов.

Жуков закрыл глаза и затих на мгновение.

— Мой аргумент, — сказал он неожиданно раздельно, — будет тот, что построенный нами дирижабль… мною, ею, —

указывая на Мальцеву, — ею... — указывая на уборщицу, — будет летать над вашей поповской головой! Летать выше всех, дальше всех, быстрее всех!

Толмазов пожал плечами.

— Это стихи, а не наука. Возможность подъема дирижабля при нынешней его конструкции я считаю исключенной...

— Есть предложение начать заседание Ученого совета, — обычным своим голосом сказал Мурашко.

Толмазов встал и двинул креслом:

— Считаю излишним.

Жуков:

— Впервые присоединяюсь к мнению почтенного Ивана Платоновича...

Мурашко огляделся, чуть помедлил:

— Поскольку испытания в трубе дали неопределенный результат, — сказал он без всякой значительности, — проверим дискуссию в воздухе...

— Тогда у меня другое, — ринулся к нему Васильев, — другое, чисто человеческое: кто будет, которые поведут в воздух собственный гроб?..

IX

— Испытательная команда дирижабля «СССР-1» прибыла в ваше распоряжение в составе командира корабля Елисеева, пилота высоты Фридмана, пилота направления Петренко, инженера корабля Битюгова, штурмана Алексеева, радиста Аспарьяна, первого бортмеханика Гуляева, второго бортмеханика Борисова.

Перед закрытыми воротами эллинга летчик-испытатель Елисеев отдает рапорт Мурашко. Рядом с ним выстроились восемь летчиков в форме Аэрофлота.

Яркое июльское утро. Летное поле. В воздухе звено самолетов.

— Здравствуйте, товарищи! — сказал Мурашко.

— Здравствуйте! — ответили пилоты.

— А где у вас здесь Фридман?

Елисеев подвел Алексея Кузьмича к голубоглазому гиганту.

— Пилот высоты Лев Фридман.

— Ничего ребенок! — сказал Мурашко.

Фридман покраснел:

— Мамаша небось натрепалась?

Раздвигаются громадные ворота эллинга. На стропах висит серебряный дирижабль «СССР-1».

У дирижабля сборочная бригада во главе с Вихрашкой. Рядом с нею, сдерживая волнение, Наташа. Жуков сидит в кресле около кормы.

Пилоты обходят дирижабль. В глазах у них жадное любопытство.

Фридман, проходя мимо Вихрашки, украдкой пожимает ей руку. Пилоты и Мурашко подходят к корме корабля.

— Ну-ка, Наташа, раздраконьте, — Жуков жестом подзывает Мальцеву, — а то я навру...

Неожиданно сильный голос Наташи:

— Товарищи, перед вами дирижабль «СССР-1» конструкции инженера Жукова. В основу этой конструкции положена новая идея, которая должна дать нам резкое увеличение

скорости, радиуса действия, высотного потолка и, главное, простоту и надежность управления...

Лицо Жукова, слушающего с закрытыми глазами...

Залитая светом новая столовая Дирижаблестроя. Накрахмаленные скатерти, начищенные полы, много цветов.

Раиса Львовна не упускает случая, чтобы провести производственное совещание.

— Что бы вы мне посоветовали на первое, — спрашивает она у главбуха, — фаршированную селедку или рубленую печеночку?

— Щи, почтеннейшая! — в сердцах отвечает бухгалтер. — Когда вы дадите нам обыкновеннейшие щи?

Высоко стоит солнце. По летному полю, направляясь в столовую, идет группа пилотов и конструкторов.

Рядом шагают два земляка — Мурашко и Елисеев.

— Давно дома не был?

— Да только что оттуда, — говорит Елисеев.

— Как там наши ребята?

— Ребята цветут, — сказал Елисеев. — Федька Костромин — секретарь райкома.

— Ишь ты!

— Витька у станка... Говорили, немыслимую какую-то норму дал...

— Варюха?.. — спросил Мурашко.

— Варюха замуж вышла: парень свой, только под выходной никуда не годится.

— Дергает?

— Сильно...

— Ну, а Пономарев?..

Вторая пара — Вихрашка и Фридман.

— Если ты действительно хочешь за мною ухаживать, — наставительно говорит Вихрашка, — то ничего нового ты не придумаешь. Достань два билета на «Анну Каренину», а в выходной поедем на Химкинский вокзал...

В третьей паре — юный пилот Петренко и Агния Константиновна.

— Я лично с Володей Коккинаки в корне не согласен насчет скорости. Конечно, дирижабль на большой дистанции всегда обгонит. Я Володьке так и сказал...

— Занятная машина, — задумчиво говорит идущий вместе с Васильевым второй бортмеханик Борисов, личность изглоданная и чем-то тоскливая, — очень занятная... Толмазовская вихревая теория, пожалуй, того...

— Не думаю... — процедил сквозь сжатые зубы Васильев.

Он быстро оглянулся по сторонам:

— Гроб... Летающий гроб. Вопрос еще — летающий ли?..

Мутные глаза Борисова с немым изумлением остановились на Васильеве. Тот еще раз оглянулся.

— Любительство... Авантюра!..

— Ты погоди... — растягивая слова, промычал Борисов, — ты...

— После поговорим! — Васильев заметил подходивших Наташу и Вихрашку.

— Товарищ Васильев! — позвала Наташа. — Это предательство, — сказала она Васильеву. — Это хуже, чем предательство, это тупость!

— Вечером собираю комитет комсомола, — сообщила Вихрашка и тряхнула головой.

Васильев вспыхнул:

— Вопрос в комитете поставлю я сам и еще кое-где...

Наташа всматривалась в него, как будто впервые увидела.

— Неужели ты действительно тупой человек? — произнесла она медленно, раздельно, испытующе, как бы спрашивая самое себя.

Васильев хотел ответить, сдержался, отошел, снова вернулся.

— Пожалуйста, дай мне чистый платок.

Наташа дает ему чистый платок и забирает грязный к себе в сумочку.

Вихрашка не может прийти в себя от изумления:

— Ну и хам!..

— Почему хам? — удивилась Наташа.

— Грязный платок сует!

— Да он уехал из дому и не успел чистый взять, — сказала Наташа. — Выйдешь замуж, тоже будешь о платках думать.

— Муж? — закричала Вихрашка.

— Вспомнила! — засмеялась Наташа. — Четвертый год...

У входа в столовую выстроился весь персонал во главе с Раисой Львовной.

— Товарищи пилоты! — встретила она прибывших заранее приготовленной речью. — Разрешите от имени коллектива стахановской столовой номер один... — И заметила сына. — Смотрите, мой лихач!.. — закричала мамаша Фридман.

— Мамаша, — недовольно сказал Лева, — вы опять набираете высоту?

X

Общежитие пилотов. Ночь перед полетом. Ораторствует Петька:

— Я Мишке так и отрезал...

— Какому Мишке?

— Мишке Громову. Кому же еще?.. Нет, Миша, я в вопросах высотного режима с тобой не согласен... Можно и без кислородного прибора брать высоту... Важно присутствие духа...

— Треплетесь, — сухо заметил сидевший на кровати Борисов, — когда тут гроб!..

— Какой гроб? Глазетовый? — осведомился Лева.

— По желанию заказчика, — огрызнулся Борисов. — Летающий гроб инженера Жукова с кольцом на хвосте! Я вихревую теорию тоже читал, кольцо в пограничном слое будет неуправляемо, это факт...

— Ну, если бы Вася тебя слыхал! — вскричал Петренко.

— Какой Вася? — с досадой спросил Борисов.

— Да Молоков же!..

— Отвяжитесь! — тоскливо сказал Борисов. — Тут нарушается целая научная теория!..

В дверях Елисеев.

— Митинг перед полетом?.. Спать!

— Есть, спать! — ответил Лева и растянулся на кровати.

Мигая глазами, перед Елисеевым стоял второй бортмеханик Борисов.

— Товарищ командир, разрешите сделать заявление... На основании полетного наставления СССР от полета отказываюсь ввиду ненадежности кольцевой системы управления.

Пауза.

Молчание; поиграли скулы Елисеева и окаменели.

— Пожалуйста, — сказал он. — Имеете право. Еще есть отказ?

Молчание.

— Отказов нет, — сказал Лева.

— Отказов нет, — повторил Елисеев. — Спать! — И обернувшись к Борисову: — Переходите в четвертое общежитие...

Елисеев вышел.

Борисов торопливо собирал вещи.

Молчание. Оно длится так долго, что становится невыносимым.

— Ладно, — бормочет Борисов, собирая вещи, — воздушное наставление тоже попусту не писали...

В эллинге опробование водородных моторов. Перед Мурашко вырос Елисеев.

— Второй бортмеханик отказался пойти в испытательный полет, мотивирует ненадежностью системы управления.

— Товарищ командир, — трепеща, сказала Вихрашка, — я всю винтомоторную группу своими руками собирала...

— Не могу взять в полет непилота, — сказал Елисеев.

— «Не могу взять»! — проворчал Жуков. — А кого брать, как не ее?.. У нее не полет в глазах, звезды в глазах!

Елисеев улыбнулся:

— Звезды в глазах уставом не предусмотрены...

Сомнения разрешил Мурашко:

— Пойдешь в полет как член испытательной комиссии.

— «Спасибо» говорить? — буркнула Вихрашка.

— Обойдется.

— В глазах же полет, — ворчал Жуков. — Чего вам еще?..

XI

Раннее утро. Косые лучи солнца. Стартовая команда выводит из эллинга дирижабль. В стороне стоит группа членов Ученого совета.

— Я бы отметил весьма оригинальную форму объекта.

Фраза эта не может принадлежать никому, кроме Полибина.

Толмазов, стоящий особняком, увидел рядом с собой Васильева и высоко поднял бровь.

— Вы не летите?

— Мною подано особое мнение, — мрачно сказал Васильев.

Мощное гудение мотора.

— Я бы сказал... — начал Полибин.

— А вы скажите, — перебил его Толмазов.

Толмазов был невежлив. От этого даже Полибин разинул рот...

В рубке управления дирижабля — Елисеев, Фридман, Петренко.

У моторной группы — бортмеханик и Вихрашка.

По внутреннему коридору дирижабля идут Наташа и Мурашко...

— Ну вот и летим, Алексей Кузьмич...

— А ведь насилу разрешили, — сказал Мурашко. — Толмазов с Васильевым поработали... как следует...

Команда Елисеева.

— Дать свободу!

— Есть, дать свободу! — ответил стартер.

— В полете! — крикнул стартер.

— Есть, в полете, — ответил Елисеев.

Дирижабль оторвался от земли.

Жуков постоял у окна, борода его вздрагивала, потом, спотыкаясь, глядя вперед невидящими глазами, подошел к приборам.

— Рули на взлет! — команда Елисеева.

— Есть, рули на взлет!

— Держать высоту восемьсот!

Мощное, ровное гудение моторов.

Молниеносные, ловкие, уверенные движения Вихрашки у моторов.

Голос Елисеева:

— Дать полный газ!

— Есть, дать полный газ! — как эхо отзывается пилот...

На земле.

Члены Ученого совета следят за эволюциями дирижабля.

— Я бы сказал, — просачивается голос Полибина, — что атмосферная тень более или менее бессильна парализовать кольцо Жукова...

На дирижабле. Далекий голос Елисеева:

— Держать курс сто двадцать!

И тотчас же эхо:

— Есть, держать курс сто двадцать!

Жуков взглянул на прибор.

— Скорость триста! — закричал он на весь дирижабль и простер руки — на него прыгнула Вихрашка, поцеловала его и убежала к моторам.

— Я очень счастлива! — сказала Наташа, пристально по своей привычке глядя на Жукова.

На земле.

Полибин не может отказать себе в удовольствии сообщить академику Толмазову:

— Я бы отметил, что дирижабль абсолютно свободно управляется по горизонтали, что до некоторой степени противоречит вихревой теории...

В воздухе.

Голос Елисеева в мегафоне:

— Иду на посадку!

— Давай, Елисеич, — радостно ответил Мурашко.

Голос Елисеева яснее:

— Приготовиться! Переложить рули на посадку!

И сейчас же отзываются покорные голоса:

— Есть, переложить рули на посадку!

Но высота не убывает.

Дирижабль описал еще один круг. Фридман снова повернул штурвал. Жуков посмотрел на альтиметр. Высота не убывала.

— Товарищ командир! — негромко докладывает Фридман. — Рули высоты отказали!

Елисеев покраснел.

— Переложить резко рули на посадку!

— Есть, переложить резко рули на посадку.

Еще один круг. Фридман повернул штурвал. Вздрогнуло кольцо на хвосте дирижабля. Высота не убывала.

— Потеряла я колечко, — процедил про себя Елисеев, — потеряла я любовь...

Еще один круг.

На земле.

— Что такое, Иван Платонович? — тревожно спросил Васильев.

— Они не могут опуститься, — сказал Толмазов, — что и следовало ожидать...

— Позвольте, — взвизгнул Полибин, — вы говорили, что они не смогут подняться!

В воздухе.

— Ветер, — говорит Елисеев обыкновенным своим голосом, — как бы не забросило на высоту... — И другим голосом скомандовал: — Рули на посадку до отказа!

Лева Фридман с усилием повернул штурвал. На корме дирижабля громко хлопнуло кольцо; рванулась и поползла вверх оборванная штурпроводка.

— Травлю газ, — обыкновенным своим голосом сказал Елисеев Мурашко, — и сажусь статически. С этим кольцом иначе опуститься нельзя.

Дирижабль метало над полем. Елисеев заглянул вниз, на качающуюся землю...

— Пилотам Фридману и Петренко выйти на оболочку, — сказал он, — осмотреть оперение, закрепить штурпроводку!

— Есть, выйти на оболочку.

За штурвалы сели Елисеев и штурман.

По внутренней шахте на оболочку выходят Фридман и Петька. Они ползут по оболочке, цепляясь за стропы, раскачиваемые ветром. Поддерживая друг друга, ползут к хвосту, нащупывают оборванный кусок троса, завязывают его узлом.

Дирижабль прибивало ветром к земле.

— Как?.. — спросил Мурашко.

— Лучше не бывает, — ответил Елисеев. — Заработал руль направления.

И сказал в мегафон:

— Всему экипажу, кроме пилотов, приготовиться к прыжкам!

— Есть, приготовиться к прыжкам!

— Зачем? — спросил Мурашко.

— Не рассуждать! — побагровел Елисеев. — Выполнять приказ! Прыгать по аварийному расписанию!..

Первым прыгнул за борт Мурашко. Затем посыпались бортмеханик, штурман, радист, инженер корабля.

Вихрашка, подбегая к выпускному люку, успела пожать руку Леве Фридману.

Наташа на мгновение задержалась у выпускного люка:

— Петр Николаевич, что же вы?..

— Разговоры?! — раздался голос Елисеева.

И Наташа полетела вниз.

Белыми облачками парили в воздухе парашютисты. Внутри остались замершие у рулей пилоты, Елисеев и Жуков.

— Товарищ Жуков, прыгайте!

Жуков отмахнулся.

— Бросьте молоть чепуху! Я буду до конца.

Резкий поворот рукоятки управления газом. Хлопнул, открываясь, газовый клапан.

Дирижабль шел вниз. На мгновение мелькнуло скуластое лицо Елисеева, широко раскрытые глаза Фридмана...

На земле.

Раиса Львовна вышла в форменной тужурке из здания столовой. Две подавальщицы несли за нею на блюде шоколадный торт в виде дирижабля.

— Скорей, — сказала Раиса Львовна. — Они идут домой!..

Дирижабль шел вниз.

— Отдать гайдтропы! — скомандовал Елисеев.

Полетели якоря. Дирижабль качнулся и вздрогнул в нескольких метрах от земли.

По полю бежала стартовая команда, хватая раскачиваемые ветром стропы. Нос дирижабля стукнулся о землю. Отлетел в сторону Елисеев. На него скатился расколотый прибор. Жуков упал на палубу, повалился в сторону. Пилоты уцепились за штурвал.

— Потеряла я колечко... — сказал Елисеев. — Все в порядке. — И вытер выступивший на лбу пот.

Фридман сидел, вцепившись обеими руками в штурвал.

— Вылезай, приехали! — сказал ему Елисеев.

Один за другим приземлялись парашютисты. К Наташе подбежал трясущийся Васильев. Задыхаясь, она сказала:

— Сережа, ты не помнишь, как мы рассчитали рейнольсы?

К дирижаблю бежали люди. Из открытого люка Елисеев и Лева вынесли неподвижное тело Жукова.

Всхлипнула мама, на торт мелко закапали слезы...

Из-под черной гривы волос по высокому лбу Жукова расползалось пламенное, алое пятно крови. Расколотые очки бессильно свисали врозь.

— Послушайте, Жуков... — сказал Толмазов, первым подбегая к раненому.

Кровавое пятно на лице Жукова делалось все больше и заливало щеки.

XII

Ночь. Три ослепительных луча висячих ламп озаряют склоненные головы Мальцевой, чертежницы Вари и лысую луковицу доброго старого тощего инженера Лейбовича.

В углу, затянутом тьмой, незатухающе светятся глаза Вихрашки.

— Ты скоро, Наташа? — говорит она чуть слышно и не двигаясь с места.

— Скоро...

Группа Мальцевой ищет ошибку в конструкции дирижабля. Ищут ошибку и в другом конце коридора — в кабинете Мурашко, в новом кабинете Мурашко, с тяжелой мебелью, с коврами и портьерами.

Это бурное заседание одной из бесчисленных комиссий с тем накалом страстей, который обычно предшествует переменам в жизни учреждения.

У стола выпрямился Мурашко, неправдоподобно бледный. К нему тянутся руки, сжимающиеся в кулаки, несутся яростные крики.

— Тысячи раз вам сигнализировали! — вопит Борисов.

— Право на риск! — стучит по столу графином Фридман.

Грохот восклицаний заглушил его слова. Этот грохот прорезал беспечный тенорок.

— Что за шум, а драки нет! — входя, сказал Полибин, обмахнул платочком кресло и опустился в него.

Пренебрежение, значительность, почти брезгливость, с какой он развалился в кресле, были так разительно несхожи с прежним Полибиным, что собрание застыло...

— Давайте, уважаемый, — пряча платок, кивнул Полибин Мурашко. — Давайте, я слушаю вас...

Чертежная, населенная призраками тревоги и молчания.

— Наташа, ты скоро?

Наташа встала, колеблясь, и словно чужими ногами подошла к столу Лейбовича, разложила чертеж, подозвала глазами Вихрашку.

— Мне кажется, что это здесь, Лейбович.

Озаренные лучом головы над расчетом...

В кабинете Мурашко. Закинув голову, говорит Мурашко, опираясь ладонями о край стола:

— Я возражаю и буду возражать до конца...

— Короче, уважаемый, — прерывает его Полибин.

В чертежной.

Варя, Наташа и Лейбович вскочили, как будто на месте чертежа увидели зашевелившуюся змею.

Наташа закрыла глаза, потом открыла их, лицо ее было смочено слезами...

— Вихрашка, милая... — сказала она и протянула обе руки вперед.

— И все-то дело, — ожесточенно трясла мальчишеской головой Варя. — И вся-то авария!

Вихрашка переводила глаза с Лейбовича на Варю, с Вари на Наташу.

— Лейбович, милый, — сказала Наташа, дернулась, схватила расчет и опрометью убежала.

Из кабинета Мурашко шумной толпой вывалились в коридор заседавшие.

С несвойственной ему положительностью Фридман сказал шедшему рядом с ним Петренко:

— Дирижабль я, конечно, сожгу... Гробокопатели его не увидят!.. Ты меня не знаешь, Петренко...

— Я тебя знаю, — возразил Петренко.

Мимо них прошел Мурашко. Его догнал мелкими шажками Полибин и взял начальника Дирижаблестроя под руку:

— Просился к вам старый Полибин — пренебрегли! А Полибин тут как тут... как будто бы и не стоило ссориться со стариком...

И стучащими, старательными шажками он побежал дальше. Ему навстречу, несомая крыльями счастья, мчалась Наташа. Крылья эти принесли ее к Мурашко.

— Ну-с, так-с, — сказал Мурашко, — слушали, постановили: предложить некоему Мурашко работу, пока суд да дело, свернуть; Жукова отстранить, дирижабль не то выбросить на свалку, не то снести в ломбард!..

— Алексей Кузьмич, — перебила его трясущаяся Наташа.

— Еще не все! Материалы передать прокурору. Теперь все.

— Алексей Кузьмич, — тихо сказала Наташа и взяла начальника за руку. — Я нашла ошибку...

XIII

Он почти лег на стол. Магический свет лампы падает на гриву волос, на повязку, сквозь которую проступила кровь. Жуков чертит.

Звонок.

— Войдите, — и он приблизил лицо вплотную к чертежу.

Но это звонок у входной двери. У входной двери Наташа, Фридман, Вихрашка.

Ночь. В машине сквозь стекло мелькнуло лицо Васи. Звонок трещит безостановочно.

— Не слышит, — сказал Фридман и дернул ручку. Дверь открылась. Она не была заперта. Комсомольцы на цыпочках прошли коридор и детскую, где спали четыре маленьких Жукова.

Подняв голову от чертежа, Жуков увидел гостей.

— Петр Николаевич! — голос Вихрашки вздрагивал, он был неумело суров и неумело торжествен. — От имени комитета комсомола, от имени всех комсомольцев мы выражаем вам сочувствие... И потом еще — мы выражаем уверенность...

— Я нашла ошибку, — ласкающим своим голосом сказала Наташа.

— Будет летать, маэстро!.. — закричал Фридман и осекся. Отсутствующее лицо Жукова. Пятно крови, как звезда, на повязке, глаза, устремленные поверх собеседников.

— Петр Николаевич, — выдвинулась Вихрашка вперед, — мы должны сейчас же сделать...

— Делать надо вот что... — ответил Жуков и развернул перед комсомольцами нарисованное на ватманской бумаге чудовище невиданной формы.

— Делать надо болид будущего...

Он дернул себя за повязку.

— Вот осуществленные межпланетные путешествия... Вот полет на Луну. Скорости в тысячи километров в высших слоях атмосферы.

— Луна подождет, — ответил Фридман. — Поехали на верфь, Петр Николаевич...

На лицах комсомольцев смятение, почти отчаяние.

— Вы здесь сидите, — волнуясь, сказала Вихрашка, — Петр Николаевич, и не знаете... На Мурашко нажим отчаяннейший... Завтра другие люди будут всем ведать, не вы...

— Вы не правы, Петр Николаевич, — сказала Наташа.

При звуках негромкого, непреклонного голоса Наташи Жуков сжался, метнулся, замер.

— Сегодня нужно одно: чтобы «СССР-1» прошел испытания...

— Покажите, — протянул к ней руку Жуков.

Наташа подала расчет.

Вихрашка удалилась на цыпочках в соседнюю комнату. Быстро набрала на телефоне номер:

— ЦК партии?.. 518... Там у вас Мурашко из Дирижаблестроя... Насилу сдвинули, Алексей Кузьмич...

Голос Мурашко:

— В каком состоянии?

— Да в каком состоянии?.. Болид будущего... Сейчас потащим на верфь...

Жуков молча сидел над расчетом. Потом встал, с тоской огляделся; что-то беспомощное и печальное отразилось на его лице.

— Петр Николаевич, — боязливо сказала Вихрашка, — ждем только вас... Вся сборочная на месте...

Жуков закрыл глаза.

— Новый аэродинамический расчет... — казалось, он говорил сам с собой, — перемены в кольце... Не сделаем... Никогда не сделаем...

Он прошелся по комнате с необычайной для него медленностью и усталостью. Неожиданно улыбнулся Наташе. Закинув голову, вышел в соседнюю комнату и набрал номер телефона. Неумелыми, негородскими словами Жуков медленно говорил в трубку:

— Я телефонирую в квартиру академика Толмазова?.. Если Иван Платонович захочет, пусть подойдет к телефонному аппарату...

Из квартиры Толмазова ответила старая женщина московского профессорского типа в молодящем ее пестром халате.

— Иван Платонович два часа как спит... Кто это говорит?

— Это говорит Жуков, у которого есть дело к Ивану Платоновичу... Дело, которое никто в Союзе, кроме Ивана Платоновича, исполнить не может.

Его прервал голос Анны Николаевны Толмазовой:

— Я попрошу вас в это время Ивана Платоновича не беспокоить...

И повесила трубку.

Жуков потер лоб и обернулся к комсомольцам.

— Она просит... — сказал он запинаясь, — она просит не беспокоить...

XIV

Жена академика ошиблась. Академик не спал. На длинном его столе разложены чертежи конструкции Жукова.

Толмазов переходит от одного чертежа к другому. Он взъерошен, руки его дрожат. Дрожащей рукой берет он пепельницу. Пепельница падает.

В дверях пудреное, насурьмленное лицо Анны Николаевны.

— Иван Платонович, ты не спишь?

— Как видишь...

— Иван Платонович, звонил этот Жуков... Я не позвала...

— Сейчас же соединить!

— Тебя не поймешь, Иван Платонович, — обидчиво сказала Анна Николаевна, — то ты кричишь, что он сумасшедший...

Толмазов изучает чертежи...

— Иван Платонович, поскольку ты не спишь, я хотела поговорить с тобой о Тамаре... Тамара просит путевку...

Толмазов поднял голову от чертежа.

— Безумен Жуков, — проговорил он, — нормальна Тамара, нормальна ты... нормален Полибин... С вами вместе стал нормален и я — и перестал быть Толмазовым!..

Анна Николаевна чуть не заплакала:

— Господи... Иван Платонович... что же это такое? Все наперебой говорят, что дирижабль не мог сесть, а ты...

— Дура! — Толмазов задохся. — Почему он поднялся?!

— На этот вопрос вы и должны ответить, — сказал голос в дверях.

Толмазов обернулся. На пороге стоял Мурашко.

— Как вы прошли? — пролепетала Анна Николаевна.

— Домработница открыла...

За дверью — полуодетая, смятенная домработница.

— Уйди, — сказал Толмазов жене.

Анна Николаевна уползла и заплакала уже за дверью.

Толмазов стоял возле чертежей, как бы защищая их.

— Чем я обязан?

— Для того чтобы «СССР-1» прошел испытания, для того чтобы дополнить, видоизменить теорию академика Толмазова, для того чтобы Советский Союз узнал, что у него есть выдающийся конструктор Петр Жуков, — для этого академик Толмазов должен сделать аэродинамический расчет по кольцу Жукова...

— Я не совсем понял.

Руки Толмазова дрожали.

— Нет, вы поняли. И еще должны вы понять, что это дело...

Вопрос во взгляде Толмазова.

— Ну, чтобы они летали. Мне поручено Коммунистической партией, поручено Советской страной... Это поручение... ну, как бы это сказать попроще... это поручение я выполню. — Мурашко сел. — Я жду ответа, — сказал он.

XV

В очень хорошей машине развалился Полибин. Рядом угрюмый Васильев, угрюмее, чем всегда.

Мимо несутся поля, покрытые поспевшей рожью.

— Мой юный друг, — разглагольствует Полибин, — я бы сказал, что в Главном управлении вы не были на высоте... Новые птицы... новые песни... В заместителе главного конструктора я хотел бы больше уверенности и, не будем бояться слов, апломба... Призаймите у Ивана Платоновича...

— Да нечего занимать... После полета совсем тронулся...

— И очень просто, мой юный друг... Полет-то, скомпрометировав Жукова, весьма ощутительным образом задел вихревую теорию знаменитейшего академика Толмазова... У бильярдистов это называется комбинированный удар, когда одним ударом кия прорывается сукно, разбивается лампа над бильярдом и протыкается глаз партнера... Но, между прочим, в Главном управлении надо было быть энергичнее, а то как бы, мой друг, Жуков и компания не зашевелились...

Машина несется к Дирижаблестрою, мимо неярко блещущих полей...

В монтажной главной верфи сборочная бригада Вихрашки разбирает детали кольца.

— Ребята, гляди, — несется звонкий Вихрашкин голос, — чтобы за комсомольской бригадой дело не стало!..

— А когда оно за нами ставало? — басом отвечает долговязый парень, весь измазанный в машинном масле.

В дверях появилась непременная Аксинья:

— В чертежную зовут...

Вихрашка умчалась. Бежать надо было быстро, так как новый работник в конструкторской ждать не любил.

Новый этот работник был Иван Платонович Толмазов.

— Мальцева, мы проверим с вами боковые сечения... Лейбович, четыре часа на расчет... Где бригадир сборки?

— Здесь, — сказала Вихрашка и оробела.

— Фамилия ваша?..

— Аня Иванова...

— Ребята, у Вихрашки есть фамилия!

— Товарищ Иванова, в шесть часов надо закончить демонтаж кольца. Жуков, заснули вы, что ли?

— Я не заснул, — ответил Жуков.

Он смотрел на скинувшего пиджак Толмазова застенчиво и восхищенно и без особенного толка метался от одного чертежного стола к другому.

— Сережа, — Толмазов увидел оцепеневшего на пороге Васильева, — куда вы запропастились? Проверьте монтаж кольца. Завтра летим...

— На чем? — пропел тенорок за спиной Васильева, и появился Полибин.

Двинув ножкой, он склонился в сторону Толмазова и, не в силах удержать откровенной злобы, прошипел:

— Прыть для академика похвальная, но вряд ли не запоздалая...

В дверях появился Мурашко. Полибин двинул ножкой в его сторону.

— Привет товарищу Мурашко! Только что из Главного управления... Образована аварийная комиссия... Председатель оной комиссии перед вами... Для начала запечатайте-ка вы, друг мой, эллинг и распорядитесь о прекращении всяких работ.

— Письменный приказ, — сказал Мурашко.

— Воспоследует незамедлительно, — пропел Полибин и, казалось, стал выше ростом.

XVI

В здании рядом с эллингом молча и быстро работали Васильев и Наташа, соединяя какой-то провод.

Вихрашка и Фридман в кустах около газгольдера положили жестяные пакеты и быстро повели от них электрический провод.

В будке, недалеко от здания управления Дирижаблестроя, шофер Вася и чертежница Варя соединяли в пучок тонкие провода и привинчивали к мраморной доске рукоятку.

Вася посмотрел на часы и включил рубильник.

От пакета, лежавшего в кустах, повалил густой дым.

В дежурке Дирижаблестроя Петренко читает книгу.

Завыла сирена. Ей ответили колокола громкого боя. Вспыхнули сигнальные лампочки, затрещал пожарный телеграф, зазвонили многочисленные телефоны на столе дежурного.

Петренко схватил две трубки зараз:

— Пожары на очистительной станции?! Первый и второй эллинги?.. Пожар на складе материалов?!

Петька бросил все трубки и схватился за единственный молчавший телефон.

— Квартиру Мурашко! Начальника строительства!.. Начальника!

Вопль Петренко долго оглашал дежурку. Небо закрыли клубы черного дыма.

На газоочистительную станцию промчалась пожарная команда.

Спокойный голос Елисеева сказал в телефон:

— Дым подходит к эллингу, Алексей Кузьмич...

— Что вы предлагаете? — спросил Мурашко.

— Предлагаю вывести дирижабль в воздух.

— Действуйте согласно пожарной инструкции, — сказал Мурашко, положил трубку на рычаг и улыбнулся в первый раз за все эти дни.

На ходу одевались летчики.

Стартовая команда стремительно выводила дирижабль из эллинга.

С огнетушителями в руках пробежала группа комсомольцев из сборочной бригады Вихрашки.

Дым, жирный и черный, образовал на небе гряду туч, распухавших все больше.

Дирижабль оторвался и пошел в воздух...

Он прошел над шоссе, по которому мчался автомобиль Полибина.

Услышав гул моторов, Полибин выглянул из машины и увидел уходивший в небо дирижабль.

Из своего кабинета вышел Мурашко и обратился к секретарше:

— Агния Константиновна, сообщите отбой пожарной тревоги.

С борта дирижабля по радиотелефону звонила Вихрашка:

— Алексей Кузьмич, управляемость отличная. Скорость двести сорок. Все в порядке.

Дирижабль неожиданно развернулся против ветра.

— Курс сто двадцать! — скомандовал Елисеев.

— Есть, курс сто двадцать! — ответил Петренко и притворно нахмурился.

Дирижабль, послушно проделывая все эволюции, все увеличивал скорость.

И, наконец, очередь труднейшего из маневров.

— Спуск по спирали! — командует Елисеев.

— Есть, спуск по спирали! — ответил Фридман, от напряжения оскалив зубы.

Двухсотметровая серебряная сигара перешла в пике, спиральными кругами пошла к земле, на мгновение замерла и начала круто набирать высоту.

По радиотелефону звонила Наташа:

— Есть, спуск по спирали, Алексей Кузьмич! Все в порядке!

К выходившему из здания управления Мурашко подлетел ошеломленный Полибин с пакетом в руках.

— И за что только этим пожарным деньги платят! Задумали когда тревогу делать!.. — повернулся к нему Мурашко.

И пошел на летное поле.

У эллинга на пустом перевернутом баке сидели рядышком два старика, закрывшись ладонями от солнца, — смотрели на плывший в высоте дирижабль.

Рядом с ними разноголосо шумела толпа рабочих и конструкторов Дирижаблестроя.

К двум старикам подошел такой же старый слесарь из монтажной, сел рядом с Толмазовым и Жуковым и, также закрывшись ладонями от солнца, стал следить за полетом «СССР-1»...

Летное поле заполнялось приехавшими из Москвы летчиками, корреспондентами, работниками авиационных заводов...

Шел третий час полета «СССР-1». Уже были побиты рекорды скорости и высоты.

Тогда к Мурашко подошел простоватого вида пятидесятилетний человек, председательствовавший в комиссии при прохождении сметы Дирижаблестроя.

— Ну, меня, брат, из Совнаркома взяли...

— Куда же это?..

— Да опять в ЦК. Я к тому, что придется, брат, ко мне наведаться... Дирижаблестрой-то уже перестал быть «строем»...

В пламенеющем небе — последнее видение серебристого «СССР-1».

XVII

Из здания ЦК ВКП(б) на Старой площади, 4, вышел сухощавый человек. Мгновение постоял, потом направился к длинному ряду автомобилей, ожидавших против подъезда.

Машина двинулась…
— Москва? — спросил Вася.
— Периферия…
Пауза.
— А именно сказать, кто мы, Алексей Кузьмич?..
— Высотные бомбовозы… Вот кто мы… Завод номер…
За окнами летела Москва.

Публицистика
Статьи, мемуары, выступления

В ДОМЕ ОТДЫХА

За верандой — ночь, полная медленных шумов и величественной тьмы. Неиссякаемый дождь обходит дозором лиловые срывы гор, седой шелестящий шелк его водяных стен навис над грозным и прохладным сумраком ущелий. Среди неутомимого ропота роющей воды голубое пламя нашей свечи мерцает как далекая звезда и неясно трепещет на морщинистых лицах, высеченных тяжким и выразительным резцом труда.

Три старика портных, кротких, как няньки, и очаровательный М., так недавно потерявший глаз у своего станка, да я, заезженный горькой и тревожной пылью наших городов, — мы сидим на веранде, уходящей в ночь, в беспредельную и ароматическую ночь… Неизъяснимый покой материнскими ладонями поглаживает наши нервические и сбитые мускулы, и мы неторопливо и мечтательно пьем чай — три кротких портных, очаровательный М., да я, загнанная и восторженная кляча.

Мещане, построившие для себя эти «дачки», бездарные и безнадежные, как пузо лавочника, если бы вы видели, как мы отдыхаем в них… Если бы вы видели, как свежеют лица, изжеванные стальными челюстями машины…

В этом мужественном и молчаливом царстве покоя, в этих пошленьких дачах, чудесной силою вещей преображенных в

рабочие дома отдыха, затаилась неуловимая и благородная субстанция живительного безделья, мирного, расчетливого и молчаливого… О, этот неповторимый жест отдыхающей рабочей руки, целомудренно-скупой и мудро рассчитанный. С пристальным восхищением слежу я за ней, за этой направленной судорожной и черной рукой, привыкшей к неустанной и сложной душе моторов… От них взяла она эту покорную, молчащую и обдуманную неподвижность утомленного тела. Философия передышки, учение о возрождении израсходованной энергии — как много узнал я от вас в этот шумливый и ясный вечер, когда портные и металлисты пили свой патриархальный, нескончаемый, стынущий чай на террасе рабочего дома во Мцхете.

Накачиваясь чаем, этим бодрым шампанским бедняков, мы степенно, истово потеем, любовно перебрасываемся негромкими словами и вспоминаем историю возникновения домов отдыха.

Лето им от рождения идет первое. Всего только в феврале наст[оящего] года выехала во Мцхет комиссия Совпрофа Грузии для первоначальных изысканий. Дачи были найдены в состоянии ужасном — нежилые, запакощенные, разбитые. Дело было двинуто с неослабевающей энергией, и буржуазия, в меру своих скромных сил, пришла Совпрофу на помощь в этом благом начинании. Как известно, штрафы, наложенные Совпрофом на лавочников всех мастей за нарушение правил об охране труда, достигли утешительной суммы в шестьсот миллионов рублей. Так вот полтораста миллионов из этих денег были истрачены на превращение

полуразрушенных дач в рабочие дома — из чего убедительно явствует, что буржуазия на свои кровные (из слова — кровь) деньги содержит первые в Грузии здравницы для рабочих, за что ей низкое спасибо. Существует незыблемая уверенность, что в силу особенных свойств, заложенных в эту породу, — приток вынужденных пожертвований не прекратится и даст возможность Совпрофу на месте нынешних дач раскинуть по цветущим мцхетским склонам рабочий показательный городок. К сожалению, звучный арсенал комплиментов, приведенных выше, не может не быть отравлен упоминанием о тех изумительных и героических усилиях, которые употребили в борьбе с Совпрофом владельцы дач. Они грозились дойти до «государя». И они дошли. Путь был длинен и устлан тонким ядом юридического крючкотворства. Но «государь» (по новой орфографии — ВЦИК) был скор и справедлив. Челобитчики вышли от него со скоростью обратно пропорциональной медленности их прибытия. Они опоздали родиться лет этак на двадцать — вот какую мораль вынесли из этого небольшого дела владельцы в своих неутомимых исканиях истины. Мораль, не лишенная наблюдательности.

Дачи рассчитаны на шестьдесят мест. Отдел охраны труда собирается довести пропускную их способность до тысячи — полутора тысяч человек за сезон, считая срок пребывания каждого рабочего две недели. В отдельных случаях этот срок может быть удлинен до месяца. Оговорка необходимая, потому что в подавляющем большинстве случаев две недели недостаточно для замученного организма нашего рабочего.

Период устроения и перестройки мцхетских дач еще продолжается. Поэтому не лишни будут здесь советы, продиктованные добрым чувством и любовью. Питание, в общем здоровое и обильное, следовало бы усилить по утрам и к ужину. И еще — хорошо бы уничтожить в домах Совпрофа этот сакраментальный и надоевший характер общежития. Больно уж бывает от него тошно — нам, скитальцам по меблирашкам, канцеляриям и казармам. Угол, исполненный чистоты, уюта и приблизительного уединения — вот что нам нужно в те счастливые две недели, когда мы разминаем натруженную и хрипящую грудь.

Действует уже библиотека. Это хорошо. На будущей неделе начнутся по вечерам небольшие концерты для отдыхающих. А пока мы пробавляемся «дурачком». Но, боги, с каким огнем, с какой неистраченной кипучестью и задором проходит эта ласковая и нескончаемая игра, нагретая, как дедовская кацавейка. Не забыть мне этих простых и сияющих лиц, склонившихся над замусоленными, затрепанными картами, и надолго унесу я с собой воспоминания о счастливом и сдержанном хохоте, звучавшем под шум умирающего дождя и горных ветров.

«КАМО» И «ШАУМЯН»

Если бы радость не теснила так сильно сердце, тогда об этом можно было бы рассказать последовательно и деловито...

И в первую голову о приговоре народного суда Аджаристана. О, этот приговор, полный сухой учености и пламенного пафоса! Он закован в неумолимую броню права и клокочет желчью негодования. Законы императоров, в бозе почивающих, накрахмаленные нормы международной «вежливости», вековая пыль римского права, соглашение Красина с Ллойд-Джорджем, двусмысленные постановления двусмысленных конвенций и конференций и, наконец, советские декреты, насыщенные красным соком бунта, — все вобрал в себя этот неотразимый приговор, постановленный невидным и измазанным батумским рабочим.

Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы показать трижды чудесное прохождение верблюда правосудия сквозь игольное ушко буржуазных установлений. Это сделано для того, чтобы заставить разноязыкие ухищрения послужить делу правды и плотно припереть к стене уклончивых жуликов, шныряющих по батумской набережной. Господа Кристи и Попандопуло, мастера лирических подъемов, морские агенты достойных мальтийских кавалеров и судовладельцев господ Скембри — они мечутся теперь в западне, для которой неискусные руки мастерового сплели прутья из протухших теней прошлого (видно, не только профессора международного права горшки обжигают) и из бурной крови настоящего…

«Жорж» и «Эдвиг» стоят под красным флагом у пристани Черномортрана. Склады мальтийских крестоносцев запечатаны, над ними нависли грозные тучи штрафов, пени, реквизиций, и даже вмешательство итальянского консула, взы-

вающего к высокой политике, не могло разрядить эти тучи в благодетельный дождь провозной платы.

«Жорж» и «Эдвиг» (бывшие «Россия» и «Мария»), они были воровским образом уведены из русских и грузинских портов для того, чтобы проходить под чужим флагом Суэцкий канал и Красное море. Но тесен стал мир для мальтийцев. Триста безработных пароходов привязаны к берегу в Марселе, миллионный тоннаж гниет без дела в портах Лондона, Триеста и Константинополя, тысячи моряков голодают. Мировые пути глохнут, удушаемые гибельной игрой парижских дипломатов. Нет грузов на Хайфу, на Яффу, на Сан-Франциско, Европа может грузить только в советские порты. И господа Скембри, набравшись духу и застраховав уворованные пароходы от захвата большевиками, плывут в советские порты...

Господа Скембри получат страховую премию. Мы получили пароходы.

Красные ватерлинии «Камо» и «Шаумяна» цветут на голубой воде, как огонь заката. Вокруг них покачиваются прелестные очертания турецких фелюг, красные фески горят на шаландах, как корабельные фонари, пароходный дым неспешно восходит к ослепительным батумским небесам.

Среди этой цветистой мелюзги мощные корпуса «Камо» и «Шаумяна» кажутся гигантами, их белоснежные палубы сияют и отсвечивают, и наклон мачт режет горизонт стройной и могучей линией.

Если бы радость не теснила так неотступно сердце, об этом можно было бы рассказать последовательно и деловито.

Но сегодня мы отмахиваемся от последовательности, как от июльской мухи.

Кучки старых черноморских матросов, поджав ноги, сидят на деревянной пристани, сидят разнеженные и застывшие, как кейфующие арабы, и не могут отвести глаз от черных, отлакированных бортов.

Целой толпой поднимаемся мы на палубу развенчанного «Жоржа». Машина, выверенная, как часы, сверкающая красной медью трубок и жемчужным налетом цилиндров, держит нас в восхищенном плену. Мы окружены горами хрусталя в кают-компании, отделанной мрамором и дубом, строгой чистотой кают и пахучей краской стен.

— Всего два месяца, как выведен из капитального ремонта, — обращается ко мне старый боцман, назначенный на «Шаумяна», — сорок тысяч фунтов стерлингов обошелся... Да я же помру на этом пароходе и никакой претензии к богу иметь не буду. Сорок тысяч фунтов — сколько это на наши деньги, Яков?

— Сорок тысяч фунтов... — раздумчиво повторяет Яков, покачиваясь на босых ногах, — на наши деньги этого сказать невозможно...

— То-то и оно, — торжествующе восклицает боцман, — да столько же стоит и «Эдвиг». Вот и посчитай на наши деньги...

— На наши деньги, — упрямо повторяет качающийся Яков, — этого счета я и сделать не могу никак...

И блаженное багровое лицо Якова никнет к палубе, полное лукавого восторга и подавленного смеха. Его пальцы самозабвенно щелкают в воздухе, и спина гнется все ниже.

— Ты никак под мухой сегодня, Яков? — спрашивает его проходящий мимо нас новый капитан «Камо».

— Я не под мухой, товарищ капитан, — наставительно отвечает Яков, — но по случаю такого случая я действительно сегодняшний день нахожусь под парами, потому как судно готовится в рейс на Одессу, а также мне смешно это дело до без конца... К примеру сказать, товарищ капитан, вы, по вашему злодейству, свели у меня жену... Ну, не то чтобы знаменитая какая баба, ну, для меня, по бедности, подходящая... Ну, свели и свели... Проходит год времени, а опосля того проходит еще год времени. Добираюсь я неожиданным путем до своей бабы, а она гладкая, как кабан, одетая и обутая, с брюшком да с серьгами, в кармане деньги, а на голове разнообразная прическа, лицо подманчивое, фасад неописуемый и из себя представительная до невозможности...

Неужели же, товарищ капитан, я по случаю такого случая не могу развести пары, коль скоро судно готовится в рейс?

— Разводи пары, Яков, — смеясь, сказал капитан, — да не забудь закрыть клапана.

— Есть, капитан! — прокричал Яков.

Мы все вернулись в выверенное, как часы, машинное отделение.

БЕЗ РОДИНЫ

...И вышло так, что мы поймали вора. Шиворот у вора оказался просторный. В нем поместились два товаро-пассажирских парохода. Чванный флаг захватчиков уныло споля

книзу, и на вершину мачты взлетел другой флаг, окрашенный кровью борьбы и пурпуром победы. Поговорили речи и, на радостях, постреляли из пушек. Кое-кто скрежетал зубами в это время. Пусть его скрежещет…

Теперь дальше. Жили-были на Черном море три нефтеналивных парохода — «Луч», «Свет» и «Блеск». «Свет» помер естественной смертью, а «Луч» и «Блеск» попали все в тот же накрахмаленный шиворот. И вышло так, что мы из него дня три тому назад вытряхнули «Луч», то бишь «Лэди Элеонору» — солидное судно с тремя мачтами, вмещающее в себя сто тысяч пудов нефти, блистающее хрусталем своих кают, чернотой своих могучих бортов, красными жилами своих нефтепроводов и начищенным серебром своих цилиндров. Очень полезная «Лэди». Нужно полагать, что она сумеет напоить советской нефтью потухшие топки советских побережий.

«Лэди» стоит уже у пристани Черномортрана, на том самом месте, куда был подведен раньше и «Шаумян». На ее плоской палубе расхаживают еще какие-то джентльмены в лиловых подтяжках и лаковых туфлях. Их сухие и бритые лица сведены гримасой усталости и недовольства. Из кают выносят им несессеры и клетки с канарейками. Джентльмены хриплыми голосами переругиваются между собой и слушают автомобильные гудки, несущиеся из дождя и тумана…

Бледный пламень алых роз… Серый шелк точеных ножек… Щебетанье заморской речи… Макинтоши рослых мужчин и стальные палочки их разглаженных брюк… Пронзительный и бодрый крик моторов.

Канарейки, несессеры и джентльмены упаковываются в автомобили и исчезают. А остается дождь, неумолимый батумский дождь, ропщущий из поверхности почерневших вод, застилающий свинцовую опухоль неба, роющийся под пристанью, как миллионы злых и упрямых мышей. И еще остается съежившаяся кучка людей у угольных ям «Лэди Элеоноры». Немой и сумрачный сугроб из поникших синих блуз, погасших папирос, заскорузлых пальцев и безрадостного молчания. Это те, до которых никому нет дела...

Российский консул в Батуме сказал бывшей команде отобранных нами пароходов:

— Вы называете себя русскими, но я вас не знаю. Где были вы тогда, когда Россия изнемогала от невыносимых тягостей неравной борьбы? Вы хотите остаться на прежних местах, но разве не вы разводили пары, поднимали якоря и вывешивали сигнальные огни в те грозные часы, когда враги и наемники лишали обнищавшие советские порты их последнего достояния? Быть гражданином рабочей страны — эту честь надо заслужить. Вы не заслужили ее.

И вот — они сидят у угольных ям «Лэди Элеоноры», запертые в клетку из дождя и одиночества, эти люди без родины.

— Чудно, — говорит мне старый кочегар, — кто мы? Мы русские, но не граждане. Нас не принимают здесь и выбрасывают там. Русский меня не узнает, а англичанин, тот меня никогда не знал. Куда податься и с чего начать? В Нью-Йорке четыре тысячи пароходов без дела, а в Марселе — триста. Меня просят миром — уезжай, откуда приехал. А я тридцать лет тому назад из Рязанской губернии приехал.

— Не надо было убегать, — говорю я. — Бессмысленный ты кочегар, от кого бежал?

— Знаю, — отвечает мне старик, — теперь все знаю...

А вечером они, как грустное стадо, шли со своими котомками в гавань, чтобы погрузиться на иностранный пароход, отходивший в Константинополь. У сходен их толкали и отбрасывали баулы раздушенных дам и серых макинтошей. Багровый капитан с золотым шитьем на шапке кричал с мостика:

— Прочь, канальи... Хватит с меня бесплатной рвани... Посторониться. Пусть пройдет публика...

Потом их свалили на кучу канатов на корме. Потом канаты понадобились, и их прогнали в другой конец парохода. Они болтались по палубе, оглушенные, боязливые, бесшумные, со своими перепачканными блузами и сиротливыми узелками. А когда пароход дал отходной гудок и дамы на борту стали кидать провожающим цветы, тогда старик кочегар, приблизившись к решетке, прокричал мне с отчаянием:

— Будь мы какие ни на есть подданные, не стал бы он над нами так куражиться, лысый пес.

МЕДРЕСЕ И ШКОЛА

Эта многозначительная и неприметная борьба ведется со скрытым и глухим упорством. Она ведется везде — и на суровых склонах недосягаемых гор, и во влажных долинах Нижней Аджарии. В одном лагере стоит мечеть и фанатический ходжа, в другом — невзрачная избенка, зачастую без

окон и дверей, с выцветшей надписью на красном флажке: «Трудовая школа». Через несколько дней я выеду в горы для того, чтобы на месте присмотреться к извилистой тактике борьбы за культурное преобладание, к тем непостижимым зигзагам, которые приходится делать в этих глухих и оторванных от центра селах, насыщенных еще ядовитой и слепой поэзией феодализма и религиозной косности. Пока же я поделюсь с вами данными, которые я вынес из ознакомления с работой здешнего Наркомпроса.

Внедрение в человеческие души требует дальновидности и осторожности. В тяжких условиях Востока эти качества должны быть удесятерены, доведены до предела. Вот положение, не требующее доказательств. Но меньшевистские кавалеристы от просвещения рассуждали иначе. В поколебленное царство аджарского муллы они внесли прямолинейный пыл близорукого национал-шовинизма. Результаты не были неожиданны. Население возненавидело лютой ненавистью все то, что шло от власти. Государственная школа, объединявшая десятки сел, насчитывала десять-пятнадцать учеников, и в это время медресе ломилось от огромного изобилия детей. Крестьяне несли ходжам деньги, продовольствие, материалы для ремонта зданий. А меньшевистская школа хирела, пустовала, подрывая не только авторитет своих насадителей, это бы с полбеды, но и подтачивая веру в те азбучные основы культуры, которые несла с собой дореформенная школа.

Итак, меньшевики оставили наследство, проклятое наследство. Надо было с ним распутываться. Нелегкое дело.

Недоверие в мусульманском крестьянстве было прочно разбужено, страсти накалены. Примитивная борьба за азбуку цепляла своими корнями огромные задачи политического просвещения. Съезд аджарских исполкомов уяснил себе это в полной мере. Он продиктовал тот метод внимательной постепенности и идейного соревнования, который теперь начинает приносить свои плоды.

Медресе были оставлены. Они существовали наряду с советской школой. Более того, Наркомпрос упорно добивался открытия школ в тех местах, где раньше были уже религиозные школы. Нередки были случаи, когда ходжу приглашали преподавать в советской школе турецкий язык. Ходжи шли и приводили с собой массы детей. Решающую роль сыграло объявление турецкого языка обязательным к преподаванию, причем государственным и основным языком оставался всегда грузинский.

Перед нами опыт полуторагодичной работы. Каковы итоги? Они благоприятны в высокой степени. Перелом совершился. Схоластическая мертвечина медресе побеждена живым трудовым процессом обучения в нашей школе. Дети бегут с уроков ходжи в буквальном значении этого слова, они прыгают в окна, иногда взламывают двери и прячутся от грозного наставника. Количество учащихся в советской школе прибывает с возрастающей силой. И эта победа достигнута без единой репрессивной меры, без тени насилия. Неумолимая поступь жизни, сила очевидности совершила все это с неслыханной быстротой и ясностью. Нашей непременной задачей является — удержать эти бескровные завое-

вания первейшей важности и расширить их, но... тут воспоследует такое количество «но», что я вынужден начать следующую фразу с красной строки.

У Наркомпроса Аджаристана нет денег. На этом привычном явлении не стоило бы слишком останавливаться, если бы безденежье Аджаристанского Наркомпроса не приняло характер легендарный. Достаточно сказать, что жалованье за семь месяцев, с января по август, было выплачено учителям несколько дней тому назад, благодаря четырехмиллиардному кредиту, отпущенному наконец аджарским Совнаркомом после почти годового размышления. Если вдуматься в невыносимые условия существования культурного работника, заброшенного в дикие ущелья Верхней Аджарии, отрезанного в течение всей зимы от общения с внешним миром, запертого среди недоверчивого крестьянства, требующего длительной и неустанной обработки — и все это при отсутствии какой бы то ни было оплаты труда, тогда поистине диву даешься, как они не разбежались. Основное требование — подготовка преподавательского персонала — усвоена Наркомпросом. В Хуцубани функционирует уже педагогическая школа высшего типа, где обучаются десятка два аджарских юношей, и недалек тот час, когда она выпустит первый кадр мусульманских преподавателей, одинаково хорошо владеющих грузинским и турецким языками, проникнутых идеями советовластия и знакомых с основами новой педагогики. В наступающем учебном году открывается в Батуми педагогический техникум, имеющий те же цели. Ему должно быть уделено исключительное внимание. Крохи

с учительского меньшевистского стола, да и наши работники, не применившиеся еще к своеобразному укладу населения, немало помешали работе. Все должно измениться с того момента, когда аджарцы, кровь от крови и плоть от плоти пославших их деревень, вернутся в родные места учителями и пропагандистами. Им будет и почет, и вера, и любовь.

Они вернутся учителями и пропагандистами. Слово «пропагандист» я привел с умыслом. Недаром же в районах спаивается для единой школьной работы тройка из местного заведывающего Наробразом, уполномоченного от парткома и инструктора Наркомпроса. Избенка с выцветшей надписью на красном флажке «Трудовая школа» есть то зерно, к которому должны прилепиться и изба-читальня, и показательная мастерская, и культурный синематограф в будущем. Нет лучшего пути проникновения в полураскрывшиеся сердца горцев. Учитель — он должен соединять в своем лице и сельский Наркомпрос и Главполитпросвет и агитпроп парткома. Уже в наступающем году открываются при некоторых школах небольшие показательные ткацкие мастерские и курсы по шелководству. Успех этих начинаний предрешен. Даже женщины, аджарские женщины в чадрах, с охотой присутствуют на таких уроках.

Как нельзя хуже обстоит дело с ремонтом школьных зданий. Сейчас большинство их представляет из себя полуразвалившиеся хибарки. От местных исполкомов поступают заявления, что они готовы помочь, чем могут, делу школьного строительства. По сравнению с прошлым годом, когда крестьянин, отдавая в школу ребенка, искренно полагал, что

он оказывает неизмеримое снисхождение государству, — это заявление обозначает большой сдвиг в мышлении. Но деревня может дать только то, что у нее есть. В селе нет железных материалов, стекол, черепицы, нет учебных пособий. Будем надеяться, что нынешний обновленный состав Аджаристанского Наркомпроса проявит в этом настойчивость. Конечно, он немного сделает, если центральные тифлисские учреждения не помогут ему присылкой учебников, пособий для ручного труда и проч.

ГАГРЫ

Волею державного деспота на скале воздвигся город. Были построены дворцы для избранных и хижины для тех, кто избранных будет обслуживать. На глухом берегу заиграли огни, и тугие кошельки с продырявленными легкими потянулись к скале светлейшего деспота.

Все текло, как положено. Дворцы цвели, хижины гнили. Дырявые легкие избранных выздоравливали, здоровые легкие услужающих крошились и разрушались, а необузданный старый принц неутомимо гонял лебедей по своим прудам, разбивал цветники и карабкался по кручам, водружая на недосягаемых вершинах дворцы и хижины, только дворцы и только хижины. В Петербурге подумывали о том, чтобы объявить принца сумасшедшим и отдать под опеку. Потом грянула война. Принца объявили гением и назначили его начальником санитарной части. Изумленная история

поведает о том, как лечил принц Ольденбургский пять миллионов больных и раненых, но о Гаграх, об этой выдумке его упрямой и бездельной фантазии, — кто расскажет о Гаграх?

Война и вслед за нею революция. Прибой и отливы красных знамен. На модных курортах не стало больных, а у сиделок не стало хлеба. Грохот сражений на больших дорогах и присевшая на корточки тишина в глухих углах. Всероссийская буря выбрасывает ненужный щебень на дальние берега, трупы крыс, бежавших с корабля. А мертвенные Гагры, эта величавая нелепость, глохнут на своей разрушенной скале, всеми забытые, ничего не производящие...

Еще и теперь впечатление, производимое этим унылым и диковинным городком, ужасно. Он похож на красавицу, ободранную дождем и слякотью, или на труппу испанских танцовщиц, гастролирующих в голодающей волжской деревне. Пруды, разбитые вокруг дворца, превратились в болота, и их ядовитое дыхание выбивает из призрачного и жалкого населения последние остатки сил. Невообразимые шафранные люди в стукалках и вицмундирах расхаживают среди сумрачных балаганов, стиснутых гранитными стенами многоэтажных великанов. Безумие Гойи и ненависть Гоголя не могли бы придумать ничего более страшного. Обломки крушения, бессмысленные видения прошлого, это дореформенное чиновничество, сожженное нищетой и малярией, застрявшее почему-то в живых, бродит здесь, как грустный символ умершего города.

Пять лет Гагры ничего не делали, потому что им нечего делать и они ничего не умеют. Они умеют только потреб-

лять — это поселение сиделок, рестораторов, коридорных и банщиков, прошедших у старого барина науку лакейского шика и курортных чаевых.

И вот в этом году новый хозяин впервые открывает лечебный сезон в Гаграх. Санатории чистятся и приводятся в порядок. Ждут больных товарищей из РСФСР и Закавказья. Санатории предположено развернуть на 150–200 коек. Возможности в Гаграх велики. Омрачает только вопрос о продуктах, стоящий довольно остро, а здания гостиниц и бывший дворец Ольденбургского хоть и обеднели инвентарем, но все еще прекрасны. Курортное управление, до сих пор, как известно, не страдавшее от переутомления, проявляет кое-какие признаки жизни.

На опавших щеках городка заиграла робкая улыбка ожидания. Гагры ждут новых птиц и новых песен. Эти измученные, заболевшие, но неутомимые птицы, оплодотворившие беспредельные пространства нашей страны, пусть приложат они частицу своей животворящей энергии для того, чтобы возродить к жизни целительную климатическую станцию, до сих пор плохо управляющуюся, заглохшую, но имеющую все права на существование.

ТАБАК

Подслеповатая старушка просит пособия в Наркомсобесе.

— Нет табаку, — с возмущением отвечают ей из Наркомсобеса. — Был и нету... Забудьте о табаке...

При чем здесь табак? Темна вода. Дальше. Учительница справляется в Наркомпросе о своем заявлении.

— Был табак и сплыл, — ядовито отвечает учительнице товарищ из Наркомпроса, — приказал долго жить табачок. Еще месяц, еще два — и крышка...

И наконец, ассенизатор бурно требует денег в Коммунхозе.

— Откуда я возьму табак, — яростно кричит товарищ из Коммунхоза, — на ладонях он у меня растет, что ли, ваш табак... Или в палисаднике прикажете плантацию развести?

Изумительная Абхазия! Ассенизаторы и старухи курят с одинаковым увлечением, и тишайшие учительницы не отстают от них в этой благородной страсти.

Темна вода. И как горестно светлеет она при одном прикосновении к авторитетному плачу Таботдела.

В 1914 году сбор табаков в Абхазии дошел до миллиона пудов. Это была рекордная цифра, и все обстоятельства говорили за то, что она будет неуклонно повышаться. Уже до войны Сухум торжествовал полную победу над кубанскими и крымскими табаками. Фабрики Петрограда, Ростова-на-Дону и Юга России работали на сухумском сырье. Отпуск за границу увеличивался с каждым годом. Прежние монопольные поставщики табаку — Македония, Турция, Египет — не могли не признать несравненных качеств нового конкурента. Тончайшие сорта, выпускаемые прославленными фабриками Каира, Александрии, Лондона, приобретали особенную ценность от подмеси абхазского табака. Наш продукт с молниеносной быстротой завоевал репутацию одного из

лучших в мире, иностранный капитал бурно устремился на побережье и взялся за устройство громадных складов и разбивку промышленных плантаций.

Цена табака в довоенное время колебалась, в зависимости от сорта, от 14 до 30 рублей за пуд. Средний урожай — восемьдесят, сто пудов на десятину. Наиболее распространенный тип крестьянской плантации — три, четыре десятины. Пионерами табачной культуры на побережье были греки и армяне. Коренные обитатели страны успешно воспользовались их опытом и сделали табаководство экономическим стержнем края. Благосостояние сухумского крестьянства, стиснутое грабительством скупщиков и царской администрации, все же показывало тенденцию к росту. Теперь понятно, почему «от табака все качества», почему он не чужд инвалидам-старушкам и страждущим учительницам.

После 14 года война начала свою разрушительную работу. Волны переселенцев смяли драгоценную культуру, первый натиск революции не мог не углубить кризиса, а меньшевики, эти роковые мужчины, разломали все вдребезги.

Поистине, в этом феерическом и плодородящем саду, который называется Абхазией, научаешься с особой силой ненавидеть эту разновидность вялых мокриц, которые наследили здесь всеми проявлениями своего творческого гения. За два года своего владычества они успели разрушить все жизненные учреждения города, отдали лесные богатства на разграбление иностранным акулам и объявлением табачной монополии добили вконец нерв страны. Монополия — это бы еще с полбеды. Государственная власть, проводящая

осмысленную экономическую политику, прибегает к мерам и покруче, но прибегает с умом. Меньшевистская же монополия была рассчитана на прочную смерть табачной промышленности. Параллельно с государственной ценой, не оправдывавшей себестоимости, существовала расценка иностранного рынка, превышавшая объявленные ставки ровно на 400 процентов. Что оставалось делать в таких условиях плантатору? Ничего не делать. Он благополучно справился с этой несложной задачей.

Табаководство Абхазии под эгидой просвещенных мореплавателей мирно скончалось. Чудовищно сказать — за 1918–1920 годы на рынок не поступило ни одного фунта табаку новых урожаев. Плантации были распаханы под кукурузу, чему способствовала приостановка ввоза из РСФСР хлебных грузов. Зияющая рана сочилась и оставалась открытой.

Таково было наследие меньшевиков. И тут — при рассмотрении того, как взялась за ликвидацию этого печального наследства Советская власть, — надо признать с полной откровенностью, что в этом деле не было проявлено ни достаточного умения, ни планомерной твердости.

Правда, монополия была отменена, но только для того, чтобы уступить место декретной неразберихе. Вопросы табачной промышленности пересматривались каждые две недели, — на голову озадаченного, недоумевающего плантатора сыпались самые противоречивые разъяснения. Табаком ведали все учреждения понемножку, и ни одно из них не ведало им вплотную. До сих пор идет неразрешенный спор

между Внешторгом и Совнаркомом Абхазии о том, кто должен распоряжаться частью из оставшегося после меньшевиков табачного фонда. За полуторагодовой советский период реализовано для покрытия текущих государственных расходов около полумиллиона пудов, реализовано без плана и по минимальным ценам. А в перспективе — урожай 1922 года, который едва ли даст десять тысяч пудов свежего табаку. Захиревшие плантации не возобновляются. Полуразрешения, полузапрещения, глубокомысленные примечания к тяжеловесным параграфам дали в результате полное недоумение среди плантаторов, не уверенных в завтрашнем дне. Без этой уверенности не будет возрождения. И поэтому крестьянин копается на своей десятине кукурузы, могущей дать ему валового дохода десять, пятнадцать миллионов грузобонами, и пренебрегает табаком, обещающим, при среднем урожае, 75–100 миллионов. Материальные условия существования абхазского селянина ухудшились резко. Он обносился и живет в дырявом доме, который не на что отремонтировать.

Стремление к посадке табаку всеобщее. Единственно, о чем взывает плантатор, — это о твердом законе для табачной промышленности. Будет ли это сделано в виде натурналога или регулирования торговли — дело экономических органов решить, что нужнее для страны и трудящихся. Но ясность необходима. Смешению понятий и шатанию умов пора положить предел. Иначе золотые руки табачных приисков грозят замереть надолго, к великому ущербу для Федерации.

В ЧАКВЕ

Чай. Сбор чая. В эти два слова, как в мишень, целятся здесь все усилия, упования и интересы. Старенькие склоны Чаквы покрыты размеренными рядами заповедных кустов. В их обыденной зелени вы не увидите ни плодов, ни цветов, ни завязи. Глаз, жаждущий влажных полей Цейлона, глаз, приготовленный к желтым равнинам Китая, равнодушно скользит по зеленой поросли и ищет «чаю». И кто узнает его в крохотной лиловой почке, венчающей карликовую вершинку куста, и в свежем листке, спрятавшемся под почкой и похожем на миллионы миллионов таких же ординарных листков? Его узнает, его найдет и вырвет та нечеловечески ловкая машинка, которая засела в руках окрестных греков, в красных, истыканных пальчиках их десятилетних дочерей.

Все эти Архилевы, Амбарзакисы и Теотокисы спустились в Чакву на сбор чая из своих аджарских ущелий, покрытых голубыми тучами незаходящего тумана. Их неутомимые артели, составленные из детей, неспешно ползут по размытым террасам, и неуловимые руки летают над кустами, как рой мгновенных птиц. Их привычный глаз, не колеблясь, выискивает в неистощимом лабиринте зеленого цветения нужные ему два листочка, и пусть тот, кто не верит в недостижимое, узнает, что есть девушки, которые доводят ежедневный сбор этих невесомых почек и стебельков до ста пятидесяти фунтов за рабочий день.

Рыжеусые объездчики скачут на пегих лошаденках по розовым тропинкам Чаквы, кроткие буйволы, скрипя ярмом,

влекут в долину арбы со свеженабранным листом, оливковые греки, старосты артелей, карабкаются по холмам, они щелкают записными книжками, тягуче орут на рабочих и вдруг вскипают залихватской песней, бурной, как мелодии балаклавских рыбаков.

Но и объездчики, и арбы, и оливковые греки — все они тяготеют к долине, к тому утрамбованному и закованному в цемент куску земли, где поместилась неотъемлемая вотчина Джена Лау — чайная фабрика.

Джен Лау, прославленный Иван Иваныч. Его знают все люди, населяющие обе стороны шоссе, ведущего от Чаквы к Батуму. Эта незыблемая слава не велика объемом, но она неисчерпаема в глубину. Двадцать семь лет тому назад чайный энтузиаст и чайный капиталист Попов вывез двадцатилетнего Лау из Срединного Китая, из священных зарослей Востока, куда еще не ступала нога европейца. Рабу на плантациях какого-то мандарина — нынешнему Ивану Иванычу суждено было стать пионером чайного дела в России и несменяемым его руководителем. И только на безмерной и плоской почве Китая, где люди неисчислимы, как стволы бамбуков в тропическом лесу, только на этой загадочной земле, удобренной миллионами безличностей, могла распуститься огненная страстность Джена Лау, его шумливая и непреклонная деятельность, этот обрывистый, судорожный, пристальный и рассчитанный темперамент азиата.

Все нити тянутся к нему. Буйволы, спускаясь с холмов, видят уступы цементных площадок, примыкающих к фабрике. Австралийское солнце цветет над кружевным и румяным

ландшафтом Чаквы. Гигантские площадки, осыпанные изумрудным ковром вялящегося чая, — они кажутся выстиранными белыми скатертями, отсвечивающими под хрустальными потоками электричества. Вялить на воздухе — это пережиток отмирающего кустарничества, сохраняющийся только потому, что крытых помещений не хватает на тридцать тысяч фунтов свежего листа, ежедневно доставляемого с плантаций.

После того как лист завяливается в течение суток, он поступает в прессы для скручивания. Только тогда получается прообраз ароматических и черных корешков, так знакомых нам. Потом наступает черед для процесса брожения. Лист, тронутый уже бурым и влажным ядом гниения, созрел для сушки. В герметической печи, похожей на пригородный домик, вращается бесконечная железная ткань, чай рассыпан по ней ровным пластом. В этом паровом доме, сложном, как мотор, и наглухо закупоренном, чай подвергается медленному и равномерному нагреванию. Процесс сушки повторяется дважды. И вынутый из печи во второй раз — чай готов. Он уже черен, растрепан, но лишен аромата. Последний взмах резца принадлежит сортировкам.

Устройство сортировок незамысловато, работа их общепонятна, но в этой стадии производства лежит залог успеха; неощутимые свойства чая заявляют здесь о тирании, чье тонкое коварство недоступно восприятию непосвященного.

Сортировкой называется сетчатый барабан, разделенный на секторы и с особым делением сетки в каждом секторе. Барабан, совершая быстрое вращательное движение,

просеивает чай, причем сквозь первые секторы проходят наиболее мелкие и ценные его части; чем дальше к выходному отверстию барабана, тем крупнее становятся деления, тем грубее выходят просеивающиеся чаинки. Под каждым сектором поставлен деревянный ящик. В него попадает чай, обработанный данной частью барабана. Поэтому в каждом ящике — особый сорт чая. В номерах втором и третьем — высшие сорта, потому что они получаются от сортировки самой почки и верхнего листочка; в следующих ящиках — низшие сорта, получающиеся после просеивания загрубевших и старых листьев.

После сортировки — упаковка. И это все. Такова схема. На третьи или четвертые сутки после поступления зеленого листа с плантаций, в результате простейших и незатейливых процессов, чай поступает в кладовые фабрики для того, чтобы в течение нескольких месяцев отлежаться и получить специфический аромат.

Такова схема, но она бедна, как человеческий костяк, не одетый мясом, мускулами и кожей. Не в схеме тут дело. Скрытая жизнь материала, простые на вид, а на самом деле неуловимые превращения листа, тираническое непостоянство его основных свойств — все это требует неусыпного, нескончаемого внимания и опыта, изощренного десятилетиями. От ничтожнейших изменений температуры, от получасовой передержки в завяливании и сушке, от неосязаемых качеств сборки зависит конечный результат. И ни для кого не секрет, что скоропалительные посадки, запущенность плантации, варварски однообразная сортировка, рассчитан-

ная на потребности военного времени, понизили качество русского чаквинского чая. А ведь его можно довести до того, чтобы он удовлетворил даже нетерпимый вкус плантатора из Срединного Китая. Придите на чайную фабрику в тот благословенный день, когда Чаква выглядит как резные окрестности Мельбурна, и пусть Джен Лау поднесет вам пробу в чашечке из белого фарфора. В этом коралловом благовонном напитке, чья густота походит на густоту и маслянистость испанского вина, вам почудится смертоносный и сладостный настой священных и нездешних трав.

Облитый щедрым золотом незабываемого заката, перехожу я к мандариновым рощам. Низкорослые деревья отягчены плодами, в чьих глубоких изумрудных тонах трудно угадать будущую горячую и красную медь созревания. Отдельные рабочие опрыскивают деревья известью и окапывают их.

Мы минуем бамбуковые заросли, играющие не последнюю роль в чаквинском хозяйстве, и упираемся в запретные и непроницаемые пределы лесов имения. Их здесь одиннадцать тысяч триста сорок шесть никак не эксплуатируемых десятин — неисчерпаемое богатство, уходящее в пределы горных вершин. И до сих пор наш дерзкий топор не может отважиться проникнуть в эти темные и прохладные недра. Начатое несколько лет тому назад лесоустройство Чаквы заглохло. Для того чтобы его продолжить, нужны деньги, которых пока нет.

...Над морем висит малиновый круг заходящего солнца. Из разодранных розовых туч течет нежная кровь. Она зали-

вает своими цветистыми пожарами синие площади воды, подступает к той извилине берега, где в стрельчатом окне видны желтые лица Джена Лау и его семьи — крохотных и кротких китаянок.

Кроны хамеропсов и драценовых пальм недвижно окаймляют игрушечные дороги. Серебристая пыльная листва эвкалиптов пересекает алеющие равнины неба — и вся эта подстриженная пышность пьянит душу тончайшими линиями японских шелков.

РЕМОНТ И ЧИСТКА

Немножко истории. Знать ее необходимо для того, чтобы увидеть, как правильно иногда (к сожалению, не всегда), с каким верным чутьем применяется НЭП на местах (к сожалению, не во всех местах).

В прошлом году городское хозяйство Сухума подошло к той черте, за которой начинается катастрофа. Меньшевики подорвали его вконец. Первые месяцы после советизации не принесли значительного улучшения. Коммунхоз занимался раздачей мебели и прочей трухи. Больница замирала. Водопровод, построенный примитивно и не рассчитанный на современное развитие города, работал с тяжкими перебоями. Учета зданий, торговых помещений, доходных статей произведено не было. Дома невозмутимо разрушались. Ограбленная меньшевиками электрическая станция едва дышала. И, главное, не было сознания того, что необходимо

во что бы то ни стало восстановить наши города, колыбель пролетариата. Коммунхоз не имел ни авторитета, ни средств — знакомая картина. И когда сознание опасности пришло, то на часах городского хозяйства стрелка приближалась к 12.

Важно не то, что одно из наших учреждений справляется со своим делом. Радостно знать, что вопрос, возбужденный сравнительно недавно, вопрос трудный и сложный, понят и разрешен в заброшенном от центра углу, питающемся скудными дарами отвратительной провинциальной информации. Великое усилие ремонтирующейся чистейшей федерации нашло здесь, в этом маленьком зеркале, верное отражение.

За столом сидит рабочий в кожаном картузе. У этого стола бьются крикливые волны «буржуазной стихии», домогательства плохо понятого НЭП'а, опасная вкрадчивость подрядчиков и подозрительные выкладки всяких торговцев, капризная требовательность инженеров, жалобы старушек.

Одна из машин электрической станции износилась. Станция перегружена. И вот снаряжается экспедиция в Поти, где лежит без дела завезенный туда меньшевиками мощный турбогенератор. Положительный исход экспедиции сулит ни больше ни меньше, как полную электрификацию Абхазии: перевод фабрик на электрическую тягу, мощное развитие промышленности, получающей двигательную силу, полное снабжение города энергией и электрификацию сел. Вся работа, при условии получения генератора, может быть закончена в несколько месяцев.

Водопровод. Питающая его речка не дает достаточного количества воды. Уже разработан проект нового водопровода и канализации и приступлено к изысканиям. Коммунхоз добивается сдачи ему в эксплуатацию нескольких лесных участков и взамен этого к будущему лету обещает окончить все работы по канализации и водоснабжению города.

Финансы. Полгода тому назад у Коммунхоза были только долги. Теперь он содержит на своих средствах школы Наркомпроса, больницу Наркомздрава, приют Собеса. Все это достигнуто разумной арендной и торговой политикой без нажима на налоговый пресс.

— Дайте нам три года, — говорит завкоммунхозом, — и вы не узнаете Сухума. Год тому назад было плохо, сейчас стало лучше, через три года будет совсем хорошо. У нас все готово для электрификации. Водопровод и канализация — вопрос ближайших месяцев. Мы приступили к мощению улиц. Мы осуществляем благоустройство дачных пригородов. Мы улучшили санитарию и шутя справились с эпидемией нынешнего года. Летом у нас будет функционировать муниципальный ледоделательный завод. Мы бьемся над вопросом о создании ремонтного фонда для оптовых закупок строительных материалов и использовании их в виде ссуды домовладельцам и для себя. Товары обойдутся нам на 100% дешевле частного рынка. Этим мы положим прочное основание ремонту городских зданий. Электрификация позволит нам наладить правильное лесное хозяйство и открыть в первую очередь карбидный завод, для ко-

торого здесь все предпосылки. Приезжайте через три года в Сухум — вы не узнаете его.

И я верю в это. Три часа, проведенные мною в Сухумском Коммунхозе, в самом обыкновенном, самом провинциальном Коммунхозе, убеждают меня в правоте этих гордых слов.

«ПАРИЗОТ» И «ЮЛИЯ»

Это было недавно. На «Паризоте» спускали английский флаг. «Паризот» — это русский пароход «Юлия», уведенный белыми в девятнадцатом году. «Юлия» четыре года плавала по Средиземному и Мраморному морям и потом поставлена была на Анатолийскую линию. В декабре прошлого года она вышла из Константинополя в Зунгулдак за углем. В Зунгулдаке помощник капитана пошел к морскому агенту.

— Эффенди, — сказал помощник капитана, — в твоем порту скопилось много судов, моя очередь приемки угля еще не скоро, я пойду отстаиваться в Эргли, эффенди.

— Якши, — сказал турок и приложил руку ко лбу, к сердцу и еще к чему полагается.

И «Юлия», дождавшись ночи, вышла в Эргли. Она отошла от берега на пятнадцать миль, и тогда помощник капитана Гавриличенко, взяв по револьверу в каждую руку, взошел на мостик.

— Товарищи, — сказал он команде, — мы не пойдем в Эргли, мы идем домой в Одессу. Кто против — пусть тот выйдет на мостик и выбросит меня за борт.

Никто не оказался против. Гавриличенко спрятал свои револьверы. Рулевой повернул колесо. «Юлия» взяла курс домой, в Одессу.

Она шла с потушенными огнями, противоборствуя неслыханному шторму. Буря доходила до 11 баллов, в Новороссийске в эти дни оторвался гигантский «Трансбалт». В море погибла «Капнаро» и «Адмирал Деройтер», но «Юлия», с потушенными огнями, с поломанным винтом, без угля и настигаемая погоней, шла домой в Одессу.

Скорлупа колыхалась в бездне, радио и сирены выли в черных разрезах бездны, но суденышко с раздробленным винтом, взятое на буксир ледоколом, пришло в Одессу. И вот сегодня на «Паризоте» спускали английский флаг. В порт пришли оркестры, комсомолия и матросы. Английский флаг падал на корму медленно, недостреленной птицей, и пурпур нашего флага карабкался кверху, по трудной лестнице шестилетнего нашего восхождения.

Английские моряки смеялись, уходя с парохода, русская команда смеялась, всходя на него. И потом все пошли в кают-компанию, выпили вина и танцевали на палубе, притоптывая каблуками сильнее, чем старый бог притоптывает своими беззубыми громами.

Потому, что это действительно было смешно: английские матросы ничего не теряли, отдавая добро, заграбленное их

хозяевами, а мы все выигрывали, отбирая пароход, неправильно принадлежавший бывшим хозяевам.

Пролетарии ничего не теряли в этот день, и вот почему они выпили вина и топали на палубе сильнее, чем бог топает громами.

<ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СЕКРЕТАРИАТА ФОСП>

В связи с этим выступлением Дана рождается ряд вопросов. Когда я был за границей, я был потрясен своей популярностью в Польше и Германии. Происхождение фотографии, изображающей меня с сыном, помещенной в польской газете, объясняется следующим обстоятельством, по поводу которого у меня также было столкновение с коммунистическим издательством «Малик-Ферлаг» в Берлине. Когда из издательства прислали за текстом проспекта к моей книге, моя мать случайно отдала посланному вместе с нужным материалом и эту мою карточку с сыном. «Малик» издал проспекты с фотографией, а потом она появилась и в американских переводах. Судя по статье Б. Ясенского, «интервью» Дана написано под явным влиянием моего рассказа «Гедали». Молодой человек из польской газеты лишь подновил тему, облек ее в форму интервью. Особенно удивительно, что это «интервью» появилось через два года после моего приезда из-за границы. В свое время мои рассказы о прежней ра-

боте в Чека подняли за границей страшный скандал, и я был более или менее бойкотируемым человеком. Конечно, в то время такая информация не могла бы появиться.

Все же «Литературная газета» поступила неправильно, не показав предварительно статью мне. Мне кажется, что здесь речь идет о человеке безукоризненной репутации, и по отношению к такому человеку «Литгазета» поступила несколько поспешно. Правда, найти меня трудно. Но если бы статья была своевременно мне показана, все дело выглядело бы, конечно, иначе, ясно было бы, что речь идет только о фальшивке. Статья производит неприятное впечатление. Как могло случиться, чтобы на человека, который с октября 1917 года работал в Чека, против которого за все эти годы не поднялся и не мог подняться ни один голос, — как могло случиться, чтобы на такого человека был вылит такой ушат грязи. Я думаю, что это в значительной мере можно объяснить тем, что я, напечатав в 1925–26 гг. книгу, исчез из литературы.

Зеленым мальчиком я попал к Горькому и двадцати лет — в ноябре 1916 года — напечатал свою первую вещь в горьковской «Летописи». Мне сейчас же было предъявлено обвинение сразу по трем статьям царского свода законов: я был привлечен за порнографию, кощунство и покушение на ниспровержение царствующего строя. В марте 1917 года я должен был привлекаться к суду. Писал я тогда в течение одного месяца. Горький сказал, что — плохо. И было действительно плохо. После этого, подобно Горькому, я пошел «в люди». «В люди» — было для меня Красной Армией, Чека, советскими

учреждениями, в одном из которых, между прочим, я работал в одно время с Жигой, который мне первому показывал свои стихи, которые он тогда писал. В 1920 году тов. Симмен был заведующим Госиздатом в Одессе, и я работал с ним в качестве заведующего редакционно-издательским отделом. После семилетнего перерыва, в течение шести месяцев печатались мои вещи. Потом я перестал писать потому, что все то, что было написано мною раньше, мне разонравилось. Я не могу больше писать так, как раньше, ни одной строчки. И мне жаль, что С. М. Буденный не догадался обратиться ко мне в свое время за союзом против моей «Конармии», ибо «Конармия» мне не нравится. За все эти годы я проделал большой путь — от Архангельска до Батуми. Я многого в жизни не уважаю, но советскую литературу уважаю превыше всего. У меня в то время была квартира, была тысяча-две рублей гонорара в месяц, был почет, я имел возможность заказывать себе «красную мебель». Почему мне понадобилось уйти от всего этого, бросить проверенный метод, знание того, с чего нужно начать в художественном произведении, чем нужно кончить, где нужно вставить иностранное слово, то есть была еще готовая рента лет на десять? Отказ от всего этого я рассматриваю как свою величайшую заслугу и следствие правильного отношения к советской литературе. Последние два года я живу «внизу», в деревне, в колхозах, стараюсь смотреть на жизнь изнутри. Я не говорил этого раньше потому, что считал, что надо сначала написать книгу, сказать это через книгу. Может быть, в наше время так поступать нельзя.

Недавно я почувствовал, что мне опять хорошо писать. Я давно уже понял, что приближается смерть «попутнической» литературы. Она производит жалчайшее впечатление, представляя собой чудовищный диссонанс с темпами нашей большевистской эпохи. Прошли тягчайшие для меня годы. Я искал новый язык, новый образ, соответствующий ведущей роли советской литературы. Я действовал как один из немногих ее фанатиков. Медвежьи углы подсказали мне новый ритм. За последний год — год усиленной работы — я видел, как заблудились между трех сосен мои товарищи, которые не остановились в своем ежедневном беге. И вдруг когда я вновь полон жажды работать, меня встречает статья Ясенского, говорящая о моем пребывании за границей, где меня на собственной улице избивали пьяные офицеры.

Мне не приходило в голову в течение всего этого времени, что нужны были с моей стороны декларации о моем отношении к Советской власти, как человеку, честно прослужившему десять лет в сов[етском] учреждении, не пришло бы в голову дать подписку о том, что он из этого учреждения ничего не украдет.

Недавно я был с триумфом отправлен от фининспектора, ибо оказался единственным писателем в СССР, не обложенным подоходным налогом. Все мое состояние — полтора чемодана и долг ГИЗу.

Я еще раз повторяю, я думал, что весь этот разговор я поведу через три месяца, через мою книгу.

<О РАБОТНИКАХ НОВОЙ КУЛЬТУРЫ>

Товарищи, нас сюда привело восстание читателя, бунт читательской публики.

В театре я иногда ловлю себя на том, что смотрю не на сцену, а на зрителя. Интереснее, лучше, содержательнее; прекрасные лица. В них такая жажда хорошего слова, такая сила восприятия, такая юность и страстность, что становится жалко и стыдно, когда слушаешь какие-нибудь жеваные слова со сцены.

Я думал про себя: до каких пор они будут слушать? Оказывается, зритель взбунтовался, его восстание и привело нас сюда.

Конечно, значение этого движения далеко выходит за пределы частных личных случаев. Можно соглашаться, можно не соглашаться с теми способами нанесения увечий различным товарищам, которые иногда практикуются нашей критикой, но по существу этих увечий должен сказать, что я с ними согласен *(смех)*. Речь идет о деле громадном.

Есть обновленный 170-миллионный народ, большая часть которого лишь десяток, два десятка лет тому назад научилась грамоте. Появились десятки миллионов новых читателей, которым начинать с Джойса и Пруста невозможно. В руководстве великим, небывалым этим движением возможны ошибки; на редакциях и критиках наших лежит историческая ответственность. Я не собираюсь заступаться за них.

В той путанице, которую критики наши сейчас разбирают, часто они сами повинны, часто суждения их по своей

неожиданности напоминают атмосферические явления. Но все это имеет малое, второстепенное значение. Значение имеет то, что 170-миллионный народ, строящий новую культуру, провозвестник и создатель нового общества, говорит нам, что ему не хватает книг и что значительная часть тех, которые есть, — плохи. Заявление, важность которого и обязательность для нас нельзя переоценить. Исходя из этого, надо, чтобы совещание наше стало совещанием производственным.

Я не умею говорить о теориях, мне хотелось бы сказать о конкретных случаях.

Все мы здесь сидящие бесталанного человека даровитым не сделаем, из пошляка и приспособленца — создателя новой культуры тоже не сделаем. Устрашить бы их — и то хорошо.

Мы говорим о людях доброй воли и способностей, которые могут и хотят работать, — и говорим конкретно. Добрых намерений на всех наших литературных совещаниях высказано было много, добрыми намерениями вымощен ад и наша литература *(смех)*. Признаний Советской власти тоже мы выслушали немало. По-моему, речь теперь должна идти о том — признает ли Советская власть тех, кто ее признает *(аплодисменты)*.

Что должны мы делать для поднятия своей квалификации и как это делать? Вот вопрос, который каждый из нас должен себе задать.

Возьму случай с товарищем Бабелем — случай, известный мне лучше других. Мне трудно тут не присоединиться

к хору жалующихся на товарища Бабеля. Жить с ним так долго, как я это делаю, нелегко. Человек он тяжелого характера. Случай этот может быть для нас конкретным литературным примером.

Меня упрекают в малой продуктивности. В ранней юности мною было напечатано несколько рассказов, встреченных с интересом, после чего я замолчал на семь лет. Потом снова стал печататься, и кончилось это тем, что мне разонравилось то, что я делал, показалось, что я начинаю повторяться.

Мне перестало нравиться то, что я делал, и у меня возникло законное желание делать по-другому.

Я не могу связать слово «ошибка» с тем чувством недовольства собой, которое я испытывал. И вообще считаю, что в вопросе о так называемой литературной ошибке напущено много туману и что дело серьезнее, чем мы думаем.

Можно понять ошибку в арифметике. Можно понять ошибку в политике. Нам объяснили, что они редко бывают случайными и как надо их исправлять.

Ошибка в литературе — это же и есть литератор. Людовик XIV сказал когда-то: «Королевство — это я». Литератор мог бы сказать: «Ошибка — это я». И тут надо принять далеко идущие меры по отношению к себе.

Я стараюсь держаться конкретных рамок, и поэтому мне кажется просто неуместным говорить о деталях. В начале моей работы было у меня стремление писать коротко и точно, был у меня, я думал, свой способ выражать чувства и мысли. Потом я остыл в этой страсти и убедил себя, что пи-

сать надо плавно, длинно, с классической холодностью и спокойствием. И я исполнил свое намерение, уединился, исписал столько бумаги, сколько полагается графоману *(смех)*.

В числе моих пороков есть свойство, которое, пожалуй, надо сохранить. Я считаю, что нужно быть себе предварительной цензурой, а не последующей. Поэтому, написав, я дал сочиненному отлежаться, и когда прочитал со свежей головой, то, по совести, не узнал себя: вяло, скучно, длинно, нет удара, неинтересно.

И тогда снова — в который раз — как сказано у Горького, я решил идти в люди, объехал много тысяч километров, видел множество дел и людей.

Мысль моя была такова — совершаются мировой важности события, рождаются люди еще не виданные, совершаются вещи небывалые, и, пожалуй, один только фактический материал может потрясать в наше время.

И вот я постарался изложить этот фактический материал, написал, отложил его, прочитал и увидел — неинтересно *(смех)*.

Это начало становиться серьезным. Пришло время пересмотра и решения. И я понял, что первое мое желание было желание техникой и формой, каким-то особым объективизмом подменить то, чем был я. Вторым внутренним моим расчетом было то, что за меня будет говорить Советская страна, что события наших дней так удивительны, что мне и делать особенно нечего — они сами за себя говорят. Нужно только правильно их изложить, и это будет важно, потрясающе, интересно для всего мира.

И вот — не вышло. Получилось неинтересно. Тогда я понял окончательно, что книга — это есть мир, видимый через человека. В моем построении человека и не было, — он ушел от самого себя. Надо было к нему вернуться; у меня, как у литератора, никаких других инструментов, кроме как мои чувства, желания и склонности, не было и не могло быть; в наших условиях высокой ответственности нужна ничем не ограниченная добросовестность к себе.

Так пришел я к убеждению, что для того, чтобы хорошо писать, нужно чувства мои, мечты, сокровенные желания довести до их предела, довести до полного голоса, сказать себе со всей силой, что я есть, очистить себя, пойти полным ходом, и только тогда видно будет, дело я затеял или нет, товар это или не товар.

И тут, товарищи, впервые за несколько лет я почувствовал легкость в работе и прелесть ее.

Только будучи самим собой, с величайшей силой и искренностью развивая свои способности и чувства, можно подвергнуть себя решительной проверке. Человеческий мой характер, работа моя, то, чему я хочу учить и к чему я хочу вести, — является ли это частью созидающейся социалистической культуры, работником которой я являюсь? Вот в чем заключается эта проверка. Представитель ли я тех людей, новых людей нашей страны, с жадностью смотрящих на сцену, ждущих и требующих нового, страстного, сильного слова?..

Я себе ответил на этот вопрос так, что работу мне надо продолжать с гораздо большей настойчивостью и ясностью, чем это было раньше. Чтобы не удариться в область «добрых

намерений», я не стану распространяться об этом. Подождем дел моих... Постараюсь, чтобы ждать было недолго.

Не может быть хорошей литературы, если собрание литераторов не будет собранием могучих, сильных, страстных и разнообразных характеров. Объединенные одной целью и страстной любовью к строительству социализма, они должны создать новую социалистическую культуру.

Здесь было выступление Серебрянского, правильно отметившего, что мало говорили о Фурманове и Островском. Книги Фурманова и Островского с громадным увлечением читаются миллионами людей. О них можно сказать, что они формируют душу. Огненное содержание побеждает несовершенство формы. Книга Островского — одна из советских книг, которую я с биением сердца дочитал до конца, а ведь написана она неискусно, и отношусь я к разряду скорее строгих читателей.

В ней сильный, страстный, цельный человек *(аплодисменты)*, знающий, что он делает, говорит полным голосом. Вот что нужно нам всем — вот образец, который мы обязаны переработать в себе в соответствии с особенностями каждого из нас.

<ФУРМАНОВ>

Товарищи, я не мог собрать материала к этому вечеру, я не готовился к нему, и на эту трибуну меня привела только настоятельная потребность быть сегодня здесь и участвовать в воспоминаниях.

Два дня тому назад я приехал из Крыма. Вместе с одним французским писателем мы были у Горького, и перед нами предстало зрелище необычайной жизни большого человека. Этот старый человек работает героически, лежа на столе с подушками кислорода. В истории человечества было мало таких героических примеров.

И снова Горький, как всегда, говорил о нашей жизни, говорил о том, что мы плохо пишем, что мало учимся, что, написав одну книгу, мы успокаиваемся или пишем все хуже и хуже, оттого что знания наши малы, что уважение к самому лучшему читателю мира невелико.

Когда он говорил об этом, я подумал: вот грешные человеческие привычки. Я стал в своей памяти перебирать праведников и грешников. Скажу откровенно, что грешников я нашел очень много, а вот настоящего праведника только одного: того человека, который умер десять лет тому назад и в честь которого мы сегодня собрались.

Мне много вечеров пришлось провести с Фурмановым в Нащокинском переулке. Шли разговоры о его книге. Книжка, разошедшаяся в сотнях тысяч экземпляров, не удовлетворяла Фурманова в полной мере. Рост его был велик; с каждым месяцем способности этого писателя увеличивались. И если бы вы знали, какая любовь к слову, к самому изысканному сочетанию слов жила в этом человеке, как он прислушивался к звуку греческих поэтов, римских поэтов. В эти моменты я смотрел на него растроганный и потрясенный, он казался мне воплощением пролетария, овладевающего искусством поэзии.

Вспомните его жизнь, он никогда не шел по линии наименьшего сопротивления. До революции он боролся с царизмом, после революции он пошел на фронт, после фронта он выбрал самый опасный участок, участок борьбы с поэзией, с искусством. Я на своем веку не видел борьбы более страшной и напряженной. Поражала та быстрота, с которой он овладевал искусством. Пожалуй, и это привело его к могиле.

Два дня тому назад в этом же зале вспоминали Багрицкого. Я тоже знал его и скажу, что стихи его с каждым годом становятся все живее, потому что он нес правду.

Но подумайте о Фурманове в этом направлении. На наших глазах два года тому назад совершилось событие небывалое в истории литературы и искусства: страницы книги Фурманова распахнулись, и из них вышли живые люди, настоящие герои нашей страны, настоящие дети нашей страны.

Когда я смотрел эту картину, я думал вот о чем. Мне казалось, что режиссеры, поставившие картину, не отличаются гениальной способностью, что у нас есть режиссеры, обладающие большими способностями, большей виртуозностью. Я не мог сказать, чтобы и актеры играли как-то особенно в этой картине. У нас много хороших актеров. Я себя спросил, в чем громадная сила этой картины, почему же о ней не было никаких споров, почему впервые в нашу страну пришло то подлинное искусство, которое отразилось в наших сердцах, почему наши сердца так сжимались, когда мы смотрели «Чапаева»? Я уверен, что это происходило потому,

что эта картина не сделана на фабрике, она сделала всей страной. Потому, товарищи, и сумели сделать средние люди такую гениальную картину, что она сделана всей страной, она заражена воздухом нашей страны, она основана на том уровне искусства, к которому мы пришли, на том понимании, на тех чувствах героизма, доброты, мужества и революционности, которые живут в нашей стране.

Что все это значит, товарищи? Это значит, что дело умершего Чапаева было продолжено всей нашей страной. Восемь лет она читала «Чапаева», и что произошло после этих восьми лет? Наша страна созданием этого фильма ответила Чапаеву, как она поняла его, как она почувствовала. Вы знаете, товарищи, впечатление, произведенное этой картиной. Я считаю, что каждый человек, в котором бьется советское сердце, честное и неподкупное, каждый человек, который страстно, напряженно, целомудренно, без суеты и подвоха стремится овладеть истинными вершинами искусства и науки, каждый наш рабфаковец, комсомолец, студент и красноармеец, которые к литературе, к искусству, к науке относятся с такой же строгостью и страстью, с какой относился Фурманов, является прямым продолжателем его дела. Для меня создание «Чапаева» страной является показателем, как лучшие наши люди продолжают его дело. Товарищи, конечно, очень счастлив и велик писатель, чье дело продолжают миллионы и десятки миллионов людей первой рабочей страны мира. Несомненно, что это дело велико и непобедимо, и поэтому счастлив и велик Фурманов, который начал это дело.

БАГРИЦКИЙ

Усилие, направленное на создание прекрасных вещей, усилие постоянное, страстное, все разгорающееся — вот жизнь Багрицкого. Она была — подъем непрерывный. Среди первых его стихов попадались слабые, с годами он писал все строже. Воодушевление его поэзии возрастало. Страсть, в ней заключенная, усиливалась, потому что усиливалась работа Багрицкого над мыслью и чувством. Работу эту он исполнял честно, с упрямством и веселостью.

Писание Багрицкого — не физиологическая способность, а увеличенные против нормы сердце и мозги, увеличенные против того, что мы считаем нормой и что будет беднейшим прожиточным минимумом сердца в будущем.

Я помню его юношей в Одессе.

Он опрокидывал на собеседника громады стихов — своих и чужих. Он ел не по-нашему, одежду его составляли шаровары и кофта, повадка у него была шумная, но с остановками.

В те годы, когда стандарт указывался обстоятельствами, Багрицкий был похож на самого себя и ни на кого больше.

Слава Франсуа Виллона из Одессы внушала к нему любовь, она не внушала доверия. И вот — охотничьи его рассказы стали пророчеством, ребячливость — мудростью, потому что он был мудрый человек, соединивший в себе комсомольца с Бен-Акибой.

Ему ничего не пришлось ломать в себе, чтобы стать поэтом чекистов, рыбоводов, комсомольцев. Говорят, он

испытал кризисы, подобно другим литераторам. Я не заметил этого.

Любовь к справедливости, к изобилью и веселью, любовь к звучным, умным словам — вот была его философия. Она оказалась поэзией революции.

Как хорошая стройка, — он всегда был в поэтических лесах. Они менялись на нем, и эту работу вечного обновления он делал мужественно, неподкупно, открыто.

От него — умирающего — шел ток жизни. Сердца людей, впавших в тревогу, тянулись к нему. Жизнью своей он говорил нам, что поэзия есть дело насущное, необходимое, ежедневное.

По пути к тому, чтобы стать членом коммунистического общества, Багрицкий прошел дальше многих других...

Я вспоминаю последний наш разговор. Пора бросить чужие города, согласились мы с ним, пора вернуться домой, в Одессу, снять домик на Ближних Мельницах, сочинять там истории, стариться... Мы видели себя стариками, лукавыми, жирными стариками, греющимися на одесском солнце, у моря — на бульваре, и провожающими женщин долгим взглядом...

Желания наши не осуществились. Багрицкий умер тридцати восьми лет, не сделав и малой части того, что мог.

В государстве нашем основан ВИЭМ — Институт экспериментальной медицины. Пусть добьется он того, чтобы бессмысленные эти преступления природы не повторялись больше.

М. ГОРЬКИЙ

В 1898 году в издательстве Дороватовского и Чарушникова появилась книга рассказов автора со странным именем — Максим Горький. Все было ново и сильно в этой книге: герои ее, вышибленные из жизни, но недвусмысленно ей угрожающие; изобразительные средства, полные движения, силы, красок. Во всей литературе дворян и разночинцев не найдем мы столько описаний солнца, сверкающего моря, лета и зноя — сколько в первых рассказах Горького. Они принесли ему славу, молниеносно распространившуюся на оба континента, славу, редко выпадавшую на долю человека. Радикальная Россия, пролетариат всего мира нашли своего писателя. Скрывшийся за псевдонимом — он оказался нижегородским цеховым малярного цеха Алексеем Пешковым. С первого же появления своего в литературе бывший булочник, грузчик стал в ряды разрушителей старого мира. Книги его, с такой небывалой, почти физической силой толкавшие на борьбу за социальную справедливость, зажегшие в миллионах эксплуатируемых людей действенную жажду красоты и полноты жизни — сделали Горького массовым, любимым, истинно народным писателем. Ни один литератор нашей эпохи не нанес обществу угнетателей таких действительных ударов, как он, ни одному литератору не удалось в такой мере, как ему, стать участником и строителем нового мира. Близкий друг Ленина и Сталина Горький сорок лет с неукротимым мужеством боролся с капитализмом, самодержавием и в последние годы своей жизни — с фашизмом.

Великих сил потребовала эта борьба. Они были у Горького. Нищий, задерганный мальчишка, украдкой от хозяев читавший по ночам книги, Горький, учась всю жизнь, достиг вершины человеческого знания. Образованность его была всеобъемлюща. Она опиралась на память, являвшуюся у Горького одной из самых удивительных способностей, когда-либо виденных у человека. В мозгу его и сердце — всегда творчески возбужденных — впечатались книги, прочитанные за шестьдесят лет, люди, встреченные им, — встретил он их неисчислимо много, — слова, коснувшиеся его слуха, и звук этих слов, и блеск улыбок, и цвет неба... Все это он взял с жадностью и вернул в живых, как сама жизнь, образах искусства, вернул полностью. Четыре десятилетия грызла его неизлечимая болезнь, ни разу не одержав победы над его духом; в последний раз он победил ее на одре смерти. Громадностью сделанного им мы обязаны тому, что он первый исполнил свою заповедь — превратить труд подневольный в непрерывную и радостную жизнь творчества. Им написано триста двадцать пять художественных произведений, среди них много романов, повестей, пьес и около тысячи публицистических статей; им основаны десятки журналов, газет, сборников, ставших возбудителями революционной и созидательной энергии русского народа. Работа его духа не знала остановок, уныния, падений. Сын рабочего класса — точный, неутомимый мастер, — он всю жизнь настойчиво передавал свой опыт другим. Все, что есть лучшего в советской литературе, открыто и взращено им. Переписка его, превосходящая по объему и непосредственным результатам

эпистолярное наследие Вольтера и Толстого, по существу, является удесятеренным собранием его сочинений. Письма Горького, проникшие в самые глухие и скудные углы, обращенные вначале к отдельным лицам и группам, станут скоро достоянием человечества и зеркалом одной из самых плодотворных жизней на земле.

Перед нами образ великого человека социалистической эпохи. Он не может не стать для нас примером — настолько мощно соединены в нем опьянение жизнью и украшающая ее работа.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ФРАНЦИЮ

«Город-светоч»

С детства слышал я о великом городе. Французы называют его «город-светоч» (ville-lumière), на Западе он — всеми признанная столица мира...

И вот наш поезд въехал на Северный вокзал Парижа. Вышли мы на перрон и испытали что-то вроде разочарования: грязновато, шумновато, видимого порядка нет...

Где висят таблицы «Не ходить», — ходят; где написано «Не курить», — курят. Кто-то поет, кто-то хохочет. Шумно целуется группа молодежи, свист и песни...

Вышли мы с вокзала. Трехэтажные и четырехэтажные, закопченные, сумрачные дома, порядочно мусора на тротуарах. День нашего приезда был удушливо-жаркий. Над

раскаленными камнями города висело желтое солнце. На тротуарах, в кафе, без пиджаков, в одних жилетах, сидят, шумно и непринужденно ведут себя толстоватые люди, напомнившие мне моих земляков — одесситов, — такой же невидный, быстрый, уверенный в себе народ.

Итак, мы встретили не то, что ждали: никакой торжественности, натянутости и парадной пышности; ни особого блеска, ни громадных зданий. Старинный, плохо расположенный город; рядом с просторными блестящими бульварами — узкие улички, тупики, беспорядочное и громовое движение.

Но вот мы пожили в Париже некоторое время, присмотрелись к чему-то неясному еще для вас самих, но важному, и новое чувство медленно, непреодолимо начинает проникать в вас, и все более становятся вам понятны художники разных стран, приехавшие в Париж на неделю или на месяц и оставшиеся на всю жизнь в этом городе, созданном, как произведение искусства.

Городу — тысяча лет. В нем живут люди всех наций, и уклад жизни всех наций — мир в миниатюре. Он обладает разнообразием, невозможным в другом месте. Нет языка, которого вы не услышали бы в Париже, нет человеческого чувства, которое не было бы выражено на одном из бесчисленных и чужих языков. Нет вина, которое нельзя было там выпить. И недаром один француз со страстью убеждал меня в том, что лучший украинский борщ изготовляется не в Полтаве, а в Париже, на одной из уличек, прилегающих к Елисейским полям. Елисейские поля — так странно для нашего

уха называется улица, которую французы считают самой прекрасной улицей мира. Она тянется от площади Согласия до древнего и вечно юного Булонского леса, прерываемая в победоносном просторном своем беге хрустальными фонтанами, зелеными скверами, уложенная мраморными плитами, на которых сияет и переливается вода во время дождя.

Так постепенно отделываетесь вы от первого впечатления, для того чтобы дать место другим. На бульварах мало детей... зато множество стариков и старушек, вяжущих, читающих газеты, наблюдающих за детьми. Эти люди могут долго говорить о кушаньях, о том, какая в прошлый четверг была погода, — и, должен сознаться, они в конце концов отучили меня от пренебрежительного отношения к тому, что мы называем «разговорами о погоде». Я понял, что для горожанина — это хоть слабое, но все же приближение к природе.

На улицах мы видели народ, насмешливый и беспокойный. Стоит появиться уличному певцу, как вокруг него собираются люди, расхватывают листки с песнями, которые он исполняет, и тут же подпевают ему. Стоит кондукторше в трамвае сделать кому-нибудь замечание, как поднимается веселый скандал на полчаса. Все это может создать впечатление существования поверхностного. Вначале думаешь: неужели легкий и неуважительный этот народ создал искусство, недосягаемое по красоте, простоте и легкости изложения? Неужели народ этот дал Бальзака и Гюго, Вольтера, Робеспьера?.. Нужен срок, чтобы почувствовать, в чем прелесть и тайна этого города, его народа, его прекрасной

страны, разделанной с тщательностью, любовью и вкусом. В Париже есть книжные издательства, насчитывающие столетия существования, и часто в книжной лавке сидит праправнук по прямой линии того человека, который основал эту лавку лет триста назад, то есть в то время, когда у нас на окраины Москвы заходили волки и медведи. Накопление богатств, знаний, технического уменья началось на столетия раньше, чем у нас. Культура Франции не в показном блеске: нужны внимание и серьезность, чтобы проникнуть в ее глубину.

Если говорить о том, что называется национальным характером, то французы в массе своей — народ философичный, народ ясной, точной, изящной мысли, скрывающий часто под шуткой глубокое содержание. Народ, несмотря на свою репутацию, замкнутый, не раскрывающий по пустякам своего сердца. Беда в том, однако, что власть капиталистов, политическое устройство капиталистического государства искажают прекрасное лицо этой страны, поражают ее жизненные центры.

Школа во Франции

По нашим, советским представлениям, она поставлена плохо. В этом деле Франция — одна из отсталых стран Европы, со старым, схоластическим обучением, с зубрежкой как основой преподавания.

Дети проводят в школе часов по десять в день. Учиться начинают с шести лет. Задают много и требуют много. Физ-

культура только начинает прививаться. Французский школьник — существо хилое и озабоченное. Наши ребята выгодно от них отличаются силой, простым и здоровым весельем. Старинные колледжи французских детей походят на казематы, на крепости, — это угрюмые, казенные здания. Здания эти, самый распорядок школьной жизни подавляют воображение и запугивают его. Зубрежка латыни и греческого начинается чуть ли не со второго класса. К концу обучения французские школьники знают древние языки и классических авторов, но это дается непосильным напряжением физических сил. И сами французы признают, что больше половины того, что проходится в школах, настолько неприменимо к жизни, настолько ложно и схоластично, что они сожалеют о потерянном времени и потраченных силах.

Лучше поставлено преподавание в школах, принадлежащих ордену иезуитов — одному из самых способных, настойчивых и образованных отрядов католической церкви. Яд религиозного воспитания вводится в сознание ребенка так тонко и незаметно, методами столь гибкими и совершенными, что опасность эту нельзя недооценить. У иезуитов — лучшие преподаватели, богатое оборудование, горячие завтраки, умелое внешкольное воспитание, внешнее благообразие и мягкость. Многие трудовые люди попадаются на эту удочку и обрабатываются в духе, выгодном иезуитам.

Другой дух веет в высшей школе. И хотя Сорбонна — комплекс парижских университетов — здание серое, тяжелое, холодное, но в нем кипит веселая, разноязычная, бурная толпа.

Любой человек может прийти в Сорбонну, записаться на любой курс, заплатить за этот курс несколько десятков франков и прослушать его. Скажем, вы изучили археологию или географию. Можете прийти к знаменитому профессору и сказать:

— Профессор, я желаю у вас экзаменоваться по географии за весь курс.

Он обязан вас проэкзаменовать и выдать вам аттестат. Для этого вы не должны даже быть записаны на лекции.

Не знаю, хорошая ли это система, — во всяком случае, она небюрократична.

Города и деревни

Я ехал по удивительному французскому шоссе, в руках у меня была карта; счет оставленных позади километров неопровержимо говорил за то, что я должен въехать в деревню.

Но вместо нее по обе стороны дороги выстроились глухие, безглазые стены, без окон и дверей. Я проехал это угрюмое собрание складов, или цейхгаузов, и спросил у первого попавшего мне прохожего, где же деревня.

Он ответил: «Вы проехали ее». Стены, показавшиеся мне цейхгаузами, или сараями, на самом деле оказались складами человеческих сердец и стремлений, а не только плугов и зерна.

Французские богатые фермеры (кулаки — в переводе на язык честных людей) строят свои дома окнами и дворами внутрь, сооружают замкнутые в себе крепости, только раз-

мерами и обыденностью отличающиеся от средневековых феодальных замков. «Человек человеку — волк» — вот что невидимыми буквами написано на этих стенах. Один двор враждебен другому. Одно хозяйство противопоставлено другому. Душа отдыхает, когда это сумрачное видение сменяется панорамой городка — они встречаются часто, — спрятанного в зелени, обведенного цветами, покойного, готического и романтичного. Многое во Франции устарело, но многое выстроено вновь: земля украшена и расчищена руками работавших на ней многих поколений. Труду помог благословенный климат юга.

Незабываемы для меня дни, проведенные в Марселе, на берегу Средиземного моря, «под небом, вечно голубым», под щедрым, сверкающим солнцем. Свежий морской ветер колышет ветви пальм, олив, лимонных и апельсиновых деревьев. Веселые южные улицы берут начало у моря. И в этом же Марселе есть старая часть города, где нет доступа солнцу. Там узкие улицы, средневековые шести- и восьмиэтажные дома. Солнце не проникает в теснины средневековых громад, близко поставленных друг к другу, в извилистые и сырые коридоры улиц, где не разъедутся две повозки, в одуряющее зловоние отверженных кварталов. Наверху между домами висит белье; внизу, на очагах, на угольных плитках, на улице и в коридорах, готовят еду, распространяющую едкие, пряные запахи. Здесь живут мавры, арабы, негры — беднота, подавленная рабочая сила марсельского порта. Всего только в пятистах метрах сверкает изумрудное море, вода отражает белые стремительные корпуса яхт, вверх

подымаются кварталы вилл и дворцов, улицы простреливают сильные, неудержимые тела дорогих автомобилей... Товарищи, это называется капитализмом...

Правосудие и парламент

Камера уголовного суда. Сидит судья, а вокруг него такой визг, шум, такая суета, что никак вы не можете разобрать, где подсудимый, где защитник, где стороны.

Приговор объявляется мимоходом, как будто между делом.

— Два года. Три года. Шесть месяцев. Уходи, подсудимый...

Сначала вся эта ярмарка забавляет, но потом, когда оказывается, что по этим приговорам, брошенным вскользь, мимоходом, в грохоте базарной суеты, надо прожить годы в тюрьме с каторжным режимом, настроение ваше меняется. Судебное следствие ввиду многочисленности дел проходит с быстротой пулеметной очереди. Ведет его председатель, для которого обильно расточаемые остроты являются признаком хорошего тона. Допрос приблизительно выглядит так: председатель обращается к подсудимому:

— Здравствуйте, мой друг. Ну вот мы наконец и познакомились. Попали вы ко мне, конечно, по недоразумению, ни в чем вы, конечно, не виноваты?.. Но все же, может быть, вы нам расскажете, как проделывали вы все эти гадости?..

Вторая по важности фигура во французском суде — адвокат. Как бы незначительно ни было дело, адвокат считает

своим долгом многословие, пафос, широкие жесты, изыскания во тьме времен. Его слушают, как актера в театре. И судят о нем, как об актере. Впрочем, председателю это представление не мешает заниматься своим делом, переговариваться с сотрудниками, писать. Это не мешает ему по окончании речи качнуться направо и налево к двум другим судьям, древним старцам, мало чем отличающимся от египетских мумий, и небрежно произнести:

— Три года. Идите, мой друг. Уберите его, жандармы.

Немногим больше порядка во французском парламенте.

Красивый, полукруглый зал, обыкновенно на три четверти пустой. Депутаты, не слушая оратора, громко разговаривают друг с другом, пишут письма, читают. Оратор говорит не для них, а для стенограммы. Оживление бывает во время речи знаменитого оратора или по скандальному какому-нибудь поводу, в чем недостатка никогда нет.

Народный фронт

Последние выборы усилили роль и значение коммунистической фракции в парламенте. Коммунисты во Франции были творцами народного фронта против фашизма. Они объединили для совместного действия в единый народный фронт партии коммунистов, социалистов и радикалов.

Сейчас во Франции правительство, опирающееся на народный фронт. В правительство входят социалисты и радикалы. Коммунисты поддерживают его во имя борьбы с отвратительной угрозой, нависшей над миром, — во имя

борьбы с фашизмом. Коммунисты стоят во главе народной борьбы за мир, за счастливую, свободную Францию.

Никогда не забуду я 14 июля 1935 года, день взятия Бастилии, проведенный мною в Париже. На площади Бастилии была тюрьма, которую восставший народ разрушил 14 июля 1789 года и начал этим революцию, свергнувшую короля, опрокинувшую феодальный порядок и открывшую новую эпоху в истории человечества. Этот день празднуется: народ Парижа выходит на улицу, пляшет день и ночь, веселится, как мудрец и как ребенок. И вот старая площадь, видевшая многое, 14 июля 1935 года увидела миллионы пролетариев, давших клятву единства и борьбы.

Впереди демонстрации шли вожди народного фронта. Тротуары, окна, карнизы были заполнены стотысячной толпой. Французская толпа — веселая толпа. Она смеется, балагурит, трещат хлопушки, фальшиво, но весело гремят песни. Вот показались вожди народного фронта, за ними шли центральные комитеты трех партий и затем, отдельно, деятели народного фронта: писатели, ученые, художники.

По тому, какими аплодисментами, какими криками встречали вождей этих трех партий, мы увидели, на чьей стороне любовь народа. Самые горячие приветствия, самые шумные аплодисменты трудовой народ Парижа посылал ЦК коммунистической партии.

Это была рабочая демонстрация, шествие людей с мозолистыми руками, во фригийских колпаках. В это время другая демонстрация, другие люди, с другими целями, шли по

Елисейским полям. Мы с товарищами взяли такси и поехали с площади Бастилии на Елисейские поля. Все, что лежало между ними, казалось, вымерло... На бульварах, на площадях и набережных не было детей, стариков и старушек, только в скверах стояли отряды солдат и ружья в козлах.

Другой мир и другую душу увидели мы на Елисейских полях. Здесь, как и на площади Бастилии, были французы. Но на площади Бастилии кричали: «Да здравствует Советская Россия!», а с Елисейских полей несся исступленный крик: «На виселицу Советы!», «Долой Советскую Россию!» На площади Бастилии шла веселая трудовая толпа, а здесь, по Елисейским полям, шли фашисты в черных рубахах, в черных шапочках, и по-солдатски отбивали шаг.

Власть денег

Рабочие поддерживают правительство, которое сейчас во Франции, потому что оно борется за мир, против фашизма, укрепляет отношения с Советским Союзом. Но все же Франция — буржуазная страна, и главная власть в ней — власть денег. Правительство не может отменить эту власть: оно только пытается ограничить безраздельную власть над страной крупных банкиров и денежных тузов.

Этого требуют не только рабочие и фермеры, но и большая часть интеллигенции и часть мелкой буржуазии, которых душат банкиры и фабриканты.

В правлении французского банка, в главной денежной организации страны, был совет двенадцати директоров. Эти

двенадцать человек и были основными финансовыми хозяевами Франции.

Правительство распустило совет двенадцати, назначило нового управляющего государственным банком и выбило этим из рук банкиров и спекулянтов могучее орудие.

Все мы читали откровенные и удивительные истории о подкупе прессы в буржуазных странах. Но только приехав туда, на месте, столкнулись мы с этим ежедневным злодеянием и только удивились тому, как просто это делается.

Где-нибудь в Марокко или Алжире нашел кто-то залежи свинца или цинка. Нашли их ровно два с половиной пуда, то есть никакого промышленного значения эти «залежи» не имеют. Но спекулянты такого случая не пропустят. Сейчас же образуется акционерное торговое предприятие с капиталом, скажем, в миллион франков с целью эксплуатировать новые рудники. Для того чтобы собрать этот миллион франков, выпускается сто тысяч бумажек — акций, которые надо продать. А дело-то все дутое, никакого цинка нет и в помине, акции продать трудно. Тогда зовут журналиста и говорят:

— Вот тебе десять тысяч франков, напиши, что ты там был и все видел...

И через три дня в газете появляется статья:

«Богатейшие залежи свинца, цинка, меди... Чудная природа. Кто хочет разбогатеть, должен купить эти акции».

Одна статья, вторая, третья — и все от собственного корреспондента, снимки, фотографии. Купившему облигации на 100 франков обещают, что он заработает на них

200 франков в будущем году. И публика несет последние гроши...

Все это произошло благодаря широкой и лживой рекламе. В стране есть такие люди, которые называются рантье. Часто это старик со старухой, которые, скопив небольшой капиталец, сидят на солнышке, делать ничего не делают, не работают, а все думают, как бы, не работая, нажиться. Одна газета советует: вкладывайте деньги в цинковые залежи. Другая кричит: в медные рудники!.. Наконец они выбрали... Они верят, что за свои десять тысяч франков в будущем году получат 20 тысяч. А в действительности не только этих 20 тысяч, но даже своих десяти они уже больше никогда не увидят. Мы говорим о старике со старухой; не в них одних, конечно, дело. Находится довольно людей, воспитанных так, что мысль о том, чтобы нажиться за счет других, не только не кажется им преступной, а является заветной и любимейшей их мечтой.

Так во всем.

Везде ложь, покупаемая и продаваемая. В театре так же, как и везде. Есть у меня деньги, — значит, могу я приехать в Париж, объявить, что приехал знаменитый певец, позвать к себе журналистов. Они напишут пятьдесят статей о том, какой у меня голос, как я пою, что в Москве меня на руках носили, и публика, конечно, придет. Несомненно здесь одно: чем хуже у меня голос, тем больше денег должен я заплатить за рекламу.

И гниль эта разъедает страну, изумительную по разнообразию и богатству, страну великих ученых, поэтов и живописцев.

«Красный пояс»

Париж опоясан небольшими городками. Они считаются его предместьями. В них расположены большинство фабрик и заводов столицы, крупнейшие ее предприятия и учреждения. Голоса этой трудовой массы отданы коммунистам. В большинстве окрестных городков коммунистические муниципалитеты (самоуправления). Пояс, стянувшийся вокруг Парижа, — «красный пояс».

Однажды советская делегация (мы приехали на Конгресс защиты культуры) отправилась в Вилльжюиф, в одно из красных предместий столицы. Мэр Вилльжюифа — Вайян Кутюрье — член ЦК Французской коммунистической партии, писатель и журналист, редактор газеты «Юманите».

Переход от города — сложного, противоречивого и страшного аппарата буржуазного государства — в Вилльжюиф — ячейку грядущего — был разителен.

Географически границы, где кончается Париж и начинаются пригороды, нет: нескончаемый город тянется на десятки километров, только кварталы становятся беднее по мере удаления от центра и все чаще попадаются рабочие блузы, пока они не становятся преобладающим родом одежды.

Мы приехали в Вилльжюиф и отправились в мэрию. В канцелярии все говорят друг другу «товарищ», и везде стоит такое содружество, простота и искренность, что мы сразу почувствовали себя на родине и поняли сердцем, а не только умом, что родина коммунистической идеи велика и безгранична, как мир.

В мэрии мы просидели несколько часов на приеме у Вайяна Кутюрье. К нему, к коммунистическому мэру, ходят с самыми необыкновенными делами. Ходят рабочие, бывают и буржуа, и спекулянты, и военные.

Больше всего было безработных. Один из них пожаловался Вайяну:

— Этот верблюд — мой хозяин — уволил меня и теперь отказывается дать записку в кассу для безработных. Помоги мне, пожалуйста, Вайян.

И Вайян помогает. Тут же он пишет «верблюду»:

«Уважаемый господин… такой-то… предлагаю Вам учинить полный расчет с таким-то. В противном случае…»

Есть полная надежда, что «верблюд» «противного случая» дожидаться не будет. Рабочий берет записку и благодарит.

Через полчаса прибегает расстроенный, взбудораженный хозяин:

— Мосье Вайян, клянусь вам, в душе я тоже коммунист, но ста франков, клянусь вам, я ему не должен. Вы меня разоряете, вы неправильно насчитываете. Рабочим живется лучше, чем мне, я разорен. У меня не хватает денег на то, чтобы выплачивать проценты…

Тогда Вайян похлопывает его по плечу:

— Ничего, мой друг, терпеть осталось недолго… Когда у нас будет коммунизм, вам не придется платить проценты, а государству — пособий по безработице…

Хозяин цепенеет и уходит в задумчивости.

В Вилльжюифе коммунистическим муниципалитетом выстроена лучшая школа во Франции. Необыкновенно

привлекательная, радостная и виртуозная по архитектуре. Стенная роспись, выполненная художником Люрса, полные света и гармонии классы, цветники, залы для физкультуры и кино. Для французов, привыкших к мрачным, средневековым колледжам, коммунистическая школа была восьмым чудом света. Перед прелестью и простотой этого сооружения, новых методов преподавания в новой школе должны были сдаться даже официальные власти. Министр народного просвещения выразил желание приехать на открытие школы. Ему дали понять, что приезд его не прибавит веселья... Он понял и не явился.

«Красный пояс» окружает Париж, и недалек час, когда красные предместья — к счастью всего передового человечества — сольются с красным Парижем.

<О ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ ПИСАТЕЛЯ>

Беседа

Вопрос. Вы сейчас меньше пишете о гражданской войне?

Бабель. Надо сказать, что после довольно длительного перерыва (блуждания между тремя соснами) сейчас с писанием у меня идет легче дело. Пишу я довольно много, и это будет напечатано. Я сейчас другими глазами смотрю на гражданскую войну.

Есть другие темы. Мне очень хочется писать о селе, о коллективизации (вот что сейчас меня очень занимает), о лю-

дях во время коллективизации, о переделке сельского хозяйства. Это самое большое движение нашей революции, кроме гражданской войны. Я более или менее близкое участие принимал в коллективизации 1929–1930 годов. Я несколько лет пытаюсь это описать. Как будто теперь у меня это получается.

Вопрос. За сколько времени вы написали первый рассказ?

Бабель. Так как мы находимся на вечере журнала «Литературная учеба», я думаю, вопросы о характере работы уместны здесь. И вот что могу сказать о себе.

Вначале, когда я писал рассказы, то у меня была такая «техника»: я очень долго соображал про себя, и когда садился за стол, то почти знал рассказ наизусть. Он у меня был выношен настолько, что сразу выливался <на бумагу>. Я мог ходить три месяца и написать потом пол-листа в три-четыре часа, причем почти без всяких помарок.

Потом я в этом методе разочаровался. Мне показалось, что уже до самого написания все сделано и остается мало простора для импровизации. Когда водишь пером по бумаге, это может черт знает куда завести, завлечь. Не всегда повинуешься тому ритму и даже выражениям, которые складываются.

Теперь я делаю иначе. Когда у меня появляется желание писать что-нибудь, например, рассказ, то я пишу, как бог на душу положит, после чего откладываю на несколько месяцев, потом просматриваю и переписываю. Я могу переписывать (терпение у меня в этом отношении большое) несчетное число раз. Я считаю, что эта система (это можно посмотреть в

тех рассказах, которые будут напечатаны) дает большую легкость, плавность повествования и большую непосредственность.

Вопрос. Вызывает недоумение у читателя ваше более чем продолжительное молчание.

Бабель. У меня самого это вызывает большое недоумение, так что в этом отношении я от вас ненамного отличаюсь.

Если говорить честно, то я просто не приспособлен для этого ремесла и я бы им не занимался, если бы я себя чувствовал более приспособленным для другого ремесла. <Но> это все-таки единственное, что я могу после больших усилий делать более или менее прилично. Это первое. Во-вторых, критическое чувство у меня развито. В-третьих, мы живем в революционную и бурную эпоху, и я принадлежу к числу людей, которых слово «что» мало занимает. Чувство восхищения, ненависти, горя — все это у меня возникает мгновенно. Некоторые товарищи, почувствовавшие это, немедленно кидаются к бумаге, и если у них есть способность журналиста или способность писать оды и сатиры, то у них выходит часто очень хорошо.

По характеру меня интересует всегда «как и почему». Над этими вопросами надо много думать и много изучать и относиться к литературе с большой честностью, чтобы на это ответить в художественной форме. Я себе это так объясняю.

Кроме того, я в этих делах рецидивист, это у меня не новость.

Я начал писать юношей, потом на много лет прекратил, потом писал много лет залпом, потом прекратил, и сейчас у

меня начинается второй акт комедии или трагедии, не знаю, что выйдет.

Вообще, это биография, причем биография довольно затруднительная.

Вопрос. Назовите, пожалуйста, своих любимых писателей, классиков и современных, у кого вы учились.

Бабель. В последнее время я начинаю сосредоточиваться все больше на одном писателе — на Льве Николаевиче Толстом. (Я не говорю о Пушкине, который вечный спутник.) Мне кажется, что у нас начинающие литераторы мало читают и изучают Льва Николаевича Толстого, пожалуй, самого удивительного из всех писателей, когда-либо существовавших.

Должен сказать, что еще несколько лет тому назад я опять прочитал «Хаджи-Мурата» и расстроился совершенно невыразимо. Я вспоминаю, мне Горький как-то рассказал. Всем известна книга Горького «Рассказы о Толстом», но неизвестно, что Горький, кроме этого, всю жизнь писал большую книгу о Толстом, которая, как он мне сказал, ему не удавалась. Я думаю, что причина этого в том, что <первую> он писал под впечатлением, со страстью написал, а во второй книге он хотел написать трактат...

Перечитывая «Хаджи-Мурата», я думал, вот где надо учиться. Там ток шел от земли, прямо через руки, прямо к бумаге, без всякого средостения, совершенно беспощадно срывая всякие покровы чувством правды, причем когда эта правда появлялась, то она облекалась в прозрачные и прекрасные одежды.

Когда читаешь Толстого, то это пишет мир, многообразие мира. Действительно, говорят, есть трюки, приемы. Если вы возьмете любую главу Толстого, там горы всего, есть философия там, смерть. Причем, казалось бы, что для того, чтобы так написать, нужно трюкачество, необыкновенное техническое умение. А там это поглощается чувством мироздания, которое им водило.

Литературный критик я не только плохой, но ужасающий. Я должен извиниться за то, что я здесь наболтал. Но я отвечаю вот, кого из классиков я люблю и у кого надо учиться.

Что касается современных <писателей>, то я думаю, что мы приближаемся ко времени «гамбургского счета», как писал когда-то Шкловский. Я лично не верю в то, что писатель есть человек с какой-то физической способностью к писанию, что в мозгу <у него> есть мозоль, которая толкает его перо, и что у писателя мозги и сердце увеличены против стандарта. Мне кажется, что мы подходим к той поре, когда сочинения схоластические, надуманные, не пронизанные страстью и искренностью, отживают свой век и не будут засорять нашу литературу.

А персонально если назвать, то я считаю, что на хорошем, правильном пути находится Шолохов. Это человек, в писаниях которого есть добротность ткани. Когда читаешь его, то видишь то, что читаешь, и написано это горячо. Дело вот в чем. Подстилка, подкладка его сочинений не так значительна, как подкладка сочинений Толстого, потому что когда у Толстого барин выходит и скажет: «Извозчик, двугривенный, на Тверскую», то все это носит характер мирового события, которое укладывается в мировую гармонию.

У Шолохова о такой значительности деталей не может быть и речи, но я считаю, что это человек с большой внутренней начинкой, который находится на правильном пути.

Высоко я очень ставлю Валентина Катаева, который, считаю, будет писать все лучше и лучше, который проделал очень правильную эволюцию, который, делаясь старше, делается серьезнее и книгу которого «Белеет парус одинокий» я считаю необыкновенно полезной для советской литературы. Книга Катаева сделала очень много для того, чтобы вернуть советскую литературу к великим традициям литературы: к скульптурности и простоте, к изобразительному искусству, которое у нас почти потеряно. У нас почти не умеют показать вещь, а о ней очень многословно рассказывают, причем техника ужасающая. Я лично считаю, что Валентин Катаев на большом и долгом подъеме и будет писать все лучше и лучше. Это одна из больших надежд.

Вопрос. Из ваших предыдущих высказываний можно было заключить, что вы являетесь горячим приверженцем широких масштабов, добротности, реализма, ориентируетесь на Толстого, Шолохова. Как это увязать с тем, что встречается в ваших произведениях? Из них можно вывести заключение, что вас в жизни больше интересуют исключения из правил, исключения, а не типическое. Между тем реализм является краеугольным камнем вашего художественного мировоззрения.

Бабель. В письме Гете к Эккерману я прочитал определение новеллы — небольшого рассказа, того жанра, в котором я себя чувствую более удобно, чем в другом. Его определение

новеллы очень просто: это есть рассказ о необыкновенном происшествии. Может быть, это неверно, я не знаю. Гете так думал.

Я думаю, что для того, чтобы писать типическое таким потоком, как писал Лев Толстой, ни сил, ни данных, ни интереса у меня нет. Мне интересно его читать, но мне неинтересно писать по его методу.

Вы говорите о молчании. Должен вам открыть тайну. Несколько лет у меня ушло на то, чтобы, соответственно своим вкусам, писать длинно, подробно, философично, чтобы выходила та самая правда, о которой я говорил. У меня это не получилось. И поэтому, оставаясь поклонником Толстого, я, для того чтобы что-нибудь получилось, иду в своей работе противоположным путем.

Я понял очень хорошо ваш вопрос, но, кажется, очень невразумительно на него ответил. Дело вот в чем, в том, что у Льва Николаевича Толстого хватало темперамента на то, чтобы описать все двадцать четыре часа в сутках, причем он помнил все, что с ним произошло, а у меня, очевидно, хватает темперамента только на то, чтобы описать самые интересные пять минут, которые я испытал. Отсюда и появился этот жанр новеллы. Так нужно думать.

Вопрос. Значит, силы у Толстого было на 23 часа 55 минут больше?

Бабель. Видите ли, самоуничижение совершенно не в моем характере, и если бы я хотел себе отравить жизнь и думать о том, кто пишет лучше — Лев Николаевич Толстой или я, то даже придя к убеждению, что он пишет лучше,

я бы, кроме ненависти и злобы, иного чувства к нему не испытал бы.

Но поскольку дело происходит в редакции «Литучебы» и можно говорить о некоторых секретах, то я сказал, почему у меня более или менее получаются короткие вещи и не получаются длинные вещи, причем для того, чтобы снять с себя всякий упрек в самоуничижении, я могу сказать, что множество моих товарищей, хотя располагают не большим количеством интересных фактов и наблюдений, чем я, между прочим, пишут об этом «толстовским способом». Что из этого получается — всем пострадавшим известно.

Вопрос. В ваших очень хорошо написанных рассказах есть некоторые фразы, которые мне кажутся смелыми. В первом вашем рассказе у вас написано «добрые ноги». Я не понимаю, как можно писать о ногах — добрые или злые. Во втором рассказе есть фраза: «Он замотал головой, как вспугнутая птичка». Если она вспугнута, то она улетит.

Бабель. Что касается первого рассказа, то вас это покоробило потому, что я не убедителен, но человеческие ноги могут быть добрые, злые, зрячие, слепые. Несомненно, всеми этими свойствами характера человека ноги обладают, надо только уметь это описать. Первый рассказ несколько обрывается, это не доказано. В этом отношении вы правы.

Что касается второй фразы, то, мне кажется, это можно, я так чувствую. А что касается смелости, то это, как известно, добродетель, но только, конечно, если человек кидается в бой с подходящим оружием. В этом отношении, конечно, смелость хороша.

Мне кажется, что о технике рассказа хорошо бы поговорить, потому что этот жанр у нас не очень в чести. Надо сказать, что и раньше этот жанр у нас никогда в особенном расцвете не был, здесь французы шли впереди нас. Собственно, настоящий новеллист у нас — Чехов. У Горького большинство рассказов — это сокращенные романы. У Толстого — тоже сокращенные романы, кроме «После бала». Это настоящий рассказ. Вообще у нас рассказы пишут плоховато, больше тянутся на романы.

Вопрос. Ваше мнение о Паустовском?

Бабель. Глубоко положительное. Если бы я продолжил разговор о Катаеве и Шолохове, то он должен был бы включить и Паустовского с его интересной литературной биографией. Я его знаю давно, мы земляки, я читал его первые опыты. Это очень хорошая иллюстрация к тому, что я вам говорил, когда говорил о первом рассказе. Эти первые опыты были столь многоречивы, столь запутанны, столь неискусно написаны, причем это писал взрослый человек. Ему было не 18–20 лет, а 25–26–27 лет, причем это была такая перегрузка прилагательными, метафорами, это было такое богатство, в котором читатель буквально тонул, причем от пряности этой атмосферы, которую он описывал, было трудно дышать. Это была в беспорядочно построенной теплице оранжерея с тропическими цветами. Но наряду с этим наблюдалась всегда истинная страсть. Вот Паустовский в течение пятнадцати лет занимался тем, что он отшлифовывал эту страсть, что он убирал много лишнего, и вот что получилось. Интересно именно то, что сорокалетний человек начал писать.

Вопрос. Толстой никогда этой работой не занимался.

Бабель. Это тоже неприятность для нас всех. В сущности, Толстой кончил так же, как и начал. Он сразу нашел и форму, и содержание своей мысли. Она становилась у него только нервнее с годами, причем когда ему было 75 или 80 лет, то он мысль писал физически, не литературно, так как она выражала все оттенки.

Вопрос. Вы сторонник короткой фразы. Как вы считаете, в рассказе надо разжевать идею или только намекнуть?

Бабель. Это ужасное заблуждение. Я не сторонник короткой фразы. Я сторонник чередования коротких фраз с длинными, причем человеческая мысль нуждается в знаках препинания. Это все.

Теперь что касается того, нужно ли разжевать идею или только намекнуть. Товарищ, нужно ее точно выразить. Хотелось бы, чтобы идеи передавались совершенно нетронутыми и нежеваными.

Вопрос. Считаете ли вы, что Юрий Олеша уже выдохся или он будет еще писать? Ваше мнение о нем?

Бабель. Вы задаете вопросы, довольно близко ко мне относящиеся, причем о людях, мне чрезвычайно близких. Это все земляки, это так называемая одесская, южнорусская школа, которую я очень ценю. Мое мнение о Юрии Олеше очень высокое. Я его считаю одним из самых талантливых и оригинальных советских писателей. Будет ли он еще писать? Он ничего, кроме этого, не может делать. Если он будет жить, то он будет писать. Думаю, что он может писать великолепно. Я думаю, что воображаемые препятствия

мешают его производительности. Талант эту черту взрывает. Это большой писатель — Олеша.

Вопрос. Не увлекается ли он публицистикой, может быть, это мешает ему работать?

Бабель. Юрий Карлович Олеша — декламатор по своему существу. Он может декламировать на отвлеченные темы и на темы дня. Я не вижу никакого водораздела между его так называемыми статьями и другими работами. Последние написаны второпях, несколько быстро, они менее значительны, но всегда в них есть некоторое оригинальное звучание.

Вопрос. Как работать над новеллой?

Бабель. Как работать над коротким рассказом? Я совершенно не верю ни в рецепты, ни в учебники, и, между прочим, стыдно признаться, может быть, это реакционное чувство, но я Литвуза очень побаиваюсь. Я понимаю, что там работают над повышением культуры и квалификации человека, это необходимо; если там преподают французский, английский языки — это очень хорошо, но как научить писать — этого я не понимаю. Здесь можно говорить только о собственном опыте.

Я стараюсь выбрать себе читателей, причем я тут стараюсь не задавать себе легкой задачи. Я себе задаю читателя, чтобы он был умный, образованный, со здоровым и строгим вкусом. Вообще считаю, что хорошо рассказ читать только очень умной женщине, потому что эта самая половина рода человеческого в хороших своих экземплярах обладает иногда абсолютным вкусом, как некоторые люди обладают абсолютным слухом. Здесь самое главное — представить себе чи-

тателя и представить построже. Со мною так. Читатель живет в душе моей, но так как он живет довольно долго, то я его смастерил по образу и подобию своему. Может быть, этот читатель слился со мной.

После написания рассказа никогда в воспламененном состоянии его никому не читайте, не бегите поделиться великой новостью: разродился. Это не очень легкая штука. Потребуется довольно много усилий, чтобы заставить себя не читать, не бежать в соседнюю комнату, а чтобы дать ему <рассказу> отлежаться и читать его со свежим чувством. Причем, если я выбрал себе читателя, то тут я думаю о том, как мне обмануть, оглушить этого умного читателя. Я его уважаю. Это ужасная вещь — старинная актерская мудрость — «публика дура». Надо взять себе серьезного критика и стараться его оглушить до бесчувствия. Такое самолюбие у человека должно быть. А как только это чувство пробуждается, вы перестаете делать гримасы.

Мое отношение к прилагательным — это история моей жизни. Если бы я написал свою биографию, то назвал бы ее «История одного прилагательного». В молодости я думал, что пышность выражается пышностью. Оказывается, нет. Оказывается, что надо очень часто идти от обратного. Причем всю жизнь — «что писать» я почти всегда знал, но так как я не мог это написать на двенадцати страницах, так как я сам себя сковал, то я должен выбирать слова значительные — во-первых, простые — во-вторых, красивые — в-третьих.

Вопрос. Почему вы не поклонник тех вещей, которые написали?

Бабель. Я считаю, что те вещи, которые написаны, могли быть лучше, проще. Но я принадлежу к числу тех молодых людей, которые даже прыщи в молодости принимают как закон. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я ослеплен гордостью, но мне кажется, что я вижу теперь мысль и способ выразить ее лучше, чем я делал это тогда, когда писал эти вещи. Единственное, что меня не огорчает, это то, что мне не приходится брать свои слова обратно.

<УТЕСОВ>

Утесов столько же актер, сколько пропагандист. Пропагандирует он неутомимую и простодушную любовь к жизни, веселье, доброту, лукавство человека легкой души, охваченного жаждой веселости и познания. При этом — музыкальность, певучесть, нежащие наши сердца; при этом — ритм дьявольский, непогрешимый, негритянский, магнетический; нападение на зрителя яростное, радостное, подчиненное лихорадочному, но точному ритму.

Двадцать пять лет исповедует Утесов свою оптимистическую, гуманистическую религию, пользуясь всеми средствами и видами актерского искусства, — комедией и джазом, трагедией и опереттой, песней и рассказом. Но до сих пор его лучшая, ему «присущая» форма не найдена и поиски продолжаются, поиски напряженные.

Революция открыла Утесову важность богатств, которыми он обладает, великую серьезность легкомысленного его

искусства, народность, заразительность его певучей души. Тайна утесовского успеха — успеха непосредственного, любовного, легендарного — лежит в том, что советский наш зритель находит черты народности в образе, созданном Утесовым, черты родственного ему мироощущения, выраженного зажигательно, щедро, певуче. Ток, летящий от Утесова, возвращается к нему, удесятеренный жаждой и требовательностью советского зрителя. То, что он возбудил в нас эту жажду, налагает на Утесова ответственность, размеров которой он, может быть, и сам не сознает. Мы предчувствуем высоты, которых он может достигнуть: тирания вкуса должна царить в них. Сценическое создание Утесова — великолепный этот, зараженный электричеством парень и опьяненный жизнью, всегда готовый к движению сердца и бурной борьбе со злом, — может стать образцом, народным спутником, радующим людей. Для этого содержание утесовского творчества должно подняться до высоты удивительного его дарования.

Переводы

Ги де Мопассан

ИДИЛЛИЯ

Поезд шел из Женевы в Марсель. Он шел вдоль медленных извилин скалистого берега, скользил железной змеей между морем и горами, пробирался по желтому прибрежному песку, омытому серебряной пеной прибоя, и вползал в черные пасти тоннелей, как зверь вползает в свое логово.

В последнем вагоне поезда ехали пухлая женщина и молодой парень; они молчали и изредка поглядывали друг на друга.

Женщине едва ли исполнилось более двадцати пяти лет; усевшись у окна, она рассматривала пейзаж, расстилавшийся перед нею. Это была могучая крестьянка из Пьемонта, с черными глазами, с обширной грудью и мясистыми щеками. Она разложила на скамейке свои узелки, а корзину оставила у себя на коленях.

Парню же можно было дать лет двадцать; он был худ, черен и покрыт угольным загаром людей, работающих на поле и сжигаемых солнцем. Имущество его, завернутое в платок, лежало тут же рядом с ним: пара башмаков, рубаха и

куртка со штанами. Лопату и кирку, перевязанные бечевкой, он спрятал под лавку. Парень отправлялся во Францию, он рассчитывал найти там работу.

Полуденное солнце осыпало берег огненным ливнем; май был на исходе; упоительное дуновение проникало в открытые окна вагонов. Лимонные и апельсиновые деревья цвели; подслащенные их испарения, такие густые и зажигательные, смешивались в безоблачном небе с дыханием роз, росших как трава у дороги — и в богатых садах, и в поле, и у крыльца жалкой лачуги.

Розы! Вот их жилище, берег этот — их родина! Волны плывущего могущественного запаха колышутся по всей стране, превращают воздух в лакомство, опьяняют как вино и дразнят сильнее вина.

Поезд тащился медленно; он подолгу нежил железные, горячие бока в нескончаемом этом саду. Поезд то и дело останавливался у крохотных станций, у заброшенных белых домиков; потом с протяжным свистом он уползал снова. Новых пассажиров не прибавлялось. Весь мир, казалось, охвачен дремотой, ему невмочь пошевелиться в это пылающее утро весны.

Толстуха, ехавшая в последнем вагоне, клевала носом, корзинка скатывалась с ее колен, она подхватывала ее в последнюю минуту и, широко раскрыв глаза, застывала перед окном; потом она засыпала снова. Капли пота блестели на ее лбу, женщина дышала с трудом, придавленная зноем и неведомым каким-то гнетом.

Парень, уронив голову, спал мужицким, крепким сном.

У маленького полустанка крестьянка проснулась, она вытащила из корзины хлеб, крутые яйца, фляжку вина и сливы — розовые, чудесные сливы — и принялась есть.

Парень тоже проснулся — он вскочил как от толчка и уставился на женщину; глаза его следили, не отрываясь, за каждым куском, который она отправляла в рот, и двигались вслед за этим куском. Он сидел, не шевелясь, со скрещенными руками, глаза его были выпучены, щеки впали, губы сжались. Баба ела, как едят прожорливые, кроткие, сдобные женщины, прерывая работу челюстей только затем, чтобы передохнуть; каждый кусок она сдабривала глотком вина, вино проталкивало в пищевод крутые яйца. Она истребила всю пищу без остатка — и хлеб, и яйца, и сливы, и вино. Тогда парень снова прикрыл глаза. Отяжелев, она распустила корсаж; парень опять устремил на нее неподвижный взгляд.

Крестьянка, нисколько не обеспокоенная, продолжала расстегивать платье; давление сильных грудей раздвигало материю, полоска обнаженного тела и краешек белья блеснули у впадины между грудями. Облегчив себя, крестьянка сказала по-итальянски:

— Как жарко здесь, нельзя дышать…

Парень ответил на том же языке и с таким же резким акцентом:

— В хорошую погоду приятно ездить…

Она спросила:

— Вы из Пьемонта?

— Я из Асти.

— А я из Казаля.

Они оказались соседями, у них потекла неторопливая беседа. Они разговорились о житейских, простых вещах, занимающих каждого простолюдина и дающих обильную пищу медленному, ограниченному его уму. Они поговорили о родине, там оказались у них общие знакомые. Они называли друг другу все новые имена, и эти люди, встреченные ими когда-то, сближали их все теснее. Сдавленные, торопливые слова с певучими и пронзительными итальянскими окончаниями вылетали из их ртов. Потом они рассказали каждый о себе.

Она, оказалось, замужем; трое ее детей оставлены на попечение у сестры, ей вышло место кормилицы, — хорошее место у одной французской дамы в Марселе.

А он, что касается его, то он ищет работу. Его тоже направили в Марсель, там, говорят, идет большая стройка.

Потом они замолчали.

Жара удушала их, зной разливался пламенным дождем по крышам вагонов. Туча пыли летела за поездом, осаждалась в вагонах; запах роз и апельсинов становился гуще, острее, ядовитее.

Оба пассажира уснули… Открыли они глаза почти одновременно. Солнце медленно падало в море, зажигая голубые его покровы потоками огня. Воздух посвежел, но кормилица совсем задыхалась; корсаж ее был распущен, щеки стали дряблыми, глаза опухли. Она сказала сдавленным голосом:

— Я не давала грудь со вчерашнего дня… Я совсем как пьяная, не упасть бы в обморок…

Парень молчал, — он не знал, что ответить.

Она сказала:

— Когда имеешь так много молока, то грудь надо давать три раза в день, не меньше; без этого чувствуешь себя очень худо. Тяжесть давит на сердце, не дает дышать, ломит все тело… Это несчастье для человека — иметь столько молока…

Парень сказал:

— Да, беспокойство…

А женщина казалась совсем больной, похоже было на то, что она сейчас потеряет сознание.

— Стоит только надавить, — простонала она, — и молоко брызнет как из фонтана, даже и смотреть смешно, другие не поверили бы… В Казале все соседи сбегались смотреть…

Он сказал:

— Вот это так…

— Да, право… Я показала бы вам, кабы это меня облегчило. Показом от него не избавишься — от молока…

И она замолчала.

Поезд по-прежнему останавливался на каждом полустанке. На станции, у решетки, какая-то женщина укачивала на руках плачущего младенца. Женщина эта была худа и оборванна.

Кормилица посмотрела на нее и сказала голосом, полным зависти и сожаления:

— Вот кому бы мне помочь, а младенчик, тот меня бы облегчил. И вправду, хоть я и не богата, — какое там богатство, если пришлось бросить дом и родню и малютку, — хоть я и не богата, а право не пожалела бы пяти франков за то, чтобы побыть десять минуточек с этим ре-

бенком и дать ему грудь. Маленького бы я развеселила, да и сама воскресла…

Женщина задохлась; горячей, мясистой рукой она провела по лбу, изрытому потом, и застонала:

— Ох, не могу… право, я помру…

Ничего не соображая, она рванула на себе платье, из-за которого выползла правая ее грудь, чудовищная, отвислая, с бурым соском. Кормилица заметалась:

— Как мне быть, о господи, как мне быть?!

Поезд продолжал свой путь среди цветов, сладостно задыхавшихся в нагретом шатре вечера. Вдали на голубой воде дремал рыбачий баркас с обмякшим парусом, и отражение его казалось другим баркасом, опрокинутым.

Растерявшийся парень пробормотал:

— Я… я мог бы… облегчить вас, мадам…

Она ответила чуть слышно:

— Да, если вам не обидно. Вы окажете мне услугу. А то я не выдержу, — право, я не выдержу…

Он опустился на колени перед женщиной; она склонилась к нему и привычным движением кормилицы поднесла к его рту потемневший сосок. В то мгновение, когда она взяла грудь для того, чтобы протянуть ее парню, капля молока показалась на соске. Он слизнул каплю, сжал губами тяжелую материнскую плоть и принялся с жадностью сосать. Он обхватил обеими руками талию женщины и притянул ее к себе ближе; он насыщался медленными, глубокими глотками и при этом по-особенному ворочал шеей, как ворочают сосущие дети.

Вдруг она сказала:

— С этой хватит, возьмите другую…

И он послушно взял другую грудь.

Кормилица положила обе руки на его плечи, она дышала шумно, с силой и наслаждением, впивая в себя запах цветов, влетавший вместе с порывами ветра в открытые окна вагона.

Она промолвила:

— Как славно пахнет, право…

Он ничего не ответил; он прильнул к живительным истокам и закрыл глаза, как бы для того, чтобы ощутить сильнее вкус и дыхание человеческой нашей плоти.

Но она тихонько отодвинула его:

— Хватит… Вот и полегчало… У меня душа вернулась в тело…

Он поднялся и вытер ладонью рот.

И она сказала ему, запихивая в платье живые, шевелящиеся тыквы своих грудей:

— Вы очень услужили мне. Благодарю вас, мосье…

И он ответил ей голосом, дрожащим от волнения:

— Это я должен благодарить вас, мадам… Вот уже два дня, как я ничего не ел…

ПРИЗНАНИЕ

Солнце полудня широким дождем изливается на поля. Пестрая мантия хлебов колышется на голом чреве земли — созревшая рожь, поспевающая пшеница, бледно-зеленые овсы и черная, глубокая зелень клевера.

У вершины холма на клеверном поле пасутся деревенские коровы; животные дремлют лежа или стоят на всех на четырех и скашивают в сторону большие глаза, ослепленные полуденным зноем.

К этому стаду коров бредут по узкой, вытоптанной в хлебах, тропинке две женщины — мать и дочь; они подвигаются тяжелой, мерной, качающейся походкой. Каждая из них несет на коромысле по два оцинкованных ведра; солнце белым слепящим лучом играет в ведрах.

Женщины хранят молчание, они идут доить коров. Вот они пришли, поставили на землю ведра, толкнули коров в бок деревянными башмаками. Животные становятся сначала на передние ноги, медлительно и трудно они поднимают затем широкие крупы, отягощенные розовым мясом непомерных сосцов.

Обе Маливуар — мать и дочь — умостившись под животом у коровы, быстро перебирают набухшие соски, бросающие в ведро тонкую сильную струю молока. Желтоватая пена закипает по краям ведра; женщины переходят от одной коровы к другой, и так до конца длинной цепи. Покончив с одной, они переводят ее на новое место, где еще не тронута трава. И потом бабы уходят, согбенные под молочным грузом — мать впереди, дочь сзади. Но дочка останавливается вдруг, снимает с себя ведра, садится на землю и разражается плачем. Старуха, не слыша за собой шагов, оборачивается и застывает на месте.

— Что с тобой? — спрашивает она.

А Селеста, дочка, большая, рыжая девка с волосами, сожженными на солнце, и с щеками, запятнанными веснушками —

каплями огня, густо посеянными по лицу, — дочка тихонько взвизгивает, как побитое дитя, и бормочет:

— Я не донесу моего молока…

Старуха уставилась на девку и опять спросила:

— Что с тобой?

Селеста рухнула на землю между ведрами, закрыла передником глаза и сказала:

— Оно тянет меня книзу. Я не могу больше…

Тогда мать спросила в третий раз:

— Да что с тобой такое?..

Селеста простонала:

— Сдается, что я брюхата…

И она зарыдала.

Тут наступил черед старухи выпустить из рук ведра; она совсем потерялась, не знала, что сказать, и после долгого молчания пробормотала:

— Ты… ты брюхата?.. Как же это возможно?!

Маливуары были богатые фермеры, почтенные люди, уважаемые, изворотливые, могущественные в своей округе.

Селеста сказала заикаясь:

— Мне… мне сдается, что я и вправду брюхата…

Старуха с испугом смотрела на причитающую, валявшуюся перед ней девку. Опомнившись, она заорала:

— Брюхата… Вот она и брюхата… Где это ты схватила, дрянь?

Селеста, дрожа от страха, прошептала:

— Сдается мне, что это в повозке у Полита…

Старуха силилась понять, — она старалась сообразить: кто бы это мог наделать такую беду дочке?.. Если это парень богатый, положительный, тогда дело может уладиться, тогда оно полбеды, история с животом у всякой девушки может приключиться; но вот от пересудов куда денешься, о Маливуарах, почтенных людях, всякому небось хочется посудачить…

Старуха опять закричала:

— А кто это тебе, стерва, прицепил?

И Селеста, решившая все открыть, пробормотала:

— Сдается мне, что это Полит…

Тогда старуха Маливуар, охваченная неистовым гневом, накинулась на дочку и принялась колотить ее с такой силой, что чепец слетел у той с волос. Она колотила по голове, по спине, по всему телу; Селеста, растянувшись между ведрами, только закрывала лицо руками.

Озадаченные коровы перестали щипать траву, они обернулись, воззрились на баб большими светящимися глазами, а самая последняя в ряду корова тревожно замычала и потянулась к хозяйкам мордой.

Притомившись от битья, старуха остановилась, чтобы передохнуть; она пришла в себя и захотела разузнать все точно.

— Полит! И это возможно, о боже! Как это взбрело тебе в башку — с кучером? Спятила ты, или околдовал он тебя, дурищу?..

Селеста, не вставая с земли, пробормотала:

— Я… я не платила ему за проезд…

И старая нормандка все поняла.

Каждую неделю, по средам и пятницам, Селеста отвозила в город на продажу птицу, сливки, яйца. Она выходила из дому на большую дорогу в седьмом часу утра, с двумя большими корзинами — в одной корзине были молочные продукты, в другой живность, — и там же, на большой дороге, она поджидала почтовый дилижанс из Ивето.

Товары свои она раскладывала на земле и сама усаживалась в ров; короткоклювые цыплята и носатые утки просовывали головки сквозь ивовые прутья корзины и устремляли в пространство круглые, цветистые, бессмысленные глаза.

Вскоре после этого прибывал дилижанс, тряский желтый ящик с черным козырьком, громыхавший и раскачивавшийся от вихлявой рыси белой клячи.

Кучер Полит, веселый, жирный парень, успевший, несмотря на молодость, нагулять брюшко, и до такой степени спаленный солнцем, ветрами, водкой, омытый деревенскими дождями, что шея и лицо его приняли кроваво-красный цвет кирпича, — кучер Полит, приветствуя ее, хлопал кнутом и кричал издалека:

— Доброе утро, мамзель Селеста. Здоровьичко-то как, ничего?

Девушка подавала ему одну за другой корзины, он ставил их наверх, и Селеста взбиралась затем на подножку; она высоко поднимала при этом ногу и показывала могучие икры в синих чулках. И тут Полит повторял каждый раз одну и ту же шутку:

— А икры-то, черт меня побери, никак не хотят худеть.

Селеста неизменно смеялась ему в ответ. Она находила эту шутку пристойной и очень остроумной.

После этого Полит издавал зычный возглас: — Ну-ка, шансонеточка, шевелись! — И чахлая его кляча вприпрыжку пускалась по дороге.

Селеста вытаскивала из мужицкого, бездонного своего кармана кошелек, вынимала из него десять су — шесть за себя и четыре за корзины — и протягивала их через плечо Политу. Он брал деньги и непременно при этом спрашивал:

— Ну, а потеха-то, не назначить ли ее нам на сегодня?

И оборачиваясь к ней, он заливался веселым смехом. А ей — ей, право, не легко было отдавать каждый раз полфранка за каких-нибудь три километра пути. А бывало еще, что под рукой не оказывалось мелочи и приходилось менять серебряную монету — тогда она страдала невыносимо. И вот однажды, уплачивая Политу деньги, Селеста сказала:

— С такой хорошей клиентки, как я, вам не следовало бы брать больше шести су…

Полит прыснул со смеху:

— Вам цена больше шести су, моя красавица, верное слово, больше…

Но Селеста настаивала:

— Для вас это составит всего два франка в месяц разницы…

Полит хлестнул кобылу и закричал:

— Верное слово, я малый покладистый, да я за одну только потеху прощу вам все эти деньги…

Прикидываясь простушкой, Селеста спросила его:

— Что это вы такое болтаете?

А он надрывал животики от хохота:

— Потеха — это значит потеха, черт меня побери… Потеха между девочкой и мальчиком, и валяйте, детки, музыки не надо…

Она поняла, покраснела и сказала сухо:

— Я не из таковских, мосье Полит…

Он нисколько не смутился, и, забавляясь все более, твердил без всякой устали:

— Уж мы с вами потешимся, красотка, я сойду за мальчика, вы за девочку…

И с тех пор он не упускал случая спросить ее:

— Ну, а потеха-то, — не на сегодня ли мы ее назначим?

Селеста, привыкшая к этим шуткам и находившая их очень светскими, отвечала:

— Сегодня что-то не хочется, мосье Полит, но вот в субботу — это уж наверное…

И он, покатываясь со смеху, покорно с ней соглашался:

— В субботу — так в субботу, подождем субботы, красотка…

А Селеста тем временем вычислила, что за два года она переплатила Политу не менее сорока восьми франков, а сорок восемь франков, надо вам знать, в канаве не валяются. И она рассчитала еще, что через два года сумма эта достигнет ста франков. Цифры эти легли ей на сердце, и однажды в весенний день, когда никого, кроме них, в дилижансе не было, и Полит по привычке своей все домогался:

— Ну, а потеха-то, не позабавиться ли нам сегодня? — она ответила:

— К вашим услугам, мосье Полит.

Полит не удивился. Он перекинул ногу через скамейку, перескочил в дилижанс и сказал:

— Вот и ладно… Я так и думал, что мы потешимся рано или поздно…

И старая белая кляча мирно зашагала по дороге, зашагала так тихо и осторожно, что казалось, она топчется на месте и совсем не слышит звонкого голоса, доносящегося из глубины дилижанса: — Ну-ка, шансонетка, пошевеливайся!..

Через три месяца Селеста почувствовала себя беременной.

Вот эту-то историю Селеста плаксивым, хриплым голосом поведала своей матери. Старуха, побелевшая от бешенства, спросила ее:

— Сколько же ты выгадала на этом?

Селеста ответила:

— За четыре месяца — восемь-то франков, наверное, вышло…

Мужицкая, несдержанная ярость вырвалась тогда наружу; старуха набросилась на дочку и молотила ее до тех пор, пока совсем не обессилела. Потом она спросила:

— Сказала ты ему про брюхо?..

— Не сказала, — пробормотала Селеста, — зачем бы я стала говорить…

— Почему же ты не сказала?

— Он заставил бы меня опять платить за проезд…

Мать поразмыслила, взвалила на себя ведра.

— Вставай, корова, авось дотащишься как-нибудь…

Старуха помолчала несколько мгновений, потом промолвила:

— И не смей болтать, пока он сам не увидит… Хоть бы пять месяцев оттягать у него…

И Селеста, поднявшаяся наконец с земли, плачущая, распухшая, взъерошенная, потащилась за старухой. Она ступала тяжело и все бормотала:

— Уж я-то ему не скажу, ничего не скажу…

БОЛЕЗНЬ АНДРЭ

Дом нотариуса фасадом своим выходил на площадь. За домом, отделенный стеной от пустынного переулка des Piques, тянулся сад, содержавшийся в большом порядке. В углу этого сада жена господина Моро назначила свидание, первое свидание капитану Соммервилю, давно преследовавшему ее своей любовью.

Нотариус уехал на восемь дней в Париж. В распоряжении жены была неделя свободы. Капитан молил ее о свидании в словах таких нежных, он уверял ее в своей всепожирающей любви, она чувствовала себя к тому же такой одинокой, такой непризнанной, такой заброшенной в ворохах этих контрактов, которым посвящена была вся жизнь нотариуса, что она отдала свое сердце, не задумываясь над тем, не придется ли в придачу к сердцу дать еще что-нибудь.

После месяца платонической любви, после месяца трепетных рукопожатий и поцелуев, сорванных украдкой у за-

крытой двери, капитан объявил, что он немедля оставит город и потребует перевода в другой полк, если она не согласится на свидание, настоящее свидание в тени разросшихся деревьев и в отсутствие мужа.

Она уступила, она дала обещание, — и вот теперь, трепеща, вздрагивая при каждом шорохе, она ждет его у стены.

Кто-то карабкается вверх по стене, она смалодушничала и чуть было не убежала. Что, если это не он? Что, если это вор? Но нежный голос окликнул ее: «Матильда!»… Она ответила: «Этьен»… И капитан с адским грохотом упал на дорогу.

Это был он. О, какой поцелуй! Они долго стояли, обнявшись, со склеившимися губами. Пошел мелкий дождь, их окружил шепот и дрожь воды, холодная капля поползла у женщины по затылку, она вздрогнула.

Капитан сказал:

— Матильда, моя любовь, мой ангел, пойдем к вам. Теперь полночь, нам некого бояться. Пойдем к вам, я умоляю…

Она ответила:

— Нет, мой любимый, мне страшно. Кто знает, что может с нами случиться?..

Капитан сжимал ее сильными руками и нашептывал на ухо неустанно:

— Слуги спят в третьем этаже, выходящем на площадь, а ваша комната — в первом этаже, в саду. Никто не услышит нас, и я люблю вас, я хочу любить еще сильнее, любить вас всю с головы до ног…

Терзая поцелуями, он прижимал ее к себе все сильнее. Слабея, борясь с остатками стыда, Матильда все еще противилась.

Тогда капитан схватил ее за талию, поднял и понес сквозь дождь, который усиливался с ужасной быстротой. Дверь была открыта, они поднялись по лестнице на цыпочках; вбежав в комнату, она при свете зажженной им спички заперла дверь на задвижку… Изнемогая, Матильда упала в кресло, а он стал перед нею на колени и медленно, с неотвратимой медленностью, принялся стягивать с нее башмаки и чулки для того, чтобы поцеловать ее голые ноги. Она дышала тяжело и все повторяла:

— Нет, нет, Этьен, молю вас, пусть я останусь честной, не надо, чтобы я потом сердилась на вас. Это так грубо, — то, что вы хотите, так пошло… Разве не довольно того, что души наши любят друг друга… Этьен!..

С ловкостью опытной камеристки, с поспешностью человека, которому некогда, он расстегивал ее, расшнуровывал, распускал тесемки, распутывал узлы. И когда она вознамерилась спастись от его отважных нападений, она выпрыгнула из своих платьев, юбок, белья совсем голая, обнаженная, как рука, высовывающаяся из рукава.

Потерявшись, она побежала к кровати и завернулась в одеяла. Изо всех путей отступления она выбрала, несомненно, самый опасный. Капитан последовал за нею, и так как он очень торопился, то сабля его, отстегнутая впопыхах, упала на пол и покатилась со зловещим шумом. И тотчас же из соседней комнаты донеслась протяжная жалоба, пронзительный и долгий, неутомимый плач младенца.

Жена нотариуса пролепетала:

— О, вы разбудили Андрэ, теперь он никак не заснет…

Сыну ее было пятнадцать месяцев, он спал всегда в соседней комнате, рядом с матерью.

Капитан, исполненный пыла, ничего не слушал.

— Что такое?.. — бормотал он. — Вздор… — я люблю тебя, ты моя, Матильда…

Но она отбивалась изо всех сил.

— Нет, нет, послушай, как ужасно он кричит; он разбудит кормилицу; что нам делать, если она прибежит, — мы пропали тогда… Этьен, послушай, отец берет его в постель, когда он так кричит… Другого средства нет, я возьму его, Этьен…

Ребенок рычал, он издавал вопли, младенческие вопли, которые пробивают стены самые капитальные, которые терзают слух пешеходов, проходящих мимо семейных квартир. Угнетенный капитан приподнялся, Матильда бросилась за малышом и принесла его в постель. Ребенок замолчал.

Капитан уселся верхом на стуле и стал сворачивать папиросу. Прошло минут пять. Андрэ заснул. Мать прошептала:

— Теперь я отнесу его обратно…

И с бесконечными предосторожностями она положила сына в колыбельку. Капитан, раскрыв объятия, ждал ее возвращения. Сжигаемый любовью, он привлек ее к себе. И Матильда, побежденная, наконец, обвила руками его шею:

— Этьен, о Этьен, моя любовь!.. Если бы ты знал, как, как…

Тут Андрэ закричал.

— Тысяча дьяволов и еще один дьявол, — пробормотал капитан. — Да он никогда не замолчит, этот сопляк…

Сопляку это и в голову не приходило — замолчать, он мычал на этот раз.

Матильде показалось, что кто-то движется наверху. Конечно, это — кормилица, которая сейчас спустится вниз. Матильда рванулась, побежала за малюткой, положила его в постель, он стих в то же мгновение.

Три раза она укладывала Андрэ в колыбель, три раза нужно было перетаскивать его в постель.

Соммервиль ушел за час до рассвета. Все проклятия, которые могут быть обрушены на ближнего армейским капитаном, были им пущены в ход.

Чтобы успокоить нетерпение Соммервиля, Матильда пообещала принять его в тот же день вечером. Он пришел тем же путем, что и накануне, но воспламененный еще более, разъяренный всеми этими отсрочками. На этот раз он с необыкновенной осторожностью положил саблю на ручки кресла, он снял с себя сапоги бесшумнее, чем это может сделать вор, он говорил так тихо, что Матильда не разобрала ни одного слова. Наконец-то он может быть счастлив, совершенно счастлив, но от счастья его отвлек раздавшийся в это мгновение треск паркета или, может быть, кровати. Это был сухой, короткий стук, как будто лопнула какая-то подпорка, ему ответил крик, сначала слабый, потом оглушительный — Андрэ проснулся.

В эту ночь он верещал, как ворона. Верещание его — продолжись оно — подняло бы на ноги весь дом.

Обезумевшая мать рванулась и принесла Андрэ. Капитан не пошевелился. Его душило бешенство. Он тихонько просунул руку, зажал между двумя пальцами кусок кожи младенца и ущипнул. Ребенок забился, рев его раздирал барабанные перепонки. Тогда капитан стал щипать сильнее,

щипать во все места, щипать спинку, бока, что ни попадалось. Он вертел, закручивал, сжимал, терзал щепотку кожи, зажатую между пальцами; покончив с одной частью тела, он переходил к другой, к третьей, ко всем по порядку.

Ребенок пищал, как цыпленок, которого режут, ребенок тявкал, как собака, которую хлещут. Безутешная мать обнимала его, осыпала поцелуями, пытаясь поцелуями задушить рыдания. Андрэ побагровел, у него начиналось что-то вроде корч, он судорожно сучил крохотными ножонками.

Тогда капитан промолвил сладким голосом:

— Не переложить ли вам его в колыбельку, Матильда, может быть, он там успокоится?..

Матильда побежала с сыном в другую комнату. Андрэ затих, как только его извлекли из материнской кровати; почувствовав себя в колыбельке на привычном месте, он совсем замолк, и только запоздалые рыдания потрясли несколько раз его тельце.

Остаток ночи протек безмятежно, и капитан был счастлив.

В следующую ночь Соммервиль пришел снова. Так как беседа его с Матильдой протекала с большой живостью, то Андрэ проснулся и заверещал. Мать положила его к себе, но капитан щипал на этот раз так усердно, так безжалостно, так неутомимо, что малыш задохся, выпучил глазки, даже пена показалась на его губах. Его отправили обратно в детскую, там он успокоился. По прошествии четырех дней Андрэ не выражал никакого желания спать в материнской постели.

Нотариус вернулся домой в субботу вечером. Он занял свое место у очага и в супружеской комнате. В этот день

господин Моро лег рано, потому что был утомлен с дороги; повинуясь давно заведенным привычкам, он во всех подробностях исполнил свои обязанности добропорядочного, кропотливого мужа. Исполнив их, нотариус сказал с удивлением:

— Вот так штука, Андрэ не плачет сегодня. Сходи-ка за ним, Матильда, мне приятно чувствовать его между нами…

Жена послушно вскочила и принесла малыша; увидев кровать, в которой всего только несколько дней тому назад он так счастливо засыпал, Андрэ скорчился и яростно заорал. Мать принуждена была отнести его в детскую.

Г-н Моро не мог опомниться от изумления:

— Вот так штука! Что это с ним приключилось?..

Жена ответила:

— Он вел себя точно так же во все время твоего отсутствия, я ничего не могла с ним поделать…

Утром маленький человек проснулся и, пошевеливая жирными ручонками, принялся улыбаться и играть. Разнеженный нотариус расцеловал свое произведение и понес его на руках к брачному ложу. Андрэ заливался хохотом, неясным, счастливым смехом маленьких существ, мысль которых плавает еще в тумане. Вдруг взгляд его упал на кровать, на мать, лежащую в кровати, маленькое смеющееся личико сморщилось, исказилось, горестные рыдания вылетели из его глотки, и он стал барахтаться на руках отца с такой силой, как будто его убивают.

Моро, изумленный вконец, пробормотал:

— Право, с ребенком что-то неладное… — и привычным движением поднял рубашонку Андрэ. Крик ужаса вырвался

у него. Ноги, бока, спина младенца были испещрены синими пятнами величиной в монету.

Нотариус закричал:

— Матильда, погляди, какой ужас!..

Мать прибежала на крик. Середина каждого пятна была прорезана фиолетовой линией, линией, где свернулась и запеклась кровь. Не было сомнения в том, что у Андрэ начиналась грозная, необъяснимая болезнь, проказа, может быть, от которой кожа прокаженного становится похожей на спину жабы или чешую крокодила. Ошеломленные родители уставились друг на друга. Моро закричал: «Доктора, скорее доктора…» Но Матильда, бледность которой превосходила бледность мертвеца, не могла отвести глаз от своего сына, полосатого, как леопард. И вдруг глубокий стон, — стон отчаяния, гадливости, как будто в комнату вползло нечто, наполнившее ее отвращением, — вырвался у Матильды:

— О, какой негодяй…

Г-н Моро, все еще не пришедший в себя, спросил:

— Что такое? О ком ты говоришь… Какой негодяй?..

Матильда побагровела, корни волос ее зашевелились. Задыхаясь, она пробормотала:

— Нет… ничего… видишь ли… я думаю… я угадываю… доктора не надо… это подлая кормилица истязала малютку, чтобы он не кричал…

Взбешенный нотариус потребовал к себе кормилицу. Он набросился на нее с кулаками. Прислуга все отрицала. И дерзкое поведение ее, удостоверенное муниципалитетом, воспрепятствовало ей найти другую службу.

Приложение

КОЛЬЦО ЭСФИРИ

Я бродил по барахолке и прислушивался к ее немыслимым запахам и звукам. Разве может что-нибудь сравниться с одесской барахолкой!

Плыл я среди потной и галдящей толпы, терся о сарафаны, сюртуки, лапсердаки, спины и более существенные ценности, как кефаль во время нереста. Я плыл и время от времени нюхал пунцовый цветок, который был у меня в правой руке. Надо же было девать куда-то свой нос.

Обширная тетка, которую тут все называли Стеллой, появилась передо мной внезапно. А чему здесь удивляться. Все в мире появляется внезапно. Потому что до того, как появиться, этого-то не было. Не было... а потом вдруг стало. Как все в мире запутано...

Стелла действительно была звездой... лет сорок назад. Хотя и сейчас небесными огнями мерцали ее прекрасные библейские глаза. Глаза, которые, казалось, навечно были созданы для любви и слез, для вопросов, после которых никогда не ждут ответа.

— Что молодой человек имеет предъявить?

— Ничего, — просто ответил я.

— Таки ничего? — продолжала Стелла и морщины на ее лбу ехидно изогнулись.

— Ничего, — опять сказал я и сунул нос в пунцовый цветок.

Стелла посмотрела на меня, как акушерка на младенца, который изволил явиться на свет божий только через десять месяцев.

Спустя несколько минут Стелла опять появилась передо мной.

— Я поняла, молодой человек, — она делала попытку общаться со мной так, чтобы об этом не слышали на Дерибасовской. — Я поняла. Вы имеете японские противозачаточные средства. Фир(ма Ку)росава. Поставщик двора мик(адо). Гарантия сто процентов. Филиалы в Париже, Лондоне и Жмеринке. Но я должна предупредить молодого человека, что этот медикамент сичас в массы не пойдет. Сичас массы ни к кому не имеют доверия. Но если молодой человек...

Она заговорила, как хорошо отлаженный механизм, надежный, как тормоз Вестингауза.

— ...хочет реализовать товар? Я имею хороший покупатель Фима Сотник. Нет, нет. Фима не казак. Он сам не любит казаков. Ефим Григорьевич почетный гинеколог города Одессы с девятьсот четы(рнадцатого го)да. Кабинеты на Пересыпи и Молдаванке. Очень образованный специалист. В девятьсот десятом году он даже кончил коммерч(еское учи)лище в Бендерах...

Стелла говорила без пауз, и я никак не мог изловчиться и просунуть свое слово в ее речь, в которой не было никаких слышимых трещин. Я просто стоял и нюхал пунцовое растение, которое было у меня в правой руке.

Стелла все говорила, говорила, говорила... И вот тогда, в девятнадцатом, на Одесской барахолке передо мной открылся истинный, глубинный смысл этого невероятно страшного слова — бесконечность.

— Что вправду молодой человек ничего не имеет продать? — вдруг остановилась Стелла. — Так зачем молодой человек напустил на себя тайны мадридского двора? Зачем нюхать цветочки на обществе? Здесь что? Таврический сад? Или, может быть, Приморский бульвар? Так зачем же молодой человек отвлекает людей от работы? Жизнь и так коротка, а надо успеть еще заработать на кусок хлеба.

Она замолчала, отвернулась от меня и тихо пошла, прижимая к необъятному бедру плетеную кошелку, набитую какими-то жалкими тряпками.

И вот здесь что-то произошло. Мне показалось, что в это мгновенье погасли все доменные печ(и Ев)ропы, что все металлопрокатывающие заводы мира остановились на капи(тальный ре)монт и вот-вот начнется солнечное затмение. Организм мой неистово всасывал через все поры вдруг наступивший мрак и холод.

— Стелла! — заорал я, перекрывая звериным рыком наступившую тишину. — Стелла! Стелла!

Старуха медленно и безразлично обернулась.

— Стелла, сувенирчик небольшой имеется, — почти кокетливо сказал я и протянул ей небольшое плоское колечко.

— Ха! Молодому человеку таки тоже хочется кушать! — она рассматривала кольцо, перебирая его пальцами, как за-

водную головку карманных часов. И вдруг вскинула голову, и в глазах ее было не любопытство, не испуг, а ужас.

— Что такое! Где вы взяли эту вещь? Это кольцо моей Фиры! Вот ее буквы: Э. Р. Эсфирь Розенблюм. Где моя Фира? Что вы сделали с моей Фирой? — кричала Стелла.

Она кричала, а я силился что-нибудь сказать. И не мог. Толпа окружила нас и улюлюкала, призывая к активным действиям. А мы были как бык и тореадор на арене цирка. И толпе нужна была моя кровь. Она жаждала крови.

— Так, значит, вы — Стелла Осиповна? — наконец-то выдавил мой язык. — Ведь я же муж вашей Фирочки. Ваша Фирочка уже давно моя жена. И она уже давно не Розенблюм, а Иванова-Ляндерс. Эсфирь Иванова-Ляндерс. А я ее муж Яков Григорьевич Иванов-Ляндерс...

Мой язык говорил еще что-то. Что, я не знаю. Мы были по отдельности, мой язык и я. Я только видел усталую улыбку на лице Стеллы и слезы, горошинками скатывающимися по ее крутым щекам.

— Так это вы — Яша? Фирочка писала нам, что взяла за себя какого-то очкастого сочинителя. Но мы не думали, что вы, молодой человек, такой тощий. Яша, слушай сюда. Я бы тебя обняла сичас, но у меня кошелка с галантереей. Обними ты меня, Яша, сыночек, и пойдем скорее домой, разговоров за коммерцию сегодня больше не будет.

Через полчаса мы сидели в прохладной комнатушке с земляным полом. Я поглощал баклажаны, помидоры, фаршированную рыбу и запивал эту царскую снедь красным терпким зайбером. Стелла сидела напротив и печально

смотрела на меня и время от времени вновь наполняла тарелки.

— Яша, — сказала Стелла, когда я сделал перерыв в пиршестве, — скажите же что-нибудь за Фирочку, что она делает, мы так давно ничего от нее не имеем.

— О, Фира сейчас в Киеве, на Прорезной. Там наша квартира. Знаете, Стелла Осиповна, Киев недавно освободила красная конница и там сейчас свобода. Правда, кроме свободы и селедочного супа там ничего больше нет. Но большевики деловые люди, они скоро все очень хорошо наладят.

— Ну, а что вы приехали в Одессу, Яша? Здесь нехорошо. Вчера белые фотографа Михельсона повесили за агитацию. Он по пляжу в красных трусах ходил.

— Нет у меня красных трусов, Стелла Осиповна, — сострил я. — Что ж мне бояться? А из Киева я уехал временно. Тяжело там сейчас работать. Писал я стихи. Платили мне воблой. Штука за строчку. Нет, думаю, так и помереть недолго. Стал писать поэмы, как Э(дик Ба)грицкий, по пятьсот (стро)к. Редактор мне говорит, что с такими стихами мне надо в Астрахань ехать. Может, там из Каспийского моря и будут такие бешеные гонорары платить. А здесь, в Киеве, нет столько воблы... Вот я и приехал...

— Яшенька, ну расскажи подробнее за нашу Фиру, — с какой-то тоской произнесла Стелла.

Я подошел к ней, положил руку на плечо, обтянутое выцветшим измятым сатинетом, и тихо сказал:

— Мама... мама... не осталось нашей Фиры. Погибла наша Фира. Слушай, мама. Моя любимая жена, товарищ и друг, ко-

миссар особого отряда Киевской губчека Эсфирь Иванова-Ляндерс погибла героической смертью в бою с врагами революции... А кольцо — это все, что мне осталось в память о ней.

Стелла встала с табуретки. Она вскинула вверх руки, закинула назад голову и закричала. Так страшно женщина может кричать только тогда, когда у нее навсегда отнимают любимое порождение ее чрева.

Распахнув дверь, я вышел на пыльную дорогу одесской окраины. Пускай Стелла поплачет, ей нужно плакать, много... плакать. А мне еще предстоит рассчитаться за смерть Эсфири. И не стихами...

ЕВРЕЙКА

[I]

По закону старуха просидела семь дней на полу. Она встала на восьмой день и вышла на улицу в местечке. Погода была прекрасна. Перед домом стояло каштановое дерево с уже зажегшимися свечками. На нем расплылось солнце. Когда думаешь о недавних мертвецах в прекрасный летний день — жуть [берет], бедствия кажутся беспощадными, безвыходными.

На старухе было черное шелковое старинное платье с тиснеными черными цветами и шелковый платочек. Она оделась так для умершего своего мужа, чтобы соседи не подумали, что он и она жалки в смерти. В этом платье старая Эстер [Эрлих] пошла на кладбище.

Цветы, брошенные на могильный холм, свернулись. Она тронула их пальцами, они стали падать и ломаться. К Эстер подбежал кладбищенский завсегдатай Алтер...

— Панихиду, мадам?

Она раскрыла сумку. Медленно посчитала деньги, несколько серебряных денег, и отдала их Алтеру, торжественно молча. От ее молчания Алтеру стало [даже как-то] не по себе. Он ушел на кривых ногах, тихонько разговаривая сам с собой. Солнце проводило его кривую вылинявшую спину. Она осталась одна с могилой. Ветер прошел по верхушкам деревьев и [всколыхнул] их.

— Мне очень плохо без тебя, Маркус, — сказала маленькая старуха в шелковом платье, — нельзя тебе сказать, как мне плохо!..

Она просидела у могилы до полудня, сжимая в морщинистых руках осыпавшиеся цветы. Она сжимала пальцы до боли, для того чтобы отбиться от воспоминаний. Страшно вспоминать жене перед могильным холмом о тридцати пяти годах супружества, о днях и ночах супружества.

Уничтоженная борьбой с воспоминаниями, <...> она вечером поплелась в шелковом платье через нищее местечко домой. На базарной площади лежали желтые лучи. Исковерканные старики и старухи продавали с лотков подсолнечное масло, увядший лук, рыбешку, ирисы для детей. У дома Эстер встретила пятнадцатилетняя дочь.

— Мама! — закричала девочка особым еврейским отчаянным женским голосом. — Ты не будешь нас мучать. Боря приехал...

Двигая пальцами, сын стоял в дверях — в военной форме, с орденами на груди. Сломанная старуха с [печальным лицом] и лихорадочно [горевшими глазами] остановилась.

— Как ты смел опоздать к постели своего отца?.. Как ты смел это ему сделать?..

Дети под руку ввели ее в комнату. Она села на скамейку, на ту самую, на которой просидела семь дней, и, глядя на сына в упор, стала терзать его рассказом о смерти отца. Рассказ этот был обстоятелен, в нем не было упущено [ничего, и главное,] как звал отец, умирая, своего сына. Она [рассказывала, как] стояла на коленях перед его постелью, [как] сжимала в своих руках его руку. Отец отзывался слабым пожатием и произносил без отдыха имя своего сына. Выкатив сияющие глаза, он сначала [бормотал] не отдыхая, произносил это имя — ...Борис, [и слово это] жужжало в помертвевшей тишине, как жужжание веретена, — потом старик задохнулся. Он перевел хрипящее дыхание и прошептал: Боречка! Глаза его выкатились, и он стал исходить воем и рычанием: Боречка!.. Старуха, согревающая его руки, сказала: «Я здесь, твой сын здесь». Рука умирающего налилась силой и [энергией]. Она стала [упругой]. Он начал [снова] кричать это слово — Боречка — голосом таким, какого у него не было во всю его жизнь, и умер с этим словом на устах.

— Как смел ты опоздать?— сказала старуха сыну, сидевшему боком у стола.

Лампы не разжигали. Приехавший сидел во тьме, обливавшей [фигуру неподвижной старухи, которая] тяжело,

гневно дышала с полу. Борис поднялся, зацепил револьвером край стола и вышел.

Полночи ходил он по еврейскому местечку, его родине... На реке дрожали чистые змеи — [отражения звезд]. От избушек, стоявших на берегу, несло вонью. В синагоге, противостоявшей некогда бандам погромщиков, были взломаны трехсотлетние стены. Родина его кончалась. Часы столетия вызванивали конец беззащитной жизни. «Конец или возрождение?»— спросил себя Борис. Сердце его так терзалось, что он не нашел в себе силы ответить на этот вопрос. Школа, где он учился, была разрушена атаманом Струком в 19 году. В доме, где жила семья П., помещалась теперь биржа труда. Он ходил мимо развалин, мимо кривых приземистых домов. Из подворотен полз дымок нищей вони — и [Борис, глядя на эти убогие дома, мысленно] прощался с ними.

Дома ждали его сестра и мать. На столе кипел нечищеный самовар и валялся кусок синей курицы. Эстер пошла к нему на слабых ногах, прижалась к нему и заплакала. Сквозь кофту, сквозь дряблую [материнскую] кожу он чувствовал, как билось и улетало ее сердце — и [как отзывалось] его сердце, — потому что они были одни и те же [плоть от плоти]. И запах сотрясающейся материнской плоти был так горек, так жалок, так[им] эрлиховским [родным], что ему сделалось нестерпимо, невыразимо жалко [ее] сердце. Старуха плакала, тряслась у его груди и двух орденов Красного Знамени. Ордена были мокры от слез. Так началось ее выздоровление, [ее] привычка к горю.

II

Наутро пришли родственники — остатки большой и старинной семьи. В семье этой были торговцы-авантюристы и робкие поэтические революционеры времен народовольчества. Тетка Бориса — фельдшерица, учившаяся [когда-то] на 20 р[ублей] в месяц в Париже, [где] слушала Жореса и де Геда. Дядька его был неудачливым и трогательным местечковым философом. Другие дядья были торговцами хлебом, коммивояжерами, лавочниками — теперь вышибленные из жизни, [какая-то] толпа распавшихся и жалких людей, в [нелепых] рыжих пальто и в распаренных галошах.

[Тетка] еще раз рассказала Борису, как пухли ноги его отца, где образовались у него пролежни, кто бегал в аптеку за кислородом. Торговец хлебом, богатый когда-то человек, выгнанный теперь из своего дома и обвязывавший старые худые ноги солдатскими обмотками, отвел Бориса в сторону и, глядя на него мигающими глазами, [как бы] ослепшими изнутри, рассказал [и сделал это для того, чтобы сблизиться с племянником], что он никогда не ожидал, чтобы у отца сохранилось такое чистое, гладкое тело, они смотрели, когда его обмывали, — он был строен и гладок, как юноша... И [он] подумал, что [всего отказал] какой-то клапан где-то в сердце, [какая-то] жила в один миллиметр... Дядька говорил это и думал, верно, что ведь и он с покойником рождены от одной матери и у него, верно, точь-в-точь такой же сердечный клапан, как у брата, умершего неделю назад...

На следующий день у Бориса, сначала робко, потом с содроганием давно сдерживаемого отчаяния, попросили рекомендации в профсоюз. Никого из Эрлихов из-за бывшего их положения не принимали в члены профсоюза. Жизнь их была невыразимо печальна — дома разваливались и протекали, продано было все, даже платяные шкафы; на службу их не брали; плата за квартиру и воду высчитывалась с них как с людей, не занимающихся трудом; кроме того, они все были стары и больны ужасными предвестниками раков и сухоти — как во всех полагающихся старых еврейских семьях.

<…> Он превозмог себя и пошел к председателю Исполкома.

Председатель Исполкома, петербургский рабочий, — казалось, ждал его всю свою жизнь для того, чтобы рассказать, как тяжела, [как] мрачна работа Исполкомов в этой бывшей проклятой, так называемой черте еврейской оседлости, как трудно воскресить эти местечки [юго-]западного края, издыхающие на глазах, <…> и создать [здесь] основы нового благополучия.<…>

Несколько дней перед Борисом стояло кладбище его родного города и молящие глаза его дядьев, веселых когда-то, щеголеватых бывших коммивояжеров, мечтающих теперь о вступлении в профсоюз или на биржу труда.

Бабье лето сменилось осенью. Пошел слякотный местечковый дождь. Грязь с камнями катила как будто с горы. В передней было полно воды. Под скважины потолка подставили заржавленные миски и пасхальные кастрюли. Идя по передней, надо было балансировать, чтобы не попасть ногой в миску.

— Едем, — сказал тогда матери Борис.

— Куда?

— В Москву, мама!..

— Без нас в Москве мало евреев, что ли?

— Вздор, — сказал Борис, — нам нет дела до того, что болтают...

[Сидя в своем углу в протекавшей передней, у окна, из которого видна была избитая мостовая и обвалившийся дом соседа, вот так сидя и оделяя душевной слезой и старческой страстью сочувствия всех своих сестер и шуровьев, которым судьба не дала такого сына, как у нее, — Эстер ждала, что рано или поздно они заговорят о Москве, и знала, что она сдастся.] Но она сделала все для того, чтобы замучить себя и пропитать свою сдачу горем всей жизни.

Она сказала, что ей смертельно грустно ехать одной без него, который так мечтал о Москве, так мечтал оставить эти проклятые богом места и прожить остаток жизни, от которой ничего [уже] не хочешь, кроме покоя и радости, с сыном — в этом новом мире... И вот — он лежит всю ночь в могиле, а она поедет в Москву, где, говорят, люди счастливы, веселы, бодры и полны планов и делают какие-то особенные дела. Эстер сказала, что ей тяжело оставить все их могилы — отцов и дедов, раввинов и цадиков, талмудистов, покоящихся под традиционными серыми камнями. Она их больше не увидит — и как он, ее сын, ответит перед ней, когда ей придется умирать в чужой земле, среди невообразимо чужих людей... И потом — как простит она себе — если ей в Москве будет хорошо житься?..

[Искривленные увлажнившиеся пальцы ее старческих подагрических рук дрожали, когда Эстер высказывала, как нестерпимо ей быть счастливой в это время. На желтой ее груди страшно выступали и ходили жилы. В железную крышу стучался [маленький] дождь...] Во второй раз, с тех пор как приехал ее сын, маленькая старая еврейка в местечковых туфлях заплакала. Она согласилась поехать в Москву, так как больше некуда было ехать и потому, что сын ее так был похож на мужа, что ей нельзя было оставить его. <...>

III

Больше всего споров было из-за вещей. Мать хотела взять все с собой, Борис настаивал на том, чтобы со всем развязаться, продавать. Но продавать в Кременце было некому, жителям было не до мебели, маклаки, похожие на погребальщиков, маклаки, неведомо откуда взявшиеся, похожие на пришельцев с того света, злобные люди, давали гроши. Маклаки имели в виду крестьян. Но тут помогли родственники. Опомнившись от первых душевных движений, они стали тащить к себе кто что мог. И так как по душе своей они были честные и не мелочные люди, то зрелище этого глухого тасканья было особенно печальным. Мать, растерявшись [и] покрывшись болезненным румянцем, пыталась было схватить чью-то руку, но <...> [вдруг] все поняла, в одно мгновенье, и всему ужаснулась — и тому, что кому-то надо воспрепятствовать в этом мучительном [деле], и тому, что люди, с которыми она выросла, не помня себя уносят шкафы и простыни из ее дому. Вещи были отправлены большой ско-

ростью. Родственники, расплатившись, увязывали тюки. Они вдруг опомнились и, сидя на тюках, [поняли], что они остаются в Кременце и никогда его не оставят. Старуха сунула-таки в тюки пуховик и корыто для выварки белья.

— Ты увидишь, — сказала она сыну, — нам понадобится все это в Москве. И потом, нельзя, чтобы от шестидесяти лет жизни не оставалось ничего, кроме пепла в душе и слез, которые текут уже тогда, когда не хочешь плакать...

У старухи, когда отправляли вещи на вокзал, снова появились пятна во впадинах щек и глаза заблестели настойчивым слепым страстным блеском. Она металась по оборванной, загрязненной квартире, [какая-то] сила вела трясущееся старое плечо вдоль стен, с которых свисали рваные куски обоев.

Утром, в день отъезда, Эстер повела детей на кладбище. На нем под талмудическими плитами, в провалах столетних дубов были похоронены еще раввины, убитые казаками. Старуха подошла к могиле мужа, вздрогнула и выпрямилась.

— Маркус, — сказала она [рвущимся голосом], — твой сын везет меня в Москву... Твой сын не хочет, чтобы меня положили рядом с тобой...

Она не отводила глаз с порыжевшего холма с осыпавшейся ноздреватой землей, сын и дочь крепко держали ее за руки. Старуха тихонько падала вперед, качалась, прикрывала глаза. Сухие руки ее, отданные детям, напрягались, обливались потом [и] слабели. Глаза ее все расширялись и пылали светом. Она вырвалась, упала в шелковой своей кофте на могилу и стала биться. Все тело ее содрогалось, и только

рука с жадной нежностью гладила желтую землю и шуршащие цветы.

— Твой сын, Маркус, — высокий голос оглашал еврейское кладбище, — везет меня в Москву... Попроси, Маркус, чтобы он был счастлив...

Она проводила кривыми путающими, как при вязании, пальцами по земле, прикрывавшей мертвеца... но встала, когда сын дал ей руку. Борис шел по тропинке, прикрытой ветвями дубов, — и все существо его пылало и поднималось вверх от каменного давления слез на глазницу и горло. Он узнал вкус слез, которые никогда не уходят и остаются в [душе]. У ворот старуха остановилась. Она высвободила свою руку, на которой пот возникал, как подземный источник, то кипящий, то мертвенно-холодный, — и помахала ею кладбищу и могиле, как будто они отплывали от нее.

— Прощай, мой друг, — сказала она тихо, не плача [и не содрогаясь], — прощай!..

Так оставила семья Эрлихов свою родину.

IV

Борис повез свою семью в севастопольском экспрессе. Он взял билеты в мягкий вагон.

На станцию их вез знаменитый когда-то своим шутовством [и] присказками и громадными вороными лошадьми балагула Бойгин. Прежних лошадей у него уже не было, ветхий тарантас влекла гигантская грязно-белая кляча с отвислой розовой губой. Сам Бойгин постарел, его скрючил ревматизм.

— Смотри, Бойгин, — сказала маленькой круглой его спине Эстер, когда тарантас визжа подъезжал к станции, — я вернусь в будущем году. Ты должен быть здоров к этому времени...

Холмик на спине Бойгина сделался еще острее. Белая кляча ставила в грязь подагрические несгибающиеся ноги. Бойгин обернулся и показал вывороченные кровавые веки, кривой нос и пыльные пучки волос, лезшие из-под [дождевого] мешка.

— Навряд ли, мадам Эрлих, — и вдруг завопил: — «С ярмарки [да] с ярмарки домой...»

Мягкий вагон был переделан из былых вагонов министерства.

Эстер сквозь низкие зеркальные окна в последний раз увидела сбившуюся толпу родных, рыжие пальто, солдатские обмотки, косые тальмы — старых сестер с большими, уже ненужными грудями, шурина Самуила, бывшего коммивояжера, со вздутым перекошенным лицом, шурина Ефима, бывшего богача, в обмотках на сухих старческих бездомных ногах. Они толкались на перроне и что-то выкрикивали, когда поезд отошел. Сестра ее, Геня, единственная — бежала за поездом — ...

<Пропуск в рукописи: утерян один листок блокнота.>

[Он показы]вал ей Россию с такой гордостью и уверенностью, точно эта страна была им, Борисом Эрлихом, создана

и ему принадлежала... Впрочем, до некоторой степени так это и было, во всем: и в международных вагонах, и в отстроенных сахарных заводах, и в восстановленных железнодорожных станциях — была капля его меду, его, комиссара корпуса червонного казачества.

[В дорогу старуха опять надела свою шелковую кофту с тиснеными цветами. Когда-то она надевала ее в синагогу — на судный день и в Новый год. Она неловко ела поданную ей котлету, ела медленными глотками, крошки падали на ее колени, она утирала их украдкой и боязливо оглядывалась по сторонам. Боязнь и робость была в ее взгляде с тех самых пор, когда они сели в тарантас Бойгина; красное дерево, фарфор и хрусталь нового ее жилища наполняли ее еще большим страхом.]

Вечером он потребовал для всех белья и с детской гордостью показывал, как открывается синий свет на ночь, и сияя открыл секрет шкафчика из красного дерева. Шкафчик этот оказался умывальником — тут же в купе. Лежа в прохладных простынях, укачиваемая маслянистым качанием рессор — Эстер вглядывалась в синюю тьму глазами, в которых не погас еще [интерес к жизни], и, слушая дыхание сына — он вскрикивал и метался во сне — и ровное дыхание дочери, она думала: не может быть, чтобы кому-нибудь не пришлось заплатить за этот замок, залитый огнем люстр [и] согреваемый сияющими медными трубами, [замок], несущийся по России. Это была еврейская мысль. Она [уже] не приходила Борису в голову.

Подъезжая к Москве, он все тревожился — получил ли Алешка Селиванов телеграмму и выехал ли на вокзал с машиной.

Алешка телеграмму получил и выехал с машиной. Машина эта была тридцатитысячный Паккард штаба ВИНА. Она увезла Эрлихов в давно приготовленные Борисом комнаты на Остоженке. Алешка даже свез кое-какую мебель на квартиру своего товарища. И там — в двух комнатах — [было] новое неисчерпаемое для [них] наслаждение. Не давая опомниться матери, он водил ее на кухню с газовой плитой, в ванную с газовой колонкой, показывал холодильные шкафы. Комнаты были великолепны. Они составляли часть квартиры, зани[маемой] до революции помощником московского генерал-губернатора. И, таская мать по кухням, ванным и антресолям княжеской этой квартиры, Борис, сам того не сознавая, исполнял предназначение семитической своей крови. Кладбище в [Кременце], могила неудачливого, ничего не дождавшегося его отца разбудили в нем ту могучую страсть семейственности, которой столько лет держался его народ. На тридцать третьем году [своей жизни], повинуясь древним этим велениям, он ощутил себя сыном, и мужем, и братом — защитником женщин, их кормильцем, их опорой, и ощутил это со страстью, с мучительным и упрямым сжатием сердца, свойственным его народу. Его мучила мысль — отец не дождался — и он хотел [за]гладить вину опоздания тем, что [вот теперь] мать [и] сестра перешли от отца в твердые руки, и если им будет лучше в этих руках... — то [значит] таков безжалостный ход жизни.

V

Борис Эрлих, студент Психоневрологического университета, (Психоневрологического потому, что во всех других была процентная норма для евреев), проводил лето 17 года у своих родных в местечке. Обходя пешком окрестные буйные села, он объяснял крестьянам основы большевистского учения. Этой пропаганде мешал горбатый нос Эрлиха, мешал, но не слишком — в 17 году не до носов было.

В то же лето к бухгалтеру уездной земской управы приехал из Верхоянской ссылки сын Алеша. Отдыхая от тюрьмы, поглощая родительские настойки и вареники с вишнями, Алеша раскопал, что род Селивановых происходит от полковника Запорожской сечи Селивана. В бумагах [...] он разыскал даже литографированный портрет своего предка в жупане с булавой, верхом на карточном коне. На портрете была выцветшая надпись на латыни — Алеша утверждал, что узнает руку украинского канцлера при Мазепе. Романтические эти изыскания сочетались в Алеше с принадлежностью к партии социалистов-революционеров. Перед глазами его всегда стояли образы Желябова, Кибальчича, Каляева. В двадцать один год жизнь Алеши была полна. Юношескую ее страсть возмутил Эрлих, носатый студент университета со странным наименованием. Они сдружились, и Алеша сделался большевиком. О книгах и «Коммунистическом манифесте» позаботился Эрлих. После переворота Алеша собрал своих местечковых друзей — девятнадцатилетнего еврея, механика из кино «Чары», другого еврея —

кузнеца, неприкаянных нескольких унтер-офицеров и несколько ребят, вольницу из соседнего села. Он посадил их на коней и назвал отрядом, а самый отряд — повстанческим полком красных украинских казаков. Унтер-офицера сделали начальником штаба, Бориса — комиссаром. Так как в Алешкином полку дрались за правое дело и бойцы в нем жили дружно и гордо и врали невесть что — то к отряду что ни день прибывали силы, и он, [отряд], испытал судьбу ручейков, из которых сложилась Красная Армия. Из полка стала бригада, из бригады дивизия; дрались с бандами, с Петлюрой, с добровольцами, с поляками. При полках были уже политотделы, корп[усные] части, трибуналы и [чрезвычайные?] комиссии.

Во врангелевскую кампанию Алешка вступил командиром корпуса. Ему было в это время 24 года. Иностранные газеты писали о Буденном и об Алексее, что они изобрели новую тактику и стратегию кавалерийской войны. Иностранные академии стали изучать молниеносные рейды Алексея Селиванова, слушатели академии решали тактические задачи, изучая операции корпуса украинских казаков. Вместе с ними изучали собственные свои операции Селиванов и бессменный его комиссар, посланные в академию.

В Москве они образовали с бывшим киномехаником и с бывшим унтер-офицером коммуну. Как и в корпусе, честь и чувство товарищества — высоко, с мучительной страстью — держал Борис Эрлих... Оттого ли, что раса его так долго лишена была лучшего из человеческих свойств — дружбы в поле битвы, в бою, — Борис испытывал потребность, голод к

дружбе и товариществу. [И чувство это было] так болезненно, что в этом отношении его к дружбе можно было заметить болезненную горячность. И в этой горячности и рыцарственности и самопожертвовании было то [облагораживающее], что делало всегда конуру Бориса клубом «красных комиссаров».

Клуб этот пышно расцвел, когда к столу вместо колбасы МСПО и водки стала подаваться фаршированная рыба — в форме которой вся история проперченного этого народа. Вместо жестяного чайника появился самовар, привезенный из Кременца, и чай разливала старушечья успокоительная рука. Много лет Алексей Селиванов и его бригадные командиры не видели старушки за самоваром. Эта перемена была им приятна. Как-никак — а лучше говорится о победе социализма, когда запиваешь эту надежду чаем...

Старой Эстер нашлось место в столице СССР. Старуха была кротка и боязлива и тиха как мышь, а в фаршированной рыбе чувствовалась истинная с большим перцем страсть.

Поначалу из-за этой рыбы на [Остоженке] сгустились тучи. [Дело в том, что] жилица-профессорша [соседка] сказала в кухне, что, благодарение богу, квартира совершенно провонялась. И действительно — с переездом Эрлихов душок чесноку, жареного луку [ощущался] уже в передней...

< На этом рукопись обрывается.>

Примечания

Работа над рассказом (с. 29)*

Впервые: Смена, 1934, № 6, подзаголовок: Из беседы с начинающими писателями.

Возьмите Горького... Кто помнит его рассказ «Едут»? — Речь идет о рассказе из цикла «По Руси» (1913). Этот четырехстраничный текст по объему, теме, изобразительной динамике близок бабелевской поэтике.

Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) — советский писатель, позднее — автор воспоминаний о Бабеле и предисловий к его сборникам.

...в кацавейке Баранцевича, Рышкова или Потапенко. — Баранцевич Казимир Станиславович (1851–1927), Рышков В. А. (1862–1924), Потапенко Игнатий Николаевич (1856–1929) — писатели-бытовики, натуралистически изображавшие русскую жизнь рубежа веков — отсюда и метафорическая «кацавейка».

Речь на Первом Всесоюзном съезде советских писателей (с. 35)

Впервые: Литературная газета, 1934, 24 августа, заглавие: Содействовать победе большевистского вкуса.

Полный текст с авторской правкой: Правда, 1934, № 234, 25 августа, заглавие: Пошлость — вот враг! Речь т. Бабеля.

Печатается по: Первый всесоюзный съезд советский писателей. 1934. Стенографический отчет. М., 1934. С. 278–280.

---

* В скобках после названия произведения указана его страница в данном томе.

Бабель произносил речь на одиннадцатом, вечернем, заседании 23 августа 1934 г., на нем выступали также Ф. Панферов, Б. Ясенский, В. Вишневский, Ю. Либединский, Андрэ Мальро и др.

...статьи Горького о языке... — в статьях 1930-х гг. Горький выступал за чистоту литературной речи, боролся с неумеренным употреблением диалектов и жаргона.

И ведь дошло уже до того, что объекты любви начинают протестовать, вот как Горький вчера. — Имеется в виду реплика Горького на девятом, вечернем, заседании 22 августа 1934 г.: «Мне кажется, что здесь чрезмерно произносится имя Горького с добавлением измерительных эпитетов: великий, высокий, длинный и т. д. <...> Говоря фигурально, все мы здесь, невзирая на резкие различия возрастов, — дети одной и той же очень молодой матери — всесоюзной советской литературы» (Первый всесоюзный съезд советский писателей. 1934. Стенографический отчет. С. 225).

...посмотрите, как Сталин кует свою речь, как кованны его немногочисленные слова, какой полны мускулатуры. — Бабелевское сравнение неожиданно перекликается с одним из вариантов несколькими месяцами ранее (ноябрь 1933) написанного стихотворения О. Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны...», посвященного тому же «кремлевскому горцу»: «Как подкову, кует за указом указ — Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз...»

Если сказать словами Зощенко, это получается форменная труба. — Зощенко Михаил Михайлович (1895–1958) — советский писатель, с которым не раз сравнивали Бабеля; выражение «форменная труба» встречается в рассказах «Отхожий промысел» (1924) и «Муж» (1925).

Вслед за Горьким мне хочется сказать, что на нашем знамени должны быть написаны слова Соболева, что все нам дано партией и правительством и отнято только одно право —

плохо писать. — Соболев Леонид Сергеевич (1898–1971) — советский писатель; на восьмом, утреннем, заседании съезда 22 августа 1934 г. начал свою речь со слов: «Партия и правительство дали советскому писателю решительно все. Они отняли у него только одно — право писать плохо» (Первый всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. С. 203–204). Эти слова вспоминал Горький в упомянутой выше реплике.

Рассказы и очерки

Старый Шлойме (с. 41)
Впервые: Огни (Киев), 1913, № 6, 9 февраля.

Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна (с. 45)
Впервые: Летопись (Петроград), 1916. № 11.

Ему было объявлено, что если не выедет он из Орла с первым поездом, то будет отправлен по этапу. — В царской России постоянное проживание евреев допускалось в так называемой черте оседлости, за пределами больших городов (главным образом — в западных и южных губерниях). Исключения делались лишь для лиц с высшим образованием, людей некоторых «свободных» профессий, купцов первой гильдии. Герой рассказа, мелкий торговец, к ним не относится, поэтому ему и грозит высылка.

Мама, Римма и Алла (с. 50)
Впервые: Летопись (Петроград), 1916. № 11.

Мировой судья — служащий мирового суда, рассматривающий мелкие уголовные и гражданские дела

Домашняя щегольская серая куртка с брандебурами — куртка с короткими рукавами, застегивающаяся на пуговицы.

Девять (с. 63)

Впервые: Журнал журналов, 1916, № 49, цикл: Мои листки, подпись: Баб-Эль.

...не признает новой литературы, ни, знаете, Андреева, ни Нагродскую... — Андреев Леонид Николаевич (1871–1919), Нагродская Евдокия Аполлоновна (1866–1930) — представители «новой литературы», относившиеся в 1910-е гг. к разным культурным этажам; первый воспринимался как серьезный модернист, вторая — как автор для массового читателя, эксплуатирующий модную тему «свободной любви»; в сопоставлении этих писателей есть несомненная ирония.

Агасфер (Вечный жид) — герой средневековой легенды, еврей, осужденный Богом на вечную жизнь и скитания.

...погибла Иудея... — речь идет об Иудейском царстве, древнем еврейском государстве в Южной Палестине (ок. 928–586 до н. э.), которое в 587 г. было завоевано вавилонянами.

Вдохновение (с. 67)

Впервые: Журнал журналов, 1917, № 7, рубрика: Мои листки, подпись: Баб-Эль.

Doudou (с. 71)

Впервые: Свободные мысли, 1917, 13 марта, рубрика: Мои листки.

В щелочку (с. 74)

Впервые: Журнал журналов, 1917, № 16, рубрика: Мои листки, подзаголовок: рассказ И. Бабеля.

Повторно: Силуэты (Одесса), 1923, № 12, рубрика: из книги «Офорты».

Авторская датировка: 1915.

В примечании указывалось, что рассказ «В щелочку» царская цензура вырезала из ноябрьской книжки журнала «Летопись» за 1916 г.

Печатается по: Перевал. Сб. 6. М.; Л., 1928.

Шабос-Нахаму (с. 76)

Впервые: Вечерняя звезда (Петроград), 1918, 16 марта.

Шабос-Нахаму — еврейский религиозный праздник, суббота утешения.

Кугель с изюмом — сладкое блюдо из лапши с яйцами, напоминающее пудинг или запеканку.

Гершеле Острополлер — герой цикла популярных еврейских анекдотов, остряк и пройдоха.

...рождалось больше планов, чем у царя Соломона насчитывалось жен. — Соломон — царь Израильско–Иудейского царства (965–928 до н. э.), величайший мудрец, которому приписывается авторство нескольких книг Библии; в его гареме, согласно преданию, насчитывалось 700 жен и 300 наложниц.

На станции *(набросок с натуры)* (с. 85)

Впервые: Эра (Петроград), 1918, № 6, 13 июля.

Повторно: Русская мысль, 1996, № 4113. Публикация А. Ю. Галушкина.

Печатается по: Вестник, 1999, № 16, 3 августа. Публикация К. П. (электронный вариант).

«Набросок с натуры» был опубликован в газете-однодневке, выходившей всего неделю (8–17 июля) вместо закрытых большевиками «Эха», «Петербургского эха» и «Молвы». По проблематике и стилю он примыкает к циклу петербургских очерков, публиковавшихся писателем в газете «Новая жизнь» (см. т. 1). Однако время и место действия («Было это года два тому назад на забытой Богом станции, неподалеку от Пензы») не совпадает с маршрутами бабелевских скитаний. Возможно, это уже полноценная бабелевская новелла (центральный мотив внезапного обнаружения мертвеца напоминает экспозицию «Конармии» — «Переход через Збруч»), замаскированная под физиологический этюд.

На поле чести (с. 87)

Впервые: Лава (Одесса), 1920, № 1.

Цикл является вольной обработкой некоторых сюжетов из книги капитана французской армии Г. Видаля «Персонажи и анекдоты Великой войны» (Париж, 1918).

В мемуарно-критическом эссе «Бабель. Критический романс» (1924) В. Шкловский, вероятно, рассказывает об этой бабелевской работе: «Раз приезжий одессит, проиграв всю ночь в карты в знакомом доме, утром занявши свой проигрыш, рассказывал в знак признательности, что Бабель не то переводит с французского, не то делает книгу рассказов из книги анекдотов» (Шкловский В. Б. Гамбургский счет. М., 1990. С. 366).

Микеланджело (1475–1564) — итальянский скульптор и живописец, большинство картин которого отличается глубоким трагизмом.

Квакеры — члены религиозной христианской общины, основанной в середине XVII в. в Англии, отвергающие священников и церковные таинства.

Стон вызывал в памяти бессмертную и потешную фигуру рыцаря печального образа, трусящего на Росинанте среди цветов и возделанных полей. — Речь идет герое романа Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот» (1605–1615), Росинант — лошадь дон Кихота.

Германцы наступали на Изер. — Бои на реке Изер, на юго-востоке Франции происходили в октябре 1914 г. (так называемое Фландрское сражение).

Иисусов грех (с. 100)

Впервые: На хлеб (Одесса). Однодневная газета Южного товарищества писателей в пользу голодающих, 1921, 29 августа.

Печатается по: Бабель И. Рассказы. М., 1936.

Авторская датировка: 1922.

Прощеное воскресенье — последний день масленой недели, масленицы, накануне великого поста, когда верующие при встрече целуются и просят друг у друга прощения.

Околоточный — околоточный надзиратель, мелкий чиновник городской полиции.

Триковые брюки в клетку — брюки из шерстяной ткани с косой ниткой, похожей на чулочное вязанье.

Егерская фуфайка — шерстяное трикотажное белье; названо по имени его пропагандиста, немецкого зоолога Густава Егера (1832–1916).

Жилетку из бархата электрик — ярко-синего цвета с сероватым оттенком, особенно модного на рубеже XIX–XX вв.

Полштофа водки — приблизительно 0,6 л.

Сказка про бабу (с. 106)

Впервые: Силуэты (Одесса), 1923, № 8–9.

Повторно: Красная новь, 1924, № 4.

Баграт-Оглы и глаза его быка (с. 109)

Впервые: Силуэты (Одесса), 1923, № 12.

Анатолия — основная часть Турции, расположенная на полуострове Малая Азия.

Трапезунд (Трабзон)— портовый город на берегу Черного моря, на северо-востоке Турции.

Фелюга — небольшое парусное судно прибрежного плавания; в XIX веке его называли турецким.

Кобчик — мелкая хищная птица семейства соколиных.

Ты проморгал, капитан! (с. 111)

Впервые: Известия Одесского Губисполкома..., вечерний выпуск, 1924, № 222, 9 февраля, подпись: Баб-Эль.

Печатается по: Бабель И. Рассказы. М., 1936.

Авторская датировка: 1924.

«Галифакс» — судно, названное именем британского города-графства.

«Биконсфильд» — судно, названное именем известного английского государственного деятеля и писателя Бенджамина Дизраэли, лорда Биконсфилда (1804–1881).

У батьки нашего Махно (с. 113)

Впервые: Красная новь, 1924, № 4.

Печатается по: Бабель И. Рассказы. М., 1936.

Авторская датировка: 1923.

Махно Нестор Иванович (1889–1934) — анархист, в 1918–1921 гг. возглавлял крестьянское движение на Украине, выступавшее под лозунгами «безвластного государства», «вольных советов»; воевал и с белыми, и с красными, и с немецкими оккупантами. Упоминается в «Конармии» (новелла «Учение о тачанке») и в дневнике.

Братва наша одну хозяйку в Крапивном клепала, клепала... — глагол употребляется в сексуальном значении (в том же смысле он используется в дневнике).

Старательная женщина (с. 116)

Впервые: Перевал. Сб. 6. М.; Л., 1928.

Печатается по этому изданию.

Эта новелла, как и предшествующая, явно примыкает к конармейскому циклу. Поскольку ситуация и некоторые персонажи «Старательной женщины» и «У батьки нашего Махно» повторяются, вопреки хронологии публикации, помещаем тексты рядом, как характерные для Бабеля рассказы-дублеты.

Конец святого Ипатия (с. 119)

Впервые: Правда, 1924, № 175, 3 августа, рубрика: Из дневника.

Печатается по: Бабель И. Рассказы. М., 1936.

Авторская датировка: 1925.

Ипатьевский (Троицкий) монастырь — мужской монастырь под Костромой (основан около 1330), в котором в 1613 Михаилу Романову было объявлено об избрании его царем; закрыт в 1918 г.

Романов Михаил Федорович (1596–1645) — первый русский царь из династии Романовых, взошедший на престол в 1613 г.

Инокиня Марфа, мать царя — в миру Ксения Ивановна Шестова, получившая имя Марфа при пострижении в монахини.

Иван IV Грозный (1530–1584) — великий князь «всея Руси» (с 1533 г.), первый русский царь из династии Рюриковичей (с 1547 г.).

На биржу труда! *<Глава IX из коллективного романа «Большие пожары»>* (с. 122)

Впервые: Огонек, 1927. № 9. С. 8–9.

Печатается по этому изданию.

Идею коллективного романа «Большие пожары» придумал главный редактор журнала «Огонек» М. Кольцов (он же сочинил и последнюю главу). Кольцов привлек к «проекту» 25 писателей, среди которых были М. Зощенко, В. Каверин, Б. Лавренев, Л. Леонов, А. Толстой, К. Федин и др. Они сочиняли главу за главой без всякой предварительной договоренности.

Первую главу, завязку фабулы предложил А. Грин. В городе Златогорске две недели происходят таинственные пожары. Разобраться в событиях и написать об этих то ли пожарах, то ли поджогах собирается репортер Берлога: «Старожилы сообщили нам в редакции, что двадцать лет назад, в, так сказать, мрачные времена царизма, Златогорск пережил подобную же серию пожаров, и поручили мне открыть это для трудящихся читателей». Вместе с делопроизводителем Мигуновым он едет в архив, чтобы отыскать старое судебное дело № 1057. Передача дела Берлоге сопровождается внезапным появлением и исчезновением желтой бабочки, «пламенной сильфиды», похожей на «странный цветок». После ухода героев в архиве тоже начинается пожар.

Бабель отступает от исходной коллизии, развивая иную сюжетную линию. В это же время в Златогорске появляется таинственный иностранец, восьмидесятипятилетний старик, и возводит в городе «чудовищный особняк». С визитом в этот особняк приходит сыщик Куковеров, выдающий себя за инженера (его ввел в 8 главе писатель Вл. Лидин). Эта встреча пародийно изображается в бабелевской главе. Таинственный иностранец оказывается евреем из Белостока, мечтающим построить в СССР тракторный завод. Забавные персонажи-монстры из «бывших» представлены элементарными бездельниками, людьми не на своем месте. Неоднократно повторяющийся в главе оборот «как известно», иронически намекает на предшествующие изобразительные и психологические излишества, встречавшиеся у других авторов.

Подробнее о творческой истории и фабуле «Больших пожаров» см.: Быков Д. Большие пожары: Роман двадцати пяти писателей // Огонек. 2001. № 21. С. 40–43.

Фрагменты романа (9 глав) см.: Новая Юность. 2004. № 1–2 (публикация Е. Голубовского).

Бахметьевы — старинный русский дворянский род, известный в России с середины XV в.

Нефть **(с. 128)**

Впервые: Вечерняя Москва, 1934, № 37, 18 февраля.

Печатается по: Бабель И. Рассказы. М., 1936.

Крекинг — процесс переработки нефти для получения моторного топлива и химического сырья.

ГОРТ — городское управление торговли.

Гипромез — государственный институт по проектированию металлургических заводов.

Меня взорвало, сдерживаться не сочла нужным и левиты прочитала ей по-настоящему... — Левиты — служители религиозного культа у древних евреев; здесь: нравоучение.

ВСНХ — Высший совет народного хозяйства, центральный орган по управлению промышленностью в 1917–1932 гг.

Улица Данте (с. 135)

Впервые: 30 дней, 1934, № 3, март.

Печатается по: Бабель И. Рассказы. М., 1936.

В машинописном экземпляре (ЦГАЛИ, ф. 622, оп. 1, ед. хр. 42) есть подзаголовок «из парижских рассказов», и после фразы «С этой мыслью я уехал в Марсель» следует: «Там увидел я родину свою — Одессу, какою она стала бы через двадцать лет, если бы ей не преградили прежние пути, увидел неосуществившееся будущее наших улиц, набережных и кораблей» (См.: Бабель И. Сочинения. Т. 2. М., 1990. С. 564).

«Богема» (1895) — опера итальянского композитора Джакомо Пуччини (1858–1924).

Гранд-Опера — государственный оперный театр в Париже, официальное название — Национальная академия музыки и танца.

Макон по четыре франка за литр поправил моего друга — сорт вина, названного по имени города, где оно производится.

Аперитив — слабоалкогольный напиток, употребляющийся для пробуждения аппетита.

Латинский квартал — место, где находится Парижский университет и множество научных институтов, центр французского образования и науки.

Дантон Жорж Жак (1759–1794) — деятель Великой французской революции, один из вождей якобинцев.

Сулак (с. 142)

Впервые: Молодой колхозник, 1937, № 6.

Сельрада (*укр.*) — сельский совет

Тру́сы — кролики.

Суд (с. 146)

Впервые: Огонек, 1938, № 23, август, раздел: Из записной книжки.

Геральдические книги — книги о родословии и гербах дворянских фамилий, составлявшиеся, в том числе, и по российским губерниям.

...вы эмигрировали вместе с Врангелем... — Врангель Петр Николаевич (1878–1928) — барон, один из руководителей Белого движения в Гражданскую войну, с 1920 г. главком так называемой Русской армии на юге России, части Врангеля ушли из Крыма под натиском Красной армии в ноябре 1920 г.

... о Голгофе русского офицерства. — Голгофа — холм в окрестностях Иерусалима, на котором был распят Иисус Христос; в переносном смысле: страдания, мученичество.

Великая Криница (с. 149)

Рассказы из цикла «Великая Криница» опираются на наблюдения за украинским селом эпохи коллективизации. В феврале 1930 года Бабель побывал в деревнях Бориспольского района, в том числе в Великой Старице. Через год, собираясь туда повторно, он сообщал сестре и матери: «Хочу еще побывать в приснопамятной Великой Старице, оставившей во мне одно из самых резких воспоминаний за всю жизнь. Потом проеду южнее на несколько дней в новые еврейские “мужичьи” колонии. Потом обратно в Молоденово» (Ф. А. Бабель и М. Э. Шапошниковой, 11 февраля 1931 г.).

Рассказ «Гапа Гужва» был опубликован в журнале «Новый мир» (1931, № 10) с подзаголовком «Первая глава из книги “Великая Криница”» и авторской датой «весна 1930 г.». Причины замены подлинного названия села писатель пояснил в письме редактору «Нового мира» Вяч. Полонскому: «Пришлось изменить

название села — для избежания сверхкомплектного поношения» (13 октября 1931 г.).

Сохранившийся в рукописи рассказ «Колывушка» имел подзаголовок с реальным названием села — «Из книги “Великая Старица”» — и авторской датой «весна 1930 г.». Рассказ был опубликован в Нью-Йорке в альманахе «Воздушные пути» лишь в 1963 году, в СССР — впервые в журнале «Звезда Востока» (1967, № 3).

Журнал «Новый мир» анонсировал на 1932 год рассказ «Адриан Маринец» (этот «безмолвный» колхозный активист несколько раз упоминается в «Колывушке»), но он так и не был опубликован.

Работа над книгой, вероятно, продолжалась до самого ареста Бабеля. 28 сентября 1937 года на творческой встрече в Союзе писателей он, помимо прочего, говорил: «Мне очень хочется писать о селе, о коллективизации (вот что меня сейчас занимает), о людях во время коллективизации, о переделке сельского хозяйства. Это самое большое движение нашей революции, кроме гражданской войны. Я более или менее близкое участие принимал в коллективизации 1929–1930 годов. Я несколько лет пытаюсь это описать. Как будто теперь у меня это получается».

Однако другие рассказы задуманной Бабелем книги неизвестны.

Киносценарии и пьеса

Китайская мельница ***(Пробная мобилизация)*** **(с. 167)**

Впервые: Бабель И. Э. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 2. С. 496–516.

Сценарий написан в 1926 году, фабула его позаимствована из одноименного фельетона в газете «Комсомольская правда». В связи с событиями в Китае китайская тема и персонажи-китайцы неоднократно появляются в литературе 1920-х годов: повесть Вс. Иванова «Бронепоезд 14-69» (1922), популярная детская книга П. Бляхина «Красные дьяволята» (1923).

В 1927 г. по сценарию был снят фильм (режиссер А. Левшин), премьера состоялась в июле 1928 г. В письме Т. В. Кашириной (Ивановой) 10 января 1928 г. писатель называл его «комсомольским», возможно имея в виду не только источник, но и облегченность, «молодежность» проблематики.

Избач-комсомолец — работник избы-читальни (культурные учреждения, создававшиеся в селах в первые годы советской власти).

Детектор (детекторный радиоприемник) — простейший радиоприемник, в котором принятые сигналы радиостанций не усиливаются, а лишь преобразуются в звуковые сигналы (детектируются) контактным кристаллическим детектором.

КИМ — Коммунистический Интернационал молодежи, международная молодежная организация, существовавшая в 1919–1943 гг. и являвшаяся секцией Коминтерна.

Авиахим (Осоавиахим) — Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству, общественная организация, существовавшая в Советском Союзе в 1927–1948 гг.

Мопр — Международная организация помощи борцам революции, создана в конце 1922, прекратила деятельность в 1939 гг.

О-во спасания на водах — Освод, Общество спасания на водах, общественная организация, возникшая в 1870-е гг. как Общество подания помощи при кораблекрушениях, в 1890 г. переименованная в Освод и просуществовавшая в СССР до 1943 г.

Гоминьдан (буквально — национальная партия) — политическая партия в Китае, в 1920 гг. сотрудничавшая с коммунистами, а в 1930-е гг. боровшаяся с ними.

Николай-угодник (Николай Чудотворец) (предположительно 260–343) — святитель, прославившийся многочисленными чудесами при жизни и после смерти; один из наиболее почитаемых святых на Руси: заступник «сирых и убогих», покровитель плавающих и путешествующих, а также земледельцев.

Волховстрой — строительство ГЭС (гидроэлектростанции) на р. Волхов, первой районной ГЭС в СССР; начато в 1918 г. по плану ГОЭЛРО (государственной электрификации), окончено в 1926 г.; станция получила имя В. И. Ленина.

ВЦИК — Всероссийский Центральный исполнительный комитет, в 1917–1937 гг. верховный законодательный, распорядительный и контролирующий орган РСФСР.

Мария (с. 201)

Впервые: Театр и драматургия, 1935, № 3. С. 45–59.

Бабель И. Мария. М., 1935.

Журнальную публикацию сопровождала печатавшаяся в подбор, внизу страницы, статья И. Лежнева «Новая пьеса Бабеля» (с. 46–57). Сначала критик уличал автора в идеализации прошлого. «Сюжет пьесы, обрисованные в ней характеры, ситуации, разговоры живых людей — все построено так, что зрителю (буде дошло бы дело до постановки Марии в том виде, в каком она написана сейчас) взгрустнется: какие хорошие люди погибли. Какие нежные цветы раздавлены топотом революции! Собственно даже не топотом, ибо в топоте есть свой пафос. В пьесе этого пафоса революционной новизны, который противопоставлялся бы старому миру, совсем нет. Не молодая буйная сила восходящего класса давит героев пьесы, а невидимая фатальная махина: заградиловка, “матросня”, Чека» (с. 49).

Далее, видимо, с опорой на бабелевские суждения, высказывалась идея о связи пьесы с книгой «Конармия» и ее возможном продолжении: «Углубляешься в материал, и напрашивается мысль: не есть ли пьеса и вся задуманная автором трилогия — повесть о судьбе одного из политработников Конармии, женщины, пришедшей на красный фронт из санкт-петербургского аристократического особняка на Миллионной? Не понадобилось ли автору в

порядке развертывания сюжета показать сперва “истоки” его героини, разрушение родного ей гнезда, от которого она в 20-м году еще не оторвалась? Судить об этом преждевременно» (с. 52–53).

В финале статьи Лежнев пытался защитить идейную «ущербность» автора его же художественностью и более подробно излагал замысел трилогии (других свидетельств о ней, кажется, не сохранилось). «Новая пьеса показала, что Бабель пренебрегает многим весьма важным именно для советского писателя, для социалистического реализма, что он, с другой стороны, многим злоупотребляет (пять пар). Но та же пьеса показала настоящее мастерство Бабеля в построении вещи, в обрисовке персонажей, в развертывании сюжета, в диалоге, в экономичности красок, в образности языка.

Мария, как мы слышали, является первым звеном трилогии, в которой действие охватывает период с 1920 по 1935 год. Дальше мы увидим Марию не только в названии пьесы, но и в самой пьесе, узнаем ее не только по отзывам да по письму, но и в живом слове и действии.

Автору надо освободиться от политических ошибок, от пренебрежения к истории и правде революционной действительности, от диспропорций в широте обобщения социальных типов, от злоупотребления эротикой. Если он освободится от вреднейших ошибок и хвостов, то при большом своем мастерстве несомненно сумеет дать в дальнейших частях трилогии настоящий “хлеб” искусства. Этого мы вправе от него ждать и требовать» (с. 57).

Сохранилось ценное дневниковое свидетельство А. К. Гладкова о чтении пьесы:

«1934 год

28 февраля

В помещении Литературного музея в Ваганьковском переулке И. Бабель читает пьесу «Мария» и новый рассказ «Улица Данте». Читает он превосходно, под сплошной смех. И сам он тоже симпатично смешной, с носом пуговкой, в круглых очках с немодной

оправой, с какими-то выразительнейшими, вкусно артикулирующими губами, с лукавой усмешкой... Чтение так ярко, что до сих пор помню все интонации. «Мария» — вещь гениальная, рассказ «Улица Данте» тоже мастерский, но более инерционный. «Мария» очень трудна будет для театра своей простотой и лаконизмом. Не знаю, правомерно ли такое сравнение, но мне захотелось сказать, что она почти так же трудна, как трудны для сцены маленькие драмы Пушкина. Почему-то народу было не очень много... Я долго не мог прийти в себя от этого редкого праздника искусства» (Гладков А. Театр. Воспоминания и размышления. М., 1980. С. 17–18).

Коцнули — убили.

Заградиловка — заградительный отряд; вооруженные отряды, в первые годы советской власти боровшиеся с мешочниками, и вообще, с людьми, осуществлявшими товарообмен между деревней и городом.

Царское Село — пригород в 25 км к югу от Петербурга, позднее — г. Пушкин.

Бризантный снаряд — осколочный или осколочно-фугасный артиллерийский снаряд с дистанционным взрывателем для поражения противника в траншеях и складках местности

Цимис (цимес) — буквально: старинное еврейское национальное сладкое блюдо, приготовленное из моркови и других овощей с добавлением различных фруктов и ягод; здесь: сладость, удовольствие.

Краги — накладные кожаные голенища, носившиеся с ботинками, или высокие кожаные отвороты на перчатках.

Буржуйка — железная печь-времянка, устанавливающая в городских квартирах в годы гражданской войны, когда не работало централизованное отопление.

Семеновская трагедия — восстание солдат лейб-гвардии Семёновского полка в октябре 1820 в Петербурге против жестокостей и муштры, которое было жестоко подавлено; полк расформи-

рован, несколько зачинщиков сосланы на каторгу, многие отправлены в Сибирь, на Кавказ и в отдаленные гарнизоны.

Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834) — граф, государственный и военный деятель эпохи Павла I и Александра I.

Иван I Калита (до 1296–1340) — великий князь московский (с 1325), объединитель русских земель, значительно пополнивший казну, за что и получил свое прозвище («Калита» — кошель, сумка).

Сальтисон (кендюх) — нафаршированный мясом и луком запеченный свиной желудок.

Политотдел — политический отдел; орган, созданный большевиками в частях армии и флота для пропагандистской работы и надзора за старыми военными специалистами.

Распутин и немка Алиса, погубившая династию — Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1864 или 1865, по другим данным 1872–1916) — крестьянин Тобольской губернии, получивший известность прорицаниями и исцелениями; оказывал помощь больному гемофилией наследнику престола великому князю Алексею Николаевичу, имел огромное влияние на императора Николая II, убит заговорщиками под руководством князя Ф. Юсупова (см. ниже). Алиса — императрица Александра Федоровна, до обращения в православие — Алиса Гессен Дармштадтская (1872–1918), жена императора Николая II, ее часто обвиняли в предательстве и защите интересов Германии.

Гейне Генрих (1796–1856) — немецкий поэт и публицист.

Спиноза Бенедикт (Барух, 1632–1677) — нидерландский философ.

Юсупов Феликс Феликсович (Младший) (1887–1957) — князь, женатый на племяннице Николая II; организатор и участник убийства Г. Е. Распутина (1916).

Фредерикс Владимир Борисович (1838–1927) — граф, государственный деятель, министр императорского двора (с 1897), один из приближенных императора Николая II)

Сергей Александрович (1857–1905) — великий князь, сын императора Александра II, московский генерал-губернатор (с 1891), убит террористом И. П. Каляевым.

Яр — глубокий заросший овраг.

Милый мой строен и высок, Милый мой ласков и жесток, Больно хлещет шелковый шнурок... — Цитируется популярный в начале XX века жестокий романс неизвестного автора.

Спесивцева Ольга Александровна (1895–1991) — балерина, в 1913–1924 г. работала в Мариинском театре, открыла новую эпоху экспрессионистского танца.

Павлова Анна Павловна (1881–1931) — балетная танцовщица, с 1899 г. в Мариинском театре, с 1910 г. гастролировала с собственной труппой во многих странах.

Я знал одной лишь силы власть. / Одну, но пламенную страсть... — Неточная цитата из поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри» (1839); у Лермонтова — «думы власть».

Трехкаратники... — Карат — ювелирная мера, применяемая при взвешивании драгоценных камней и равная 200 мг.

Триппер, гонорея — инфекционное заболевание, передающееся половым путем.

Ликбез — ликвидация безграмотности; кружки и школы, организуемые после революции для обучения грамоте.

...Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падая в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода... Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел... — Евангелие от Иоанна, гл. 12, ст. 24–27, предсказание Иисусом своей смерти после входа в Иерусалим.

Чека — сокращенное название Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем, созданной в декабре 1917 г. для борьбы со всеми противниками новой власти и, вообще, инакомыслящими.

Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) — русский военачальник, участник первой мировой войны, с 1920 г. служил в Красной армии; имя упоминается в бабелевском дневнике.

Строгановы — крупнейшая фамилия купцов и промышленников XVI–XX вв.

Хочь на Гороховой — то есть в Чека, Петроградское отделение которой находилось на Гороховой улице, дом 2; этот адрес упоминается в рассказе «Дорога» (см. Т. 1).

Скакал казак через долину... — Баллада на стихи неизвестного автора; заканчивается возвращением героя в родные края, узнающего об измене любимой и кончающего жизнь самоубийством.

<Фрагменты сценария по роману Н. Островского «Как закалялась сталь»> (с. 257)

Во многом автобиографический первый роман участника гражданской войны Николая Алексеевича Островского (1904–1936) «Как закалялась сталь» появился в драматических обстоятельствах. Получивший на войне тяжелое ранение, Островский сочинял свою книгу ослепший и прикованный к постели, пользуясь помощью друзей, знакомых, издательских редакторов. После публикации (ч. 1 — 1932; ч. 2 — 1934) роман был не только воспринят многими как торжество человеческого духа, но и объявлен образцовым произведением социалистического реализма, что обеспечило особое внимание к нему. История бабелевской работы над сценарием по заказу Ю. И. Солнцевой кратко изложена в мемуарах А. Н. Пирожковой (см. т. 4). Упоминаемый мемуаристкой полный его текст неизвестен. Экранизация также не состоялась. Фильм по роману «Как закалялась сталь» поставил в 1942 г. режиссер М. Донской: позднее появились еще две экранизации (1957, 1974).

Немцы на Украине

Впервые: Литературная газета, 1938, 30 октября.

Повторно: Красноармеец, 1938, № 9/10, октябрь

Печатается по: Бабель И. Э. Избранное / Сост. В. Я. Вакуленко. Фрунзе, 1990.

Эпизод опирается на материал второй и третьей главы первой части романа, но Бабель по-иному строит действие, меняет конфигурацию персонажей и психологические мотивировки.

Шепетовка — станция в Волынской губернии.

Вильгельм II (1859–1941) — германский император и прусский король в 1888–1918 гг.; в 1918 г. свергнут в результате революции, бежал в Нидерланды и отрекся от престола.

Хедер — еврейская религиозная начальная школа.

Трансмиссия (силовая передача) — механизм для передачи энергии от двигателя к потребителю; используется в станках, тракторах, автомобилях.

В тюрьме у Петлюры

Впервые: Литературная газета, 1938, 30 октября.

Повторно: Красноармеец, 1938, № 12, ноябрь.

Печатается по: Бабель И. Э. Избранное / Сост. В. Я. Вакуленко. Фрунзе, 1990.

Эпизод опирается на шестую главу первой части романа. И здесь Бабель довольно далеко отходит от текста Островского.

Жупан — теплая верхняя одежда на Украине; зипун, короткий кафтан.

Старая площадь, 4 **(с. 268)**

Впервые: Искусство кино, 1963, № 5.

Авторская датировка на титульном листе: Ленинград, 20.IV.39.

Сценарий предполагался к постановке на киностудии «Союздетфильм» в 1939 г., но, конечно, не мог быть осуществлен после ареста Бабеля.

Верфь — предприятие для постройки судов или дирижаблей.

Эллинг — сооружение, оборудованное для строительства судов (здесь — дирижаблей), основная часть верфи.

Газгольдер — стационарное стальное сооружение для приема, хранения и выдачи газов в распределительные газопроводы или установки по их переработке и применению.

...сочувствующего с 1927 года... — На публицистическом жаргоне советской эпохи, сочувствующие — люди, симпатизирующие Советской власти, но не разделяющие всех послереволюционных изменений.

Рейсфедер — чертежный инструмент для проведения тонких линий тушью или краской.

Совнарком (СНК) — Совет народных комиссаров.

ИТР — инженерно-технические работники.

Штрудель — яблочный пирог.

НКВД — народный комиссариат внутренних дел.

Вредитель — на идеологическом языке эпохи действующий противник советской власти, разнообразными действиями мешающий социалистическому строительству.

Три перста — два перста... Старая вера... Никониане!.. — Имеется в виду спор между сторонниками и противниками патриарха Никона (1605–1681), осуществившего в 1653–1655 гг. церковно-обрядовую реформу, расколовшую русскую церковь. Сторонники Никона, никониане, должны были, помимо прочего, креститься тремя пальцами, староверы остались при двоеперстии. Для бабелевского героя подобные споры — бесполезные словопрения, схоластика.

Коккинаки Владимир Константинович (1904–1985) — известный летчик-рекордсмен, в 1930-е гг. занимался высотными полетами, Герой Советского Союза (1938).

...коллектива стахановской столовой... — Стахановцы — последователи шахтера А. Г. Стаханова, передовики производства, устанавливающие рекорды в различных областях производства; стахановское движение было организовано в годы второй

пятилетки, с 1935 г.; Бабель здесь использует популярные политические лозунги.

Громов Михаил Михайлович (1899–1985) — известный летчик, в 1934 г. за установление рекорда дальности полета по замкнутой кривой удостоен звания Героя Советского Союза.

Публицистика
Статьи, мемуары, выступления

В доме отдыха (с. 328)

Впервые: Заря Востока, 1922, № 5, 24 июня, подпись: К. Лютов.

Совпроф — совет профессиональных союзов, общественная организация, которая должна была защищать права трудящихся.

«Камо» и «Шаумян» (с. 331)

Впервые: Заря Востока, 1922, № 61, 31 августа, подзаголовок: Письмо из Батума, подпись: К. Лютов.

Римское право — система права Древнего Рима, основанная на частной собственности и регулирующая различные виды имущественных отношений и вещных прав; стала основой законодательства во многих странах.

Соглашение Красина с Ллойд-Джорджем… — Вероятно, речь идет об англо-советском торговом соглашении, подписанном в марте 1921 г. советским полпредом Леонидом Борисовичем Красиным (1870–1926) и премьер-министром Великобритании Дэвидом Ллойд-Джорджем (1863–1945).

Мальтийский кавалер — почетный титул основанного в XII веке духовно-рыцарского ордена иоаннитов, религиозной католической организации, в 1530–1798 имевшей резиденцию на острове Мальта и потому получившей название Мальтийского ордена.

Триест — город-порт в Италии, в Триестском заливе Адриатического моря.

Хайфа — город на Средиземном море, в современном Израиле.

Яффа — город в Палестине, ныне — часть Тель-Авива.

Без родины (с. 335)

Впервые: Заря Востока, 1922, № 73, 14 сентября, подзаголовок: Письмо из Батума, подпись: К. Лютов.

Медресе и школа (с. 338)

Впервые: Заря Востока, 1922, № 73, 14 сентября, рубрика: Письма из Аджарии, подпись: К. Лютов.

Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения.

Нарообраз — народное образование

Главполитпросвет и агитпроп парткома — главный политико-просветительный и агитационно-пропагандистский отдел партийного комитета.

Гагры (с. 343)

Впервые: Заря Востока, 1922, № 79, 22 сентября, рубрика: Абхазские письма, подпись: К. Лютов.

Принц Ольденбургский — Александр Петрович (1844–1932), генерал от инфантерии, сенатор, много занимался благотворительностью, заботился о развитии курорта Гагры.

Шафранные люди в стукалках и вицмундирах — люди с лицами желтоватого цвета в форменных сюртуках.

Безумие Гойи — Гойя Франсиско (1746–1828) — испанский живописец и гравер; говоря о безумии, Бабель, вероятно, имеет в виду трагический характер картин и графических работ Гойи, особенно серии «Бедствия войны».

Табак (с. 345)

Впервые: Заря Востока, 1922, № 112, 22 октября, подзаголовок: Письмо из Батума, подпись: К. Лютов.

Наркомсобес — народный комиссариат социального обеспечения.

Коммунхоз — коммунальное хозяйство.

В Чакве (с. 350)

Впервые: Заря Востока, 1922, № 141, 3 декабря, подзаголовок: От нашего специального корреспондента.

Повторно: Известия Одесского губисполкома..., 1923, 25 марта, подзаголовок: Из кавказского дневника.

Хамеропс — хамеропс приземистый, низкорослая пальма, неприхотливое декоративное растение, распространенное на Черноморском побережье Кавказа и в Крыму.

Драценовые пальмы — род древовидных растений или кустарников семейства агавовых, имеют множество видов, растут в тропиках и субтропиках.

Ремонт и чистка (с. 355)

Впервые: Заря Востока, 1922, № 150, 14 декабря, рубрика: Абхазские письма.

«Паризот» и «Юлия» (с. 358)

Впервые: Известия Одесского Губисполкома..., вечерний выпуск, 1924, 17 марта, подпись: Баб-Эль.

Эфенди — титул-обращение к духовным лицам у мусульман-суннитов; здесь: вообще, вежливое обращение к уважаемому человеку.

< Выступление на заседании секретариата ФОСП > (с. 360)

Впервые: Памир, 1974, № 6.

В связи с этим выступлением Дана рождается ряд вопросов. — Речь идет о мифическом интервью с Бабелем, которое польский журналист Александр Дан поместил в газете «Wiadomosci literackie». На его основе писатель Бруно Ясенский опубликовал статью «Наши на Ривьере» («Литературная газета», 1930, № 28, 10 июля), в которой содержались резкие обвинения против писателя. Выступление Бабеля, состоявшееся 13 июля 1930 г., представляет полемику с этой публикацией, сыгравшей роль политического доноса. 15 июля та же «Литературная газета» поместила заметку-опровержение «Против клеветнических выпадов буржуазной печати по адресу советских писателей».

Ясенский Бруно (1901–1941) — польский и русский советский писатель, в 1925–1929 гг. жил в Париже, потом вернулся в СССР, автор романа-памфлета «Я жгу Париж» (1928).

Зеленым мальчиком я попал к Горькому и двадцати лет — в ноябре 1916 года — напечатал свою первую вещь в горьковской «Летописи». — Речь идет о рассказах «Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна» и «Мама, Римма и Алла» (Летопись, 1916, № 11).

Жига Иван Федорович (1895–1949) — прозаик, участник Октябрьской революции и гражданской войны.

«Попутническая» литература — на официальном жаргоне послереволюционной эпохи произведения писателей, сочувствующих Советской власти, но не принадлежащих к так называемой «пролетарской» литературе. Резкость этого заявления объясняется, помимо прочего, тем, что самого Бабеля причисляли к писателям-попутчикам.

<О работниках новой культуры> (с. 364)

Впервые: Литературная газета», 1936, 31 марта, подзаголовок: Из речи тов. И. Бабеля.

Печатается по: Бабель о своем творчестве, о Николае Островском и Д. А. Фурманове. Выступление в Союзе советских писате-

лей 31 марта 1936 года / Публикация М. В. Литвиненко // Встречи с прошлым. Вып. 2. 1980. С. 209–213.

Это правленая автором стенограмма выступления на общемосковском собрании писателей 21 марта 1936 г. в связи со статьями «Правды» о формализме. Наиболее существенные сокращения приводятся ниже.

...начинать с Джойса и Пруста невозможно. — Джойс Джеймс (1882–1941) — ирландский писатель, автор романа «Улисс» (1922); Пруст Марсель (1871–1922), автор семитомной субъективной эпопеи «В поисках утраченного времени» (1913–1927); авторы, ставшие в литературе XX века образцом модернистского эксперимента и сложности художественного письма.

Заявление, важность которого... нельзя переоценить. — Далее зачеркнуто: «Конечно, все эти ошибки в расстановке симпатий, в расстановке значений — они неизбежны. Надо нам людей учить грамоте; нашим советским гражданам, новым людям, надо давать сначала чтение неизысканное, надо давать не формалистические выверты, а давать полезное и здоровое чтение *(голоса, шум: "А потом можно давать? А Пруста можно давать?")*. — Пруста сначала давать нельзя».

Меня упрекают в малой продуктивности. — Далее зачеркнуто: «Нужно сказать, что я в этом деле рецидивист, так что если меня судить, то нужно строго».

Людовик XIV сказал когда-то: «Королевство — это я». — Людовик XIV (1638–1715) — король Франции с 1643 г., ставший олицетворением французского абсолютизма; поэтому ему и приписывают афоризм: «Государство — это я».

Это начало становиться серьезным. — Далее зачеркнуто: «Тогда я сел и серьезно подумал, что вот от кого я ушел, мне перестал нравиться я, и я ушел от самого себя».

И тут, товарищи, впервые за несколько лет я почувствовал легкость в работе и прелесть ее. — Далее зачеркнуто: «Вернувшись к себе, поняв те способности и чувства, которые у меня есть,

решив говорить со страстью о том, что я люблю и о том, что не люблю, я подумал, что я не должен забывать о том, что я — гражданин Советского Союза. Тут мне помогло отсутствие графомании в моем характере.

Совершенно неинтересно, напишет ли тов. Бабель хорошую книгу или нет. Это теперь его личное дело. Важно, что тов. Бабель является созидателем новой социалистической культуры. Я взял себя в последнюю проверку».

Серебрянский Марк Исаевич (1900/1901–1941) — советский литературный критик.

Фурманов Дмитрий Андреевич (1891–1926) — писатель, автор основанного на биографическом материале романа «Чапаев» (1923), положившего начало мифологизации этого героя гражданской войны.

Островский Николай Алексеевич (1904–1936) — писатель, автор автобиографического романа «Как закалялась сталь» (1932–1934), который долгое время считался образцом социалистического реализма. Фрагменты бабелелевского сценария по роману см. ранее.

Огненное содержание побеждает несовершенство формы. — Далее зачеркнуто: «Эти книги формируют души. Они неискусно написаны, это мы знаем. Я не умею определять формализм в таком его утилитарном значении. Но я считаю, что прекрасное содержание предопределяет прекрасную форму и что там, где нет одного или другого, то недостаток там органический. Я не стану говорить о достоинствах формальных или стилистических книги Островского, но скажу, что меня, чрезвычайно строгого читателя, книга Островского поразила. Давайте честно говорить».

<Фурманов> **(с. 369)**

Впервые: «Москва», 1963, № 4.

Выступление Бабеля 15 марта 1936 г. в Союзе писателей на вечере, посвященном десятилетию со дня смерти Д. Фурманова. У Бабеля сложились хорошие отношения с этим писателем-ком-

мунистом. Фурманов был редактором «Конармии». Письма Бабеля Фурманову см. в т. 4.

Вместе с одним французским писателем... — Андре Мальро (1901–1976), давний знакомый Бабеля, который посетил Горького во время поездки по СССР.

Два дня тому назад в этом же зале вспоминали Багрицкого. — Поэт умер 16 февраля 1934 г.

Когда я смотрел эту картину... — речь идет о кинофильме братьев Васильевых «Чапаев» (1934), давшем новую жизнь герою романа Фурманова.

Багрицкий (с. 373)

Впервые: Эдуард Багрицкий. Альманах. Под редакцией В. Нарбута. М., 1936.

Виллон (Вийон, Вильон) Франсуа (1431 или 1432 — после 1463) — французский поэт, нищий и бродяга, поэзия которого строится на дерзком, циничном переосмыслении традиционных ценностей и воспевании простых радостей бытия.

Бен-Акиба — вероятно, речь идет о раввине Бен Акибе, идейном вдохновителе антиримского восстания в Иудее в 132–135 гг.

М. Горький (с. 375)

Впервые: СССР на стройке, 1937, № 4.

Бабель был не только автором, но и создателем этого номера журнала, посвященного памяти Горького. «И. Бабель, составивший план номера, написавший блестящую передовую и мастерски смонтировавший фотоиллюстративный материал горьковского номера, показал себя талантливейшим журналистом». (Литературная газета, 1937, № 39, 20 июля).

В 1898 году в издательстве Дороватовского и Чарушникова появилась книга рассказов автора со странным именем — Максим Горький. — Речь идет о первом томе трехтомного издания Горького «Очерки и рассказы» (1898–1899).

Переписка его, превосходящая по объему и непосредственным результатам эпистолярное наследие Вольтера и Толстого... — Переписка Горького, действительно, огромна и полностью до сих пор не издана. Письма Толстого в его собрании сочинений занимают около 30 томов из 90. Переписка Вольтера издана в 107 томах.

Путешествие во Францию **(с. 377)**

Впервые: Пионер, 1937, № 3.

Бальзак Оноре де (1799–1850) — французский писатель-реалист, автор цикла «Человеческая комедия», состоящего из 90 романов и рассказов.

Гюго Виктор Мари (1802–1885) — французский писатель-романтик, романист, поэт, драматург, теоретик искусства.

Вольтер (настоящее имя Мари Франсуа Аруэ, 1694–1778) — французский писатель и философ-просветитель, один из идеологов Великой французской революции.

Робеспьер Максимильен (1758–1794) — известный деятель Великой французской революции, казнен на гильотине после термидорианского переворота.

Незабываемы для меня дни, проведенные в Марселе, на берегу Средиземного моря, «под небом, вечно голубым», под щедрым, сверкающим солнцем. — Бабель был в Марселе в октябре — ноябре 1927 г.; см. его письма в т. 4.

Сейчас во Франции правительство, опирающееся на народный фронт. — Правительство Народного фронта, объединения левых сил при активном участии коммунистов существовало во Франции в 1936–1938 гг.

Площадь Бастилии — площадь в центре Парижа, сооруженная на месте разрушенной во время Великой французской революции одноименной крепости.

...приехали на Конгресс защиты культуры... — Речь идет о Международном конгрессе писателей в защиту культуры (Париж, 1935), участником которого был Бабель.

Вайян-Кутюрье Поль (1892–1937) — французский писатель-коммунист, друг СССР, неоднократно бывавший в стране; автор книг «Месяц в Красной Москве» (1925) и «Строители новой жизни» (1932).

Стенная роспись, выполненная художником Люрса... — Имеется в виду художник-самоучка Жан Люрса (1892–1966) или его брат архитектор Андре Люрса (1894–1970).

<О творческом пути писателя> (с. 392)

Впервые: Наш современник, 1964, № 4.

Стенограмма беседы И. Бабеля с участниками вечера в Союзе писателей 28 сентября 1937 г.

Встреча проводилась по инициативе журнала «Литературная учеба». Бабель прочел рассказы «Ди Грассо» и «Справка». В стенограмме выступления сохранилась следующая концовка : «Что касается нашей дальнейшей работы, то в следующий раз мы сделаем так: нужно отправляться от конкретного, чтобы не получилось "взгляд и нечто". Я прочту, и тогда у нас пойдет бой. О подросших своих детях я не буду говорить, пусть они живут, как хотят, они уже большие, а тут я буду драться, как лев» (ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 17, ед. хр. № 57).

«Хаджи-Мурат» — повесть Л. Толстого, писавшаяся в 1896–1904 гг., была опубликована посмертно, в 1912 г.

Всем известна книга Горького «Рассказы о Толстом»... — речь идет о мемуарном очерке М. Горького «Лев Толстой» (1919), который неоднократно издавался отдельной книжкой.

..мы приближаемся ко времени «гамбургского счета», как писал когда-то Шкловский. — Критик и теоретик искусства Виктор Борисович Шкловский (1893–1984) ввел это выражение в одноименной книге (1928); оно означает: объективно, справедливо, без привходящих обстоятельств.

Шолохов Михаил Александрович (1905–1984) — писатель, лауреат Нобелевской премии (1965); к 1937 году, когда Бабель говорил о нем, был автором «Донских рассказов» (1926), первой

книги «Поднятой целины» (1932) и первых трех книг «Тихого Дона» (Кн. 1–4, 1928–1940).

Катаев Валентин Петрович (1897–1986) — писатель, повесть «Белеет парус одинокий» (1936) стала первой книгой тетралогии «Волны Черного моря» (1936–1961).

В первом вашем рассказе у вас написано «добрые ноги». Я не понимаю, как можно писать о ногах — добрые или злые. Во втором рассказе есть фраза: «Он замотал головой, как вспугнутая птичка». Если она вспугнута, то она улетит. — В окончательных редакциях бабелевских рассказов эти образы отсутствуют. Однако принцип сопряжения «далековатых образов» — один из ключевых в его поэтике. «Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты» («Мой первый гусь»).

Считаете ли вы, что Юрий Олеша уже выдохся или он будет еще писать? — С конца 1920-х гг. Юрий Карлович Олеша (1899–1960), как и Бабель, много работал, но редко публиковался. Его итоговая книга «Ни дня без строчки» (издавалась также под заглавием «Книга прощания»), основанная на дневниковых записях, появилась лишь после смерти.

<Утесов> **(с. 404)**

Впервые: Москва, 1964, № 9.

Предисловие к рукописи Л. Утесова «Записки актера» (1939). После ареста писателя публикация не состоялась.

Утесов Леонид Осипович (1895–1982) — советский эстрадный певец, уроженец Одессы, поддерживал с Бабелем дружеские отношения, написал короткие воспоминания о нем «Мы родились по соседству».

Переводы

Французский новеллист Ги де Мопассан (1850–1893) сыграл огромную роль в творческой биографии Бабеля. Писатель неоднократно называл его своим учителем в искусстве новеллы. С его твор-

чеством связан сюжет «Гюи де Мопассана» (см. т. 1). Бабель, наконец, выступил в качестве редактора небольшого собрания сочинений Мопассана: Мопассан Гюи де. Собрание сочинений: В 3 т. / Пер. с фр. под ред. И. Бабеля. М.; Л.: Земля и фабрика, [1926–1927]. Для этого издания он перевел три публикуемые новеллы. Две первых пересказываются и обыгрываются в «Гюи де Мопассане».

Подробнее см.: И. Э. Бабель — редактор и переводчик Ги де Мопассана (Материалы к творческой биографии писателя) / Вступительная статья, публикация, комментарий Е. Погорельской // Вопросы литературы. 2005. № 4.

Переводы Бабеля воспроизводятся по приложению к этой публикации.

Из семи коротких писем Бабеля к переводчице В. А. Дынник и ее мужу фольклористу Ю. М. Соколову, впервые напечатанных Е. Погорельской, в нашем издании воспроизводятся четыре (см. т. 4).

Идиллия **(с. 406)**

Новелла написана в 1884 г.

Поезд шел из Женевы в Марсель. — Ошибка переводчика: в рассказе Мопассана речь идет о Генуе, французское написание Gunes в отличие от Genuve (Женева).

А я из Казаля. — Неточность переводчика: название итальянского местечка Казале по-французски и по-итальянски пишется одинаково — Casale, но произносится по-разному. Бабель, вероятно, отталкивался от французского произношения этого слова (это и предшествующее примечания — Е. Погорельской).

Признание **(с. 412)**

Новелла написана в 1884 г.

Болезнь Андрэ **(с. 420)**

Новелла написана в 1883 г.

Кольцо Эсфири (с. 428)

Впервые: Слово-Word. 2002, № 35/36. С. 3–5. Публикация А. Н. Пирожковой.

Повторно: Вопросы литературы. 2003. № 2.

Печатается по первой публикации.

История текста изложена А. Н. Пирожковой в предисловии к указанным публикациям. В 1978 г. рассказ передали вдове писателя из редакции журнала «Молодая гвардия», куда он был прислан родственником О. Г. Земсковой, работавшей в 1920-е гг. машинисткой в редакции одесской газеты «Моряк». После неудачной попытки опубликовать «Кольцо Эсфири» Бабель подарил автограф — 8 или 9 страниц, написанных чернилами на желтоватой бумаге, — машинистке.

«Все листки с рассказом долго лежали вместе с письмами, лет 15 назад я их попросил одного работника газеты почитать и перепечатать. Там много слов было неразборчиво, вода пропитала бумагу и чернила расплылись. Что было непонятно, то сам работник газеты добавил, а добавленные буквы и слова взял в скобки», — рассказывал отправитель.

Бабелевский автограф, вероятно, утрачен навсегда. Машинописный текст, исходя из изложенного выше, невозможно считать аутентичным, что и объясняет помещение рассказа в разделе приложений.

С опорой на свидетельство О. Г. Земсковой А. Н. Пирожкова датирует рассказ 1923–1925 гг. Однако с марта 1924 г. Бабель уже не жил в Одессе, ненадолго приехав туда лишь на похороны отца (см. Спектор У. Краткая летопись жизни и творчества Исаака Эммануиловича Бабеля // Бабель И. Пробуждение. Тбилиси, 1989. С. 423–424). Вероятно, датировку можно ограничить 1923 г., когда Бабель активно работал в одесской периодике.

Тормоз Вестингауза — пневматический железнодорожный тормоз, изобретенный американцем Джорджем Вестингаузом в 1869 г.

Зайбер — марка красного бессарабского вина.

Еврейка (с. 433)

Впервые: Год за годом. Литературный ежегодник. Вып. 4. М., 1988. С. 295–306. Публикация Л. П. Фрухтмана.

Печатается по указанному изданию.

Черновая рукопись на 26 листках блокнотного формата, долгое время хранившаяся в семье Слонимов, позднее была передана в рукописный отдел Государственной библиотеки им. В. И. Ленина (Российской государственной библиотеки). Слова и фрагменты в скобках добавлены публикатором по смыслу. Этот, как и предшествующий, текст, следовательно, невозможно считать авторизованным, поэтому он публикуется в приложении.

Фрухтман датирует рукопись серединой 1927 года, когда, после похорон тестя в Киеве, Бабель ездил по Украине с читкой пьесы «Закат». *Жорес* Жан (1859–1914) — французский социалист; публицист и историк.

Гед Жюль (настоящее имя и фамилия — Матьё Базиль; 1845–1922) — французский социалист, один из основателей французской рабочей партии.

Балагула — извозчик или кучер.

Тальма — женская безрукавная накидка.

...и в восстановленных железнодорожных станциях — была капля его меду... — В рукописи есть зачеркнутая пометка: Меду или крови.

ВИНА — вероятно, Военно-инженерная академия.

Психоневрологический институт — организован в Петербурге в 1908 г. известным психиатром Владимиром Михайловичем Бехтеревым (1857–1927).

Мазепа Иван Степанович (1644–1709) — гетман Украины (1687–1708), во время Северной войны перешел на сторону шведов, в 1709 г., после Полтавской битвы, вместе с Карлом XII бежал в турецкую крепость Бендеры.

Желябов Андрей Иванович (1851–1881) — революционный народник, готовил покушения на императора Александра II. Арестован накануне его убийства 1 марта 1881 г. Приговорен к смертной казни и повешен 3 апреля вместе с участниками цареубийства. Кибальчич Николай Иванович (1853–1881) — революционный народник, изобретатель оригинального реактивного летательного аппарата; обеспечивал техническую подготовку покушения на Александра II, казнен вместе с другими народовольцами.

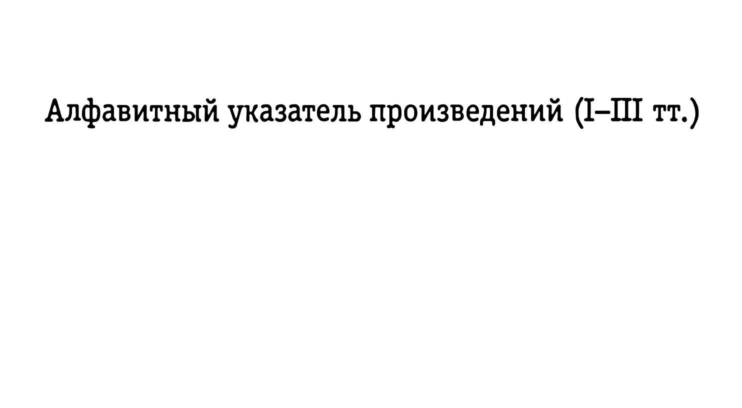
Каляев Иван Платонович (1877–1905) — эсер-террорист, 4 февраля 1905 г. убил бомбой великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора; казнен.

«Коммунистический манифест» («Манифест Коммунистической партии», 1848) — первый программный документ, систематически излагающий идеи не утопического, а «научного коммунизма»; написан К. Марксом и Ф. Энгельсом по поручению 2 конгресса Союза коммунистов (1847).

Петлюра Симон Васильевич (1879–1926) — один из руководителей националистического движения на Украине в годы гражданской войны, главный атаман войск Украинской народной республики, председатель Директории; летом 1920 г. бежал за границу; убит в Париже из мести за еврейские погромы в годы его правления на Украине.

Буденный Семен Михайлович (1883–1973) — советский военачальник, в 1919–1920 гг. командарм Первой Конной армии; мимоходом изображен в «Конармии».

МСПО — Московский союз потребительских обществ.



Алфавитный указатель произведений (I–III тт.)

Содержание

Литературно-художественное издание

Исаак Бабель

Собрание сочинений
Том 3

Редактирование и корректура
Елена Кузьменок

Художественный редактор
Валерий Калныньш

Подписано в печать 09.08.2006. Формат 70×108 1/32.
Бумага для ВХИ. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,7.
Тираж 3000 экз. Заказ № 671.

"Время"
115326 Москва, ул. Пятницкая, 25.
Телефон: (495) 231 1864, (495) 959 4967
http://books.vremya.ru
e-mail: letter@vremya.ru

Отпечатано в ОАО "ИПП "Уральский рабочий"
620219 Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
http://www.uralprint.ru
e-mail: book@uralprint.ru

ISBN 5-9691-0152-4

9785969101524



Исаак Бабель

том 3

собрание сочинений